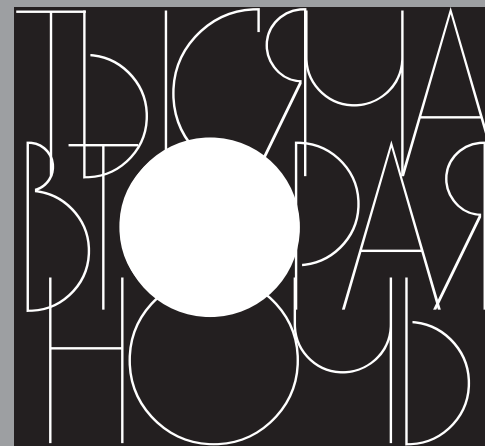






БОРИС ГУЩИН



повести,
рассказы,
пьесы,
воспоминания



«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
ПОТРОЗАВОДСК

Редактор
Яна Жемойтелите

Художник
Виталий Наконечный

ISBN
978-5-904478-13-1

© Борис Гуцин, текст
© Виталий Наконечный, оформление
© Союз молодых писателей «Северное сияние»

Член Союза карельских писателей Борис Гуцин относится к поколению шестидесятников, к тем избранным, кто в студенческие годы, формирующие личность, вдохнул пьянящий воздух свободы. Это и определяет прозу Бориса Александровича. В черед будней рассмотреть сквозь лупу романтики (забытое слово в наши дни, а потому ценное) необычное, яркое, неординарное, будь то жизненная ситуация, городской пейзаж, неухоженная квартира... Но главное в его рассказах и повестях – человек.

Борис Гуцин стремится увидеть в каждом герое такую деталь, что литературный персонаж запоминается надолго.

Но деталь детали рознь. Борис Александрович не выставляет своих героев на посмешище перед читателями, чем грешит современная литература. Не нагружает их модными атрибутами для привлечения внимания: иномарки, коттеджи, деньги, успешность... так называемый гламур не пачкает его прозу. Борис Александрович дает своим героям то, что нельзя купить: искренность, отзывчивость, нелепость. Очень часто его герои – люди, не устроенные в жизни, но не теряющие надежды. Они оптимистичны. Они романтики.

У Бориса Александровича есть редкое преимущество – работая старшим сотрудником музея-заповедника «Кижы»,

он не только который уже десяток лет дышит уникальной красотой, мудростью, изяществом древнего зодчества Русского Севера, но и органически влетает профессию историка в литературу.

Говорят, что встречи на острове Кижы всегда необычны. Необычны они и в прозе Бориса Александровича, хотя и не являются чистым вымыслом. Вплести гармонично в ткань художественного произведения документалистику – это редкий талант. Борис Гуцин делает это с блеском.

Простая чистота стиля его рассказов и повестей чем-то напоминает очертания главного Храма Заповедника Кижы.

Теперь сложите мироощущение шестидесятника и человека, отдавшего годы на постижение формулы древних иконописцев и зодчих, – и вы получите прозу писателя, которая впитала в себя два уникальных исторических аспекта.

Это проза яркая в своей простоте – как у тех мастеров из далекого прошлого.

Это проза чистая и светлая, как мечты, стремления и надежды того поколения шестидесятников.

Татьяна Мешко

И ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ



ОТЗВУКИ СТАРЫХ ЯРМАРОК

Картинки прошлого

*Дмитрию Сергеевичу
с любовью*

Аноним

Они были соседями на протяжении почти двухсот лет: безалаберная, не очень-то обустроенная Шунгская ярмарка и степенный, хозяйственный, трудолюбивый, книжный Даниловский монастырь.

К середине XIX века словесные прения, фанатичные самоожжения ушли в прошлое. Старообрядцы вроде бы успокоились. Жили тихо. Пламя веры своей хранили в душе. Торговали в Шуньге на ярмарке, в отдельном балагане, крестами, лестовками, печатными картинками. Были старообрядцы и среди заонежских крестьян, но они не выходили на площади с крамольными речами. Казалось, не было и малейшего знака, предвещавшего трагическую судьбу Даниловского монастыря, неожиданно и причудливо соприкоснувшуюся с переменчивой судьбой Шунгской ярмарки.

В 1853 году на Богоявленской ярмарке в Шуньге появился некий, по-видимому высокопоставленный, аноним. Он заходил во все лавки гостиного двора, беседовал с сидельцами,

особенно внимательно выслушивал и поддерживал претензии заезжих купцов. Он явно искал какой-то товар, но какой – понять было трудно. Как ни странно, купил он целый набор старообрядческих изделий: восьмиконечный крест-распятие, два вида лестовок, коврик с крестом, гравюры с изображением Даниловского монастыря, птиц сказочных: Сирина с Алконостом. Покупатель щедрый, но не похоже, что был старообрядцем. А впрочем, зачем ему всё это тогда?

– Что-то мало у вас покупателей, – сказал важный господин продавцу.

– Откуда им быть! Отошёл народ от истинной веры. Одно название – «поморцы»¹. Только и есть что приехали с Поморья – с треской своей. А здесь даже помолиться негде стало. Моленной² нет. Забыли, что если бы не Даниловское общежитие, то и ярмарки у них в Шуньге не было бы. Так, торжок мелкий.

– Но ведь все шунжане – приверженцы старой веры, – возразил покупатель.

– Когда-то были. А сейчас разве что два-три престарелых наставника остались, да и те сидят по домам и учения нашего не развивают.

Покупатель посочувствовал сторонникам истинной веры, поблагодарил старообрядца и направился к нижнему ряду балаганов на берегу Путкозера.

Улица и часть покрытого льдом озера были сплошь заставлены возами. Оленьи шкуры, кожи, сундуки с крестьянским полотном стояли прямо на снегу. Нашего анонима удивило, что, хотя всюду была весёлая ярмарочная толчея, у десятков возов с дичью, пушниной и рыбой кроме стражи никого не было. Казалось, никто не интересовался товаром, который вроде бы и делал ярмарку.

Аноним подошёл к стражнику в крестьянском полушубке,

¹ Поморцами часто называли старообрядцев даниловского толка. Их было много и среди поморов. (Здесь и далее – примечания автора.)

² Молеельня (моленная) – молитвенное помещение старообрядцев.

подпоясанном тканым кушаком, и сказал:

– Интересуюсь товаром.

– Не продаётся.

– Как не продаётся?

– Давным-давно продано.

– А почему же все эти возы уже третий день стоят?

– Так надо.

Не добившись ничего от ревностного стража, он вновь поднялся к гостининому двору, тесно облепленному рогожными и мешочными балаганами. По пути подошёл к отдельно стоящему возу с тюками мануфактуры, на которых трепетали лоскутки образцов. Около воза, прыгая и хлопая в ладоши, грелся молодой человек живого приказчицкого вида.

«Пожалуй, этот юноша будет поразговорчивее», – подумал аноним и обратился к нему:

– Можно глянуть на образцы?

– Извольте, – перестал прыгать юноша. – А впрочем, я не могу и вершка продать: всё уже продано торгующим крестьянам из Великой да Сенной. Вот сейчас должны подъехать. Остановились они в Валимаргоре – пока приедут... Весь промёрз. Раньше хоть сбитнем горячим можно было погреться, а теперь пожаров боятся, так губернатор запретил любой огонь разводить на ярмарке. Зато вина – залейся. Хоть в винной лавке, хоть в ренсковом. Ещё бы закусить плотно, так совсем хорошо было бы.

– Да, пообедать-то не мешало бы. Куда бы вы мне посоветовали пойти?

– Не приведи Господь обедать в Шуньге на ярмарке! Все мужички где остановились, а останавливаются они иногда за 10-15 вёрст от погоста, там и обедают, если вообще обедают. Чай да калач в трактире у Гайдина Степана Андреевича. Ох, и печенье у него – пальчики оближешь! Можно, конечно, и к Цыганову. Да не накормят они вас. Чай да вино. Идите вы лучше к Щепину Василию Дмитриевичу. У него кухня хорошая. И жаркое, и рыбу в молоке, и печёночку, и баранинку – всё сго-

товит. Дом у него особый, под трактир деланный, без сарая, с ёлочкой над крыльцом¹, как заведено. А в бильярд хотите по-стучать – и это пожалуйста. Недавно из Петербурга выписал.

– Спасибо за совет. Пригласил бы вас в трактир, но, вижу, вам не оторваться от товара. Разделаетесь – приходите... Да, а почему вы со своим красным да суровским² товаром не в лавке торгуете, а на снегу мёрзнете? Как я понял, вы ведь хотя и приезжий, но свой человек в Шуньге.

– Да я уже пятый год приезжаю с товаром от ярославских купцов Горошковых. От нас ещё постоянно Лопатины ездят. Может, сто, а может, двести лет одеваем заонежан. А в лавках нам стоять несподручно. Зачем?! Мы всегда только гуртом продаём. Покупатель постоянный, да и партии такие же. Я даже аршина не держу. Всё заранее отмерено под честное купеческое слово. Без всякого шмука³. Останется у меня несколько тюков для Петрозаводска, на Афанасьевскую ярмарку, а там домой за новым товаром – и дальше. Так круглый год. На случай ещё в Старой Ладоге амбар держим... Да, а в трактире вы сразу на второй этаж. Господа купцы там заседают.

– Так и вы приходите, как освободитесь. Согремся. Ещё поговорим.

Аноним решил зайти в пару лавочек гостиного двора. Бросилась в глаза крупная вывеска на совсем неказистом домишке: «Распивочно».

Подвыпившая ватага, в которой выделялся краснощёкий парень в армяке, валенках и с непокрытой кудрявой головой, пьяно-сосредоточенно пересчитывала копейки.

Уже на подходе к гостиному двору важного господина чуть не сбил с ног мальчишка, которого весело, с гиканьем преследовали человек пять. Впереди скакал наподобие доброго коня купчина с неожиданно писклявым голосом, вот-вот готовый

¹ Часто в деревенских трактирах над крыльцом ставили ёлочку.

² «Красный товар» – фабричные ткани; «суровский» – шёлковый, бумажный и лёгкий шерстяной товар.

³ «Шмук» – тайно выгадываемый отрез при обмере

схватить парнишку за волосы.

– Имай, имай его! – пищал купец.

– А, поймал-таки! – радостно запрыгал на одной ноге давешний краснощёкий парень, подставивший мальчишке подножку и потерявший при этом валенок.

– Обокрал, братцы! Мошенник, обокрал! Бейте его, не жалейте! Вырви ему, мошеннику, волосы ... колоти его! – орал купец по-бабьи.

Кудрявый сунул ногу в валенок, одним движением вырвал у лежащего на снегу мальчишки тёмную шкатулку, инкрустированную соломкой, и поднёс её купцу. Тот быстро заглянул в неё и опять заорал:

– Да вы что, ироды рода человеческого! Креста на вас нет! Убьёте мальчонку! В будку¹ его! Не трожь!

– Не след, ребята, своим судом, лучше в будку, – убедительно поддержал купца инвалидный солдат.

Его послушались. Ватага повела мальчика к будке.

Купец молча дал кудрявому ассигнацию и тяжело пошёл к гостиному двору.

Аноним последовал за ним к двери с номером и табличкой от руки: «Лафка Рожкова».

Фигура купца заполнила собой чуть ли не половину крохотного помещения. Бросалось в глаза обилие дешёвых шкатулок, очевидно, с мелочным товаром. Перед ним на вырубке² лежали мотки разной тесьмы, медные ухověртки и грошовые зеркальца, устроенные наподобие книжек. На обратной стороне зеркалец были любопытные картинки с виньетками и надписями: «Хрустальный дворец царя Вавилона», «Мартын с балалайкой», «Сад с светлицей и красной девицей», «Змея-людоед двуглавая», «Чудо-богатырь». И хотя в глазах богатыря угадывалась дикая суздальская лихость, умельцы между виньетками написали: «Paris». Здесь же стопами стояли в синих банках помады со стильными надписями: «По-

¹ Будка – нечто вроде полицейского карцера.

² Вырубка – прилавок.

мада Савельева № 1-й» и «Помада Стукова № 1-й». Лежали чёрные карточки с приколотыми на них иголками и булавками, мраморное мыло, разных видов гребешки и гребни. Отдельно кучкой – медные четырёхконечные латинские нательные крестики.

– А старой-то веры у вас что-нибудь есть, господин Рожков?
– спросил аноним.

– Этого мы никак не держим. Если хотите, то в одном балагане у гостиного Никифор-старообрядец продаёт. Да вы, наверное, у него свои покупки и сделали?

– Конечно. Если это Никифор.

После паузы господин продолжал:

– А воров, я считаю, и жалеть не стоит. Пусть теперь благодарит всю жизнь доброго купца Рожкова. Что же вы так внезапно подобрили?

Купец открыл тёмную шкатулку.

Там на чёрной бумаге были приколоты три булавки.

– Он как схватил что-то с выручки – я разом за ним. И не видал, что у него в руках. Грех на душу никогда не возьму из-за трёх булавок... Летом был на Александро-Свирской ярмарке. Там такого же «промышленника» за десятикопеечную подмётку кулаками до смерти исходили. Грех-то какой!

Аноним ещё немного побеседовал с купцом о порядках на ярмарке и перешёл в соседнюю лавку с красным товаром.

На ярком фоне пёстрых образцов выделялась отрешённая фигура купца с блюдцем, из которого он со вкусом прихлёбывал чай. Перед ним стоял маленький самовар, из спины которого торчала изящная труба.

Купец моментально убрал самовар под прилавок, дотянул свой чай и молча устался на анонима. Тот ещё не успел ничего сказать, как в лавку вошёл толстенный монах Палеостровского монастыря в чёрной рясе, надетой, очевидно, поверх тулупа.

– Атлас у вас есть? Только наилучший.

– Лучше не бывает. Французский, лионский.

– Сколько?

– Да рублика четыре.

– Дорого. Что ты, друг!

– Меньше-с, ей-богу, нельзя.

Монах помолчал, потом залез под рясу, вытащил кошель и проговорил:

– Делать нечего. Мерь. Худо без атласной рясы. Не так смотрят на тебя.

Купец отмерил нужное количество.

В это время в лавочку вошла баба и с открытым ртом долго смотрела на атлас. Наконец решилась спросить:

– А что, барин, красное-то у тебя есть?

– Четыре рублика. Да ты, тётка, лучше сюда глянь. Кумач – огонь. Глаза не спали.

– А это сколько буде?..

– А буде рубль с пятаком, бабушка.

– Что ты, милый! Рубль с пятаком! Бери семигривенный и давай красное.

– Такого у нас нет. Иди дальше, тётка.

За тёткой вышел и аноним, которого этот продавец почему-то не заинтересовал.

По пути к трактиру любопытный покупатель зашёл в дом, где остановился, выложил свои покупки и двинул к Щепину, в трактир.

Дом был особый – вроде бы и крестьянский, а вроде бы и настоящий трактир. Первый этаж – кухня и общий зал, битком набитый обедающими и выпивающими. Сквозь запах прелой овчины, рогожи и сена возбуждающе пробивались ароматы бараньего жаркого. Наш аноним пошёл сразу на второй этаж. Там было почище, потише. Люди сидели без верхней одежды. Помещение можно было назвать и избой – иконы с лампадкой, мощные лавки. Но стол не один, а несколько. Стулья. Печка-голландка. Помещение казалось просторным. В соседней комнате за занавеской-портьерой, слышались удары бильярдных шаров. В одном из углов – стойка с бочонком, на

котором висели «крючки»¹. Самовар. Блюдо с кренделями, пряниками, печеньем, колотым сахаром. Полки, уставленные разноцветными полуштофами с различными наливками и настоекками. Похоже, что здесь, на втором этаже, кабацкий ром «крючками» никогда не мерился, в солидных компаниях для этикету ставился обычно полуштоф, какой покрасивее.

Аноним заказал пару чая, баранье жаркое с гречневой кашей и несколько кусков печёнки. Вскоре молодой человек, очевидно хозяйский сын, принёс снизу в мелкой оловянной тарелке печёнку и в большой «каменной»² миске груды дымящегося жаркого.

Закусывая, аноним прислушался к разговору солидных людей за соседним столиком. По разговору, двое из них были из Петербурга, а трое – поморы, но не рыбаки, а торговцы.

– Два воза сухой трески вы сейчас у меня и заберёте, а к Благовещенской я доставляю сюда три воза: воз свежей тресочки, воз наважки да воз камбалки. Деньги потом. Подвести боюсь. А на эти денежки вы сейчас лучше у Подымниковых из Умбы купите сёмужки. Дешевле выйдет. Конечно, умбская – не «поморка» с Онеги или Мезени, но ведь её сей год и нет на ярмарке. Не ловится что-то у них.

– Да нет, Фёдор Иванович, не хотелось бы брать умбскую-то.

– А вы, Пётр Онуфриевич, можете и прогадать. Подымниковы-то ещё и не начинали свои возы потрошить. А они ведь всегда здесь прямо фунтами продают, по дешёвке. Если начнут, то в момент всё раскупят. А вы как соберётесь раскошелиться, то и останется уже не умбская, а кольская. Сами знаете, что лопари её солить не умеют. А вам в петербургских ресторациях и с умбской какая-никакая выгода. А кольскую не всякий нюхать захочет.

– Да, не шарман-с... Хотя шарман, но не полный... Пожалуй, вы правы, Фёдор Иванович. Где Подымниковы-то оставились?

¹ «Крючки» – мерки для спиртного, напоминающие современную турку для варки кофе.

² «Каменная» – керамическая.

– Да вроде здесь на погосте устроились.

– Пожалуй, с ними и придётся договариваться.

Наш аноним решил вмешаться в разговор.

– Извините, господа купцы, что встречаю в беседу, но объясните мне вот что. Я первый раз в Шуньге на ярмарке. Интересноюсь различным товаром, но, как ни подойду к продавцам, все мне говорят, что продано.

Собеседники дружно рассмеялись.

– То-то и оно, что в первый. Сразу видно. Ярмарка-то здесь гуртовая. На Крещение по рукам бьём – по Благовещенью товар получаем. Да не на жарёху, а весь Петербург накормить можем. А загодя хоть с Крещенья до Крещенья договаривайтесь. Через год приедете, а вас уже возы ждут. Пушного товара, скажем. Хотите – лисицы красной, хотите – сиводушки. Хотите – выдры русской, хотите – американской. Да хоть медведя закажите! А может, дичи. Тоже в сани уложат. Рябчиков если, то лучше с Печоры, кедровиков. С Летнего Берега да местные, повенецкие, – не то. Они же дичь силками дают. А в гостином да в балаганах – там всё по мелочи. Крестьянину. А заонежанин много ли купит? У него что в хозяйстве? Петух да курица, крест да пуговица, – сказал один из петербуржцев.

Из-за стойки подал голос Василий Дмитриевич.

– А кто же из подклетов ваши петербургские, ярославские да Бог знает какие кули, тюки да ящики по деревням развозит? Наши, заонежские. Торгующие. Всё у вас на ярмарке скупить могут. А ты – «крест да пуговица».

– Что ваши заонежане! Посмотри, кто на ярмарке. Больше половины наших, поморов. Вот мы-то и увозим к себе весь товар, – возразил ему один из поморов.

– Ты лучше, Иван Петрович, расскажи, что твой знакомый обирала¹ кемский в Шуньгу французам привёз и что отсюда увёз... Не хочешь... Ну, я тогда расскажу. Вот где был гурт так гурт!..

Французы приехали к нам набить цену да из первых рук ку-

¹ Обирала – так называли особо жадных скупщиков.

пить пушного товара прямо во Францию. Приехали и ошале-ли – ни одной белки не удалось купить. Они рассчитывали, что у охотников купят. А охотники-то у нас в кабале у торговцев. Ихние приказчики уже летом объезжают охотников. Приедет – сейчас засамоварились... Приказчик деньги предлагает. Потом, мол, сочтёмся. Так ведь и всучит вперёд. Осенью расчёт – мужик внакладе, один скупщик радуется. Сговариваются о доставке. И к новому году товар в Шуньге. Чего покупать-то, если он давно закуплен. Вот этакий товар вы и видели, ваше высокоблагородие.

– Можно просто – господин Иванов.

– Да, а французы всё поняли и заказали на следующий год сорок – сколько угодно. Через год приехал агент из Варшавы и закупил сорок двадцать тысяч штук. Мода у них, у дам, пошла – в Париже и Варшаве – ни одной шляпки без сорочьих пёрышек. Кемский-то обирала это увидел да и заказал своим мужичкам сорок отстрелять. Через год приехал с возом, а уже ни французов, ни поляка. Перестали дамы пёрышки на шляпы надевать. Что-то новое, видать, нашли¹. Так оконфузился, что сразу и уехал... А вы что собираетесь у нас покупать, господин Иванов?

– Я ещё не решил, но если буду, то, конечно, партиями.

– Да, а в марте у нас на сборной ярмарке и лошадок можно купить.

– Ну уж и лошадки у вас! Полубитюги! Страшилища заонежски! Выезд цугом от Шуньги до Толвуи, – поспешил подковырнуть кабатчика Иван Петрович.

– Не скажи. Ещё царь Пётр завёз к нам этих лошадок. Гусары на них, конечно, не язживали. Но крестьянину они первая помощь. Так что не хули. Весь Олонец и Лодейное на наших лошадях ездят.

– Вряд ли я буду покупать лошадок, – проговорил «господин Иванов», попивая чай из фарфоровой чашки с синими цветами. – Да, а трактир у вас, Василий Дмитриевич, неплохой. Ну

¹ Эпизод из книги В. Майнова «Поездка в Обонежье в Карелу» (СПб, 1877).

прямо как в Нижнем на ярмарке.

– Вот и вспомнишь Нижний, – подхватил уже собравшийся уходить Пётр Онуфриевич. – Под «весёлой козой»¹ ведь не одна ресторация. А цирк! А театр! Не то что здесь – один дедраешник со своей «панорамой»: «Ах, город Париж! Ах, как приедешь – угоришь!» Пятый год напротив гостиного горланит, никак не угорит. Ты всё молчишь, а вот расскажи, как ты в Нижнем к сударушке на «Самокаты»² ходил, да не дошёл – заблудился, – обратился он к своему напарнику.

– Скоро заблудиться там трудно будет. Я слышал, в Нижнем собираются путеводитель по ярмарке печатать, – сказал заезжий господин.

– Вот тогда и найдёшь сударушку «самокатную», – захохотал Пётр Онуфриевич.

– Нижний, не Нижний, а мне кажется, что эта ярмарка в Петрозаводске была бы не хуже. Не всё ли равно, где купцу товар скопом сдавать? – наконец высказал свою затаенную мысль «господин Иванов». В Петрозаводске ярмарку быстрее можно было бы обустроить. Купцам все удобства.

– А зачем? Есть там Афанасьевская – и ладно. Сейчас у кого какие остатки останутся – на Афанасьевской продадут, – сказал доселе молчавший напарник Петра Онуфриевича.

– Сюда же сотни лет едут со всего севера. Обороты у сотен, а то и тысяч завязаны друг с другом. Не поедут! Да вот у сумпо-садского Воронина хотя бы спроси. Иван Петрович, повезёшь рыбу в Петрозаводск? – спросил Пётр Онуфриевич.

– Да как я-то повёз бы! Да вот у меня кобыла Машка – после Рождества я ей всегда говорю: «Машка, на ярмарку!» – дак она прямо сюда бежит. А в Петрозаводск её и погонялкой не загнать.

– Да, конечно, Шуньга есть Шуньга, – пробормотал господин.

Попрощавшись с компанией, он расплатился и пошёл к выходу.

¹ Так иронически называли подгулявшие купцы оленя на гербе Нижнего Новгорода.

² «Самокаты» – квартал где были расположены публичные дома

«Ничего. Не лошадь, так вас, господа хорошие, кнутом загоним в Петрозаводск. Найдём способ. Первый петрозаводский купец городской голова Пименов говорил, что никаких денег не пожалеет, лишь бы ярмарка в Петрозаводск переехала», – думал он, идя к себе на постой. По пути зашёл на почтовую станцию и договорился о завтрашнем отъезде с утра.

На квартире, где он снял отдельную комнату, он спросил чернил у хозяев, открыл саквояж, достал стопку чистой бумаги, сел за стол и написал:

«Санкт-Петербург. Министерство внутренних дел. Его высокопревосходительству г-ну министру...»

С этим неизвестным лицом мы, слава Богу, больше не встретимся, но последствия его зимней прогулки и послания в Санкт-Петербург долго будоражили Шуньгу, Петрозаводск и были трагическими для Даниловского монастыря. Письмо Министерством внутренних дел было переправлено олонекскому губернатору для принятия надлежащих мер. Копии письма и выдержки из него без каких-либо ссылок расходились в десятки инстанций, фамилия автора не упоминалась нигде.

О чём же было письмо?

«Я нашёл оную ярмарку в своём беспорядочном виде, а именно: самое место ярмарки при погосте весьма тесное, лавки и балаганы устроены кое-как, также очень тесны и расположены по улицам без всякого порядка, а многие товары складываются в подпольях крестьянских изб, а другие остаются на возах по улицам, и всё это размещение товаров крайне небезопасно от огня. Большая часть товаров привозится в соседние деревни и складывается там без всякого порядка: в чулане, в сарае, в амбарушке. И это главные товары: меха, рыба и дичь прямо на возах. Такие деревни вокруг погоста на пространстве около 15 вёрст – 28, и в них 127 дворов имеют склад товаров, где и производится самая продажа оных. Вся эта ярмарка представляет в высшей степени безобразие и все неудобства... Должное наблюдение со стороны полиции невозможно.

Кроме этих неудобств, самая местность имеет весьма вред-

ное влияние в отношении раскола.

В Шунгском погосте заключается до 4000 душ. Они все почти раскольники, чему в особенности способствовали близость Данилова и Лексы и приезд на ярмарку жителей Архангельской губернии, известных как весьма вредные раскольники.

Большое стечение народа, которое простирается на ярмарке, не имеет исключительной цели торговать, но привлекается более свиданиями и разного рода сношениями с раскольниками и свободной разгульной жизнью. Что раскольников много, тому может служить доказательством, что там в особом балагане продаётся множество раскольничьего товару. Я полагал бы необходимым Богоявленскую ярмарку из Шуньги перевести в Петрозаводск, где представляются все удобства для торговли, а раскольники той глухой стороны будут лишены возможности удобно и свободно между собой соединяться для поддержания и распространения раскола.

Я приказал составить план и смету на построение в Петрозаводске лавок и кладовых в количестве 127, что поддержано городским головой Пименовым».¹

Факты, изложенные в письме, проверялись десятки раз во многих инстанциях. Сразу выяснилось, что по части раскольников в Шуньге краски явно сгущены. Всего раскольников там оказалось 22 человека.

И всё-таки петрозаводские купцы в лице «господина Иванова» внесли свой позорный вклад в дело разгрома Даниловского монастыря. Идеологическое колесо закрутилось, и в 1855 году монастырь был закрыт.

В отношении же Шунгских ярмарок дело решилось довольно неожиданно и забавно.

Петрозаводские купцы явно выигрывали. Была создана специальная комиссия, которая слегка подыгрывала петрозаводчанам.

Но тут в дело вмешались священники – повенецкий Фёдор Поспелов и шунгский Иоахим Петропавловский. Они доложи-

¹ Национальный архив Республики Карелия, ф. 25, оп. 4, д. 17/2.

ли архиепископу Олонецкому, что в случае перевода ярмарки в Петрозаводск Шунгская церковь лишится содержания, которое она получала в основном за счёт ярмарок, а право на это содержание подтверждено Их Величествами Александром и Николаем Павловичами.

Архиепископ убедил комиссию в том, что ярмарку можно будет перевести в Петрозаводск, если тамошние купцы будут платить в Шунгскую церковь 1200 рублей серебром. Спросили петрозаводских купцов, но те разом сказали только одно слово: «Шиш!»

Дело кончилось молниеносно в пользу Шунгской ярмарки.

Для Шунги были составлены план и смета на устройство торговых помещений и лавок. Новый гостиный двор церковь вызвалась строить на свои капиталы.

Павел Николаевич

Прошло ровно девять лет после зимних впечатлений анонима.

Стоял погожий январский день 1862 года. В ярмарочной толчее выделялась фигура стройного и сильного молодого мужчины в тёплой чиновничьей шинели и фуражке с кокардой. Форменная одежда помогала ему значительно сократить время в разговорах с торгующими. Молодой человек носил мягкую, аккуратно подстриженную бороду. Глаза его лучились теплом и доброжелательностью и в то же время выдавали огромную жизненную энергию и любознательность. Если бы Павла Николаевича, а именно так звали молодого человека, знал Александр Сергеевич, то свою известную сентенцию «Мы ленивы и любопытны» он закончил бы словами: «За исключением Павла Николаевича».

Блестящее образование позволяло ему с успехом заниматься фольклористикой, историей, этнографией, статистикой, он хорошо знал литературу, театр, музыку.

Петрозаводские обыватели признали талант обаятельного чиновника и убедились в пользе просвещения совершенно

неожиданно – прочитав заметку секретаря губернского статистического комитета Павла Николаевича Рыбникова, где тот сравнивал количество проданных игральные карты с числом выписанных в городе журналов.

И сюртук, и фрак, и косоворотка, и лакированные туфли с блестящими пряжками, и смазные сапоги – всё сидело на Павле Николаевиче как влитое. Глядя на элегантно статистика, и петрозаводские купцы поназаказывали себе фраков. Павел Николаевич с улыбкой вспомнил, как перед очередным его отъездом в Шунгу на рождественском приёме у губернатора подошёл к нему с медвежьей грацией купец Пименов и в который уже раз, туманно, намёками, и без всякой надежды в глазах искал поддержки в мифическом переводе Шунгской ярмарки в Петрозаводск. А премиленькая почтмейстерша, не читавшая до этого ничего, кроме «Пчёлки»¹, походя упомянула имя Добролюбова.

Павел Николаевич придерживался демократических убеждений, не любил царское правительство, за что и был сослан в Петрозаводск.

Павел Николаевич не был революционером, но и его коснулась «детская болезнь левизны» тех лет. Однажды он надел красную косоворотку, обул смазные сапоги, на голову водрузил модный в торговых рядах лаковый картуз и «пошёл в народ», который он нашёл почему-то далеко от Москвы, среди старообрядцев Черниговской губернии. В таком виде он и был взят на базаре в Чернигове во время записи духовных стихов, а оттуда через Москву отправлен в Петрозаводск.

Павел Николаевич находился в ссылке третий год. Его лёгкий нрав помог ему и в нелёгком положении. Начальство гоняло молодого статистика по всей губернии. В этих поездках Павел Николаевич стремился записать многое, что хранилось в памяти народной. Но встречи в Кижках летом 1860 года превзошли все ожидания. Слушая Трофима Рябинина, Рыбников

¹ «Пчёлка» – журнал «Северная пчела», популярный у мелкого чиновничества.

понял, что он открывает настоящую «Исландию русского эпоса» – русской былевой поэзии. Он никогда не скрывал своих научных изысканий, делился ими в печати и просто в разговорах с друзьями и начальством. Отношение к нему было вполне благожелательным.

Но вот что удивительно: хотя по незлобивости характера Павел Николаевич был начисто лишён мнительности и не чувствовал на своей спине недобрых взглядов, но как только сбор былевой поэзии стал для него важнейшим делом жизни, так губернатор, весь в смущении, стал находить для него ворох дел исключительно в Петрозаводске. Одновременно милейший Юлий Капитонович хлопотал о сокращении срока ссылки для своего опального подчинённого.

Когда работа над рукописью приблизилась к концу и понадобились очередные поездки в Заонежье, появились нелепейшие придирки к газетным публикациям. Догадаться, откуда всё это шло, было невозможно.

Конечно, какой-нибудь городской, заглянув в квартиру Павла Николаевича, когда у него бывали гости, мог бы подумать о некоем тайном обществе, услышав обрывки разговоров, невообразимых для Петрозаводска:

– Нет, Елпидифор Васильевич. Самое цветущее время для Новгорода было не при Нариманте Гедиминовиче, а скорее – при Патрикии Наримантовиче...

– Список искать надо. Куда они могли его деть после разорения? На Мусине-Пушкине свет клином не сошёлся...

– Бланки всегда отличался могучим здоровьем. В очередной раз из тюрьмы удерёт...

– А в «Персидских письмах» вы этого и не найдёте. Это же «Дух законов»...

Но таких городских-соглядатаев в городе не было. Друзья и начальство были вне подозрений. Просто Третье отделение было всегда неусыпным.

... Павел Николаевич шёл по ярмарке и думал, что работы ему в этот год как никогда много. Скоро ярмарка, похоже, впер-

вые перевалит за миллионный оборот. А необходимо сейчас же вырваться в Кижы. Обязательно надо найти этого неуловимого бродячего портного Бутылку, который, по слухам, очень памятлива на старины. Делать всё надо одновременно и быстро, так как, похоже, поездку ему разрешили в последний раз. Но работа не особенно страшила Павла Николаевича. Статистике поможет консервативность ассортимента, который он знает уже наизусть. Если появилось что-то новое, то сразу бросится в глаза. Опять же оптовый характер торговли. Вozy все взвешены. А что на них – и так видно. Форма отчётности довольно общая, не требует видового подразделения. Шнурки – и всё, хотя на деле тут более пятидесяти разновидностей. Как бы то ни было, но лавки и балаганы надо обойти все.

Новый гостиный двор золотился свежим тёсом. Он был хотя и меньше по количеству лавок (65 против бывших 115), но гораздо просторнее старого. Балаганы и шалаши, облепавшие старый гостиный, исчезли. Они переселились направо от церковных ворот, на площадь и главную улицу. Самые ветхие сломали, но и оставшиеся по сравнению с новым гостиным сразу как-то скособочились. Остатки убожества старой ярмарки смягчались многоцветьем балаганов и тысячной толпы продавцов и покупателей.

Недалеко от гостиного в окружении подростков хрипло кричал дед-раёшник:

*А вот город Париж,
Как приедешь – угоришь.
Большая в нём колонна,
Куда поставили Наполеона.*

Раёк старика состоял из огромного ящика под двускатной крышей, поставленного на двухколёсную платформу. В ящике было два отверстия с увеличительными стёклами, а в самом ящике – яркая бумажная лента с «распрекрасным» Парижем.

На тулупе деда «либайдало» от ветра несколько цветных лоскутков. (Либайдать – только вчера Павел Николаевич записал это выразительное слово, а сегодня про эти лоскутки

иначе и не сказать).

«Прямо арлекин. Соединение Commedia dell'arte со славынским вертепом. Ну, а мне остаётся по традиции роль Пьеро», -- подумал Павел Николаевич, подходя к раёшнику.

– А отечественное у вас что-нибудь имеется? – громко спросил он у старика.

Тот немедля ответил:

*А вот город Питер,
Барам бока вытер...
Копейка с рыла...*

Дед обернулся, увидел Павла Николаевича и продолжил:

– Пятачок с лица... Есть и «В городе Адесте¹ на прекрасном месте».

Рыбников дал пятак и глянул на «Адесту», где бравый прапорщик Щёголев расправлялся с англичанами во время Крымской войны.

– Давно из Ярославля? – спросил он деда.

– Недавно. Три года как в Шуньге не был. Лихоманка замучила. Слава Богу, поправился. Да повезло мне: горошковский приказчик подвёз, а то бы только к концу ярмарки добрался. Да... А почём вы знаете, что я из Ярославля?

– Всё очень просто. Шапка. Таких больше нигде не носят.

От райка Рыбников пошёл к гостиному, где в одной из ниш услышал своих давних знакомцев, калик перехожих. Они пели «классику» – «Голубиную книгу».

Два года назад полиция гоняла убогих певцов и не давала им петь на улицах. Зная любовь Павла Николаевича к былинам, губернатор, который тоже приехал в тот год на ярмарку, приказал доставить к себе на квартиру певцов, чтобы послушать старины.

Павел Николаевич тогда немножко опоздал к началу. Придя на квартиру к губернатору, он увидел двух измождённых старообрядцев, отказывающихся от каких-либо разговоров.

¹ «Адеста» – искажённое «Одесса».

Они напоминали первых христиан перед судом нечестивых. Рыбников был немножко знаком с ними и спросил:

– Какую старину вы умеете?

– Маловато мы знаем, Павел Николаевич, мы ведь больше стихи попеваем.

– Будто Добрынюшки не знаете или Михайлы Потыка, сына Ивановича. Начинается-то старина вот так...

– Нет, этих мы не помним, лучше заведём про Василия Игнатьевича.

Калики завели былинку, Павел Николаевич подтянул, и былина была спета на послушание всем присутствующим.

Павел Николаевич попросил губернатора разрешить каликам петь на ярмарке. Тот ответил, что теперь никто и никогда их не тронет...

Рыбников дождался, когда калики закончат стих, подошёл к ним, поздоровался и уже в который раз услышал слова благодарности.

«Какой мощный дух старообрядчества! В Шуньге только подавай духовный стих, а былина за баловство идёт. В Кижях же всё наоборот», – подумал Павел Николаевич.

– Говорят, вчера Бутылку на ярмарке видели, – обратился он к каликам.

– Не поймать вам его никак, Павел Николаевич. Вчера и увёз его Ольхин в Кижы. Детишки, говорит, пообносились. А Бутылка одёжу какую хошь справит.

– Вот в Кижях-то наконец я его и поймаю.

– Павел Николаевич! – из группы весёлой деревенской молодёжи подошла к нему девушка в ладно подогнанном тулупчике и цветастом платке с персидскими огурцами. – Мы сейчас наперегонки на лошадях поедим. У нас компания на десять карет. Приходите смотреть.

– Извини, Вера, сейчас мне некогда. Не обижайся. А ведь ты обещала пригласить меня на «бесёду». Так когда?

– Вечером у Логиновых, только у тех, которые победнее.

Вера вдруг застеснялась и молча стояла перед Рыбниковым.

Наконец решилась.

– Павел Николаевич... Что я хочу спросить... А вы так придёте?

– Как так? – не сразу понял, что имела в виду Вера, но вдруг промелькнула в памяти красная косоворотка. – В сюртуке и жилетке, – улыбнулся Рыбников Вере и мысленно продолжил: «А брюки в мелкую клеточку, наимоднейшие-с».

Вера убежала к своим, а Павел Николаевич зашёл в одну из мелких лавочек, где торговал местный, не очень-то богатый купец Лукьянов. Зашёл он в расчёте на встречу с дедом торговца, с которым тот давно обещал познакомить Павла Николаевича, загадочно намекая, что дед знает про ярмарку то, чего никто больше не помнит.

В маленькой лавочке резкий запах синей бумаги, в которую были обернуты сахарные головы, перебивал запахи дешёвого кяхтинского чая¹, «крапивчатых» мешков с деревенской бакалеей – горохом, пшеном, ячменем – и рыбинских кулей с мукой.

Внук и старенький дедушка, лет за 70, оживлённо переругивались.

– Какой ты купец! Мелочь пузатая! Новый гостиный ему, вишь, нравится! А нравится, так и возьми весь его в аренду! Что? Кишка тонка? А где мои капиталы? Ты же их преумножить собрался! Мне взять в аренду всю вашу Шуньгу когда-то ничего не стоило! А вот к тебе, в нищету эту, мне и заходить-то противно!

Спорщики увидели Рыбникова и разом смолкли, тяжело дыша.

– Здравствуйте, Николай Петрович! О чём спорили?

– Здравствуйте, Павел Николаевич! Вот он – мой дед, Иван Федотович.

Дед без особой передышки пошёл в наступление сразу на обоих.

– Да если бы не батьки долгогривые, церкви Божьей охранители, давно бы гостиный был моим. Да к тому времени ка-

¹ Китайский чай, попадавший в Россию через Кяхту, пограничный с Китаем населённый пункт.

менные ряды были бы мною выложены. И этот валентень¹ не торчал бы в лавочке, а жил бы на проценты.

– Успокойтесь, Иван Федотович, и расскажите мне, пожалуйста, всё по порядку.

– Какой спокой, Павел Николаевич! Одно слово – обида! Полста лет уже не могу забыть... За год до Наполеона мы с отцом просили этих попов: отдайте нам гостиный в аренду на десять лет. Одних доходов от нас только за аренду они получили бы в три раза больше, чем имели. Мытный двор² с весами, тротуарами, ремонт – всё бы сделали. Папаша даже чертёж нарисовал. Пьяница горький! – непонятно на кого заорал дед.

– ... ?

– Чихирь³ кабацкой! А не отец родной. Полста рублей на свечки дали ему попы, когда в Петрозаводск ездил. Крохобор чёртов! Пропил всё до копейки. Да и не отдал попам, сказал: «Переживут!»... Так вот, написали мы с папашей в Новгород к митрополиту, что отделаем гостиный, только дайте в аренду, а деньги батюшкам церковным от нас так и польются. А нам ответ: где пятьдесят рублей? И сами вы такие-сякие, «малошотные»⁴, и живёте всю жизнь на церковной земле и аренды не платите. Этим всё и кончилось. Вроде забывается всё, но как увижу Кольку в лавке, так опять и нахлынет.

Среди разговора в лавочку зашёл крестьянин в тёплом кафтане из домотканого сукна, с небольшим мешочком в руках.

– Николай Петрович! Жена калитки⁵ надумала стряпать, а пшено кончилось. Отвесь мешочек. Я ещё ничего не продал на ярмарке, попозже целый мешок возьму у тебя.

¹ Валентень – увалень.

² Мытный двор здесь – место для взвешивания товара.

³ Чихирь (устаревшее выражение) – крепкий алкогольный напиток; пьяница.

⁴ «Малошотные» – маломощные.

⁵ Калитки – открытые пирожки.

– Пожалуйста. Нет-нет, убери свои копейки! Эти зёрнышки я тебе как постоянному покупателю... А жене и детишкам от меня кулёк чернослива.

Когда покупатель ушёл, дед пришёл в неописуемый восторг.

– Ну и Колька! Ну и внучек! Может, зря я его ругаю? Есть в нём этакий форс купецкий. Ну, прямо миллионщик! А на нахальство¹ никогда не пойдёт.

Психологический климат в лавочке явно улучшился.

Разговорившись с Иваном Федотовичем, Павел Николаевич услышал немало интересного ещё о тех временах, когда Шуньга была под Тихвинским монастырём².

Поблагодарив старика и распрощавшись, Рыбников направился в кудельный ряд к пудожскому мануфактурщику Малокрошечному, который собирался скупить на ярмарке половину льна. Мануфактурщик обещал показать, как можно определить все сорта льна на ощупь. У Павла Николаевича уже была напечатана статья о льне в «Олонецких губернских ведомостях», но он хотел дополнить её для «Памятной книжки», которая выходила позже³.

В кудельном выяснилось, что «господин Малокрошечный давно уже чай пить ушли».

«Чай так чай», – подумал Павел Николаевич и пошёл в трактир к Василию Дмитриевичу, острый язык которого (кухня – соответственно) нравился Рыбникову.

Придя в трактир, Павел Николаевич сразу поднялся в чистую половину и, поздоровавшись, присел за стол рядом со стойкой, который по неписаному закону как бы числился за ярмарочной администрацией.

– Какое кушанье желаете? – любезно осведомился Василий Дмитриевич.

– Пожалуй, я только чаю выпью, – сказал Рыбников.

¹ «Нахальство» – здесь: обвес.

² В XVII веке.

³ Статья П.Н.Рыбникова «О разведении льна в Пудожском уезде» опубликована в «Памятной книжке Олонецкой губернии» за 1864 г.

– Извольте, – начал священнодействовать Щепин.

Откуда-то из-под прилавка он достал цирик с оторванной наклейкой, заварил в маленьком чайнике и поставил на самоварную конфорку. Через пару минут долил, и мгновенно уже два чайника, с заваркой и кипятком, стояли на столе Павла Николаевича. Василий Дмитриевич прибавил от себя красивейший глазированный пряник в виде коня с повозкой – «козулю», наверняка привезенный из Поморья.

Тонкий, слегка терпкий аромат золотистого настоя напомнил Павлу Николаевичу долгий и авантюрный путь этого чая. Собран он, конечно, на плантациях Индии и Цейлона. Доставлен из Бомбея и Коломбо чайными клиперами сэра Томаса Твининга в Лондон, там смешан в определённой пропорции и отправлен судами в Гельсингфорс или Або, оттуда в Каяни, а там наши коробейники, архангельские карелы (всё больше и больше их занимается этим промыслом) контрабандой тащили на себе этот чай в Ухту. Оттуда тайно через кемских обирал – в Шуньгу, да не в саму, а в «сиверные деревни» Порожек да Куднаволоок. А оттуда уж любители чая, Бог знает как его достают.

Вообще-то, Павел Николаевич больше любил не индийский, а настоящий китайский байхоа высших сортов, едва уловимого тонкого аромата, но на ярмарке из китайских обычно преобладали в основном дешёвые кяхтинские сорта, и поэтому ароматом продукции сэра Томаса он искренне наслаждался.

– Павел Николаевич, я хочу вас сёмужкой угостить. Нет-нет, не отказывайтесь. Только один бутербродик, а если попробуете, то и два и три скушаете.

– А вы знаете, Василий Дмитриевич, что в Петрозаводске даже прислуга, когда нанимается на работу, ставит условие, чтобы лососина была к столу не больше одного раза в неделю?

– Да что понимает ваша прислуга в сёмге?! – взвился Василий Дмитриевич. – Лучше этой сёмги в природе нет. Это же настоящий сорт «порог», из Онеги. Я специально просил привезти рыбину побольше, не солив, не заморозив, да чтоб не

протухла. Сам малосольную соорудил с сахарком.

– Как с сахарком?

– А вот так. Сначала сахарок в ступке истолчём в пыль, ею слегка припорошим рыбку, а уж потом крупной солью, да не «морянкой» (она горечь даёт), а настоящей, которую из Рыбинска привозят. Косточку вынем, и на три дня в тряпицу. Сегодня четвёртый день.

И он поставил на стол Павлу Николаевичу три тонких, но широченных пласта сочной рыбы и отдельно, в маленьком блюдечке – масло и три кусочка хлеба.

Сёмга действительно таяла во рту. Такое гастрономическое удовольствие он испытал, пожалуй, только от «frutti de mare» – удивительных продуктов моря Италии.

Трактирщик подошёл к окну, выходящему на озеро.

– Вот это да! Любо-дорого посмотреть! Красота-то какая! Как в сказке – едут в расписных креселках. В каждом по добру молодцу да красной девице. Не то что вчера!

Павел Николаевич задумчиво проговорил:

– Да, вчера были совершенно варварские тяжеловесные ломовые гонки.

– Пердёж стоял такой, что аж в Космозере слышно было! И это позорище они устраивают каждый год, – подхватил Щепин.

– Куражу у заонежского мужика хоть отбавляй, – вмешался в разговор петербургский купец Пётр Онуфриевич, уже, наверное, более пятнадцати лет приезжавший в Шуньгу за товаром. – Это – нагрузить на дровни по двадцать пять пудов, а то и больше – меньше – ни-ни, и то, говорят, меньше нормы, надо сорок пудов – и поехали-поскакали бодрой рысью. Которые тянут. А других, бедных, колотят нещадно.

– Ваньку толвуйского вчера чуть ли не побили. Ваську своего недогрузил. Бегал по всему погосту, собирал, что ещё навалить. Потом, взмыленный, чуть в иордань¹ не угодил. Да

¹ Иордань – прорубь на реке или озере, которую делали в крещенские праздники. Прорубь символизировала реку Иордан, где был крещён Христос.

Ваньке ли на Ваське в гонках этих дурацких бегать – я этого Ваську с малолетства знаю, не упомяну только с чьего: Васьки или моего. Так слез с саней, бедолага, и ну их сзади толкать!

– В следующий раз сам в сани запряхётся.

– А уж чистоты от этого на озере не прибавится. Грязи, конечно, от балаганов с шатрами на льду полно, но эти дураки назема одного навалят, хоть рожь сей. Живём у озера! А весной на Путкозере с подсиверной стороны на несколько вёрст ни одной рыбки!

– На ярмарке обязательно должен быть санитарный врач. Работы ему здесь на много лет вперёд хватит, – промолвил Павел Николаевич.

– Да ведь и так есть один, из Повенца. Куда больше? Каждую ярмарку торчит. Всё пробует, пробует. Лопнет скоро. Что недопробует, с собой унесёт. И всё за здорово живёшь.

– Вы несправедливы к врачу, Василий Дмитриевич. За последние лет десять ни одного отравления, ни одной эпидемии из-за съестных припасов, – возразил Рыбников и подумал, что толику функций санитарного врача повенецкий пробовальщик мог бы и взять на себя.

– Да чем травиться-то у нас на ярмарке? Всё самое свежее! Рыбка только что плескалась, свининка только что хрюкала, телятинка только что мычала. А гороху с гречкой и через сто лет ничего не сделается. А уж орехами да мёдом с изюмом и век не отравишься. Нет, не надо нам второго врача. Пускай один лучше кормится, – ловко отбрил несуществующего доктора Василий Дмитриевич. – Вы объяснили недавно мне о статистике. Она, мол, всё сейчас сосчитает, сравнит с тем, что было, и отгадает, что надо делать. Может, она и отгадает, только не у нас в Шуньге. Кто бы мог помыслить, что в этот год народу столько приедет. Во всех избах вповалку спят. А швейцара вы когда-нибудь у меня видели? А сей год – пожалуйста. Морда – во! Кулаки – во! В нижней зале порядок только от него. И без всякого шума.

– Давно ясно, что одного трактира с кухней на ярмарке мало,

– поддержал Рыбников.

– А ведь никто – ни уезд, ни губерния не помогут. Мне-то от этого не хуже. У меня капитал давно сколочен, а кто ещё из мужиков трактир потянет с кухней? Да сам по себе никто. Вот и подтягивайте животы, господа купчишки. А без закуочки на ярмарке... Ведь пей – не хочу: и водка, и ром, и виноградное, и ренское, и пикон¹. А на закуску – пряник в зубы!

Пётр Онуфриевич поддержал разговор:

– Что-то просчитать наперёд, конечно, можно. Ведь купец этим и живёт. Но всё не угадаешь. К примеру, вроде бы всё есть на ярмарке. Но вот у меня вчера карман оторвался. А иголку, как назло, потерял. Пошёл купить... Ни иголки, ни ниточки, ни напёрсточка.

– Да. Значит, вы ещё не слышали. Рожкова-то с Вытегры все прекрасно знаете. Он игольным товаром постоянно у нас промышлял. Черепане² ехали на ярмарку со своими железками и где-то у Гимреки видят: карета без лошади, человек зарезанный лежит. Шуба вся в крови, аж шерсть колтуном. Я что думаю. Он ведь всегда барином таким ездил, в саночках расписных. Товар мелкий, весь в шкатулочках, коробочках, а то в саквояжах приличных. Вот разбойнички-то и позарились. Грех на душу взяли за кольца золотые да браслеты, которых у Рожкова отродясь не бывало. Черепане в Гимреке – уряднику. Да застряли там на два дня. Тому ведь долго думать не надо: «Вы убили, да и всё». Вот и выкручивайся. Еле отпустил.

Пётр Онуфриевич включился в расследование:

– Конечно, лет десять назад всё можно было бы списать на ихнего Ринальдо Ринальдини – Оловяникова, но тот давно пойман вроде.

– Оловяникова нет, а Паньковы, которые с каменной посудой к нам самовозами раньше приезжали, до сих пор его помнят, если живы. Только от нас с ярмарки приехали – две тыщи

¹ Пикон – рижский бальзам.

² Черепане – жители Череповца.

рублей наторговано было – Оловяников тут как тут. Мало ему было двух тыщ, так Агафью ещё утюгом углевым прогладил. Денег от этого разбойник больше не получил, а Агафья теперь всю жизнь охает – к спине не притронуться.

– Жаль Рожкова. И товар его был в Шуньге едва ли не единственным, – сказал Павел Николаевич. – Вы правы. Многое нам не дано предугадать. Ещё пример вам на ту же тему. Простое дело, казалось бы, погода. А ведь и она влияет на вашу ярмарку, и вы это знаете без меня. Тёплая зима – мало пушного товара и дичи; холодная – возы с верхом, и купцам из Петербурга прибыльнее. Но есть неопределённости посерьёзнее. С освобождением крестьян сейчас будет много новых департаментов. Кто-то из них, наверное, возьмёт на себя заботу о ярмарках. Что они надумают? Будут ли здесь строить железную дорогу? Будут ли – и куда – ходить регулярно пароходы из Петербурга? Будет ли действовать большая ярмарка в Архангельске, равная нашей? А статистика поможет и в этих вопросах.

В зале, как всегда, били по рукам и деликатно обмывали будущие поставки белки, лисицы, выдры, зайца, медведя, горностая, куницы, норки, песцов. В гуле голосов различались и палтусина с камбалкой, и лососина с тресочкой.

Вдруг собеседники услышали нечто интересное:

– Да вот, помяните меня, лет через десять-двадцать все поголовно будут ходить в кошачьих шапках и воротниках. Мех нежнейший. От малейшего ветерка так и колыхается. У нас в Каргополе всё больше и больше скорняки киску используют. Так что незачем в лес ходить. Заготавливайте кошечку.

Василий Дмитриевич мрачновато глянул на «кошколюба» и процедил:

– Обдирал тут один такой сорок...

А Пётр Онуфриевич сграбастал кошку, которая всю свою жизнь обтиралась о господ купцов, и хохотнул:

– Ну что, Мурка, пойдёшь на шапку мне?

Кошка с визгом подпрыгнула на коленях у купца, вырвалась

с жалобным гнусавым мяуканьем, как безумная начала бегать по трактиру и даже намеревалась прыгнуть на стойку.

– Да что ты животную мучишь, Онуфрич? Открой дверь в сени, пускай выскочит! – закричал на купца Щепин.

Дверь тотчас была открыта, и кошка моментально исчезла.

– Не бывать этому, – заявил Василий Дмитриевич кошкодаву. Компания молча поддержала его.

(К сожалению, это случилось, и лет через пятнадцать кошачьи шкурки стали на Шунгской ярмарке ходовым товаром).

В зал вошёл и, раздевшись, заказал себе чаю молодой человек.

Пётр Онуфриевич окликнул его:

– Яша! Карельский! Получи должок за рыбу. – Он протянул Яше несколько ассигнаций. – Как, сделал запасы на весну?

– Да, купил колониальные, мёду да масла льняного, а суровского товара у меня небольшой запас ещё из Петербурга.

– Яша! Не тем ты занимаешься! – огорошил Карельского Пётр Онуфриевич. – Мой тебе совет (спасибо скажешь, когда миллионщиком станешь) – заводи у себя в Вигово живорыбные садки. И в Петербург этих поросят, судаков-то. Хариус и форель – не знаю, доживут ли до столицы, а судак только жирнее от этого станет. У Чванова или Донона его у тебя с руками оторвут.

К столу подошёл, весело потирая руки, сумпосадский рыбопромышленник Воронин:

– Василий Дмитриевич, полуштофчик нам рябиновки дай-ко. Если всё получится, как задумано, то не только я, но и внуки у меня будут обеспечены после сегодняшнего гурта... Учи его уму-разуму, Онуфрич. Тоже такой как-то пришёл к моему напарнику – Феде Савину: «Как да как капитал нажил, Фёдор Иванович?» Темновато было уже. Федя-то встречает молодого на крыльце со свечкой и проводит его в самую дальнюю комнату. А у него их не меньше десятка. Свечку на стол и фукнул на неё. А сам начинает штаны снимать. Молодой и спрашивает: «Что это вы делаете, Фёдор Иванович?» – «Дак штаны-то дорогие, в Норвеге купленные. Пускай лучше родная шоркает».

И голой ж... на стул. Вот как капитал наживается!

Все рассмеялись.

Стало темнеть. Павел Николаевич допил чай и, попросившись, вышел.

На крыльце работал «швейцар» – здоровенный малый в красной косоворотке. Он молча волок упившегося крестьянина в ближайший сугроб.

«Серьёзный цербер, не то что эти, данные мне в помощь, суетливые и низкорослые повенецкие полицейские, которые больше народ пугают, чем помогают. Хорошо хоть иногда в ссоры на ярмарке вмешиваются, – думал Павел Николаевич, направляясь к гостиному, где у ярмарочной администрации в одном из номеров было что-то вроде конторы. – Да, непредсказуемость... Рок. А нужно ли, чтобы человек знал свою судьбу? Хорошо ли предвидеть будущее, если всё равно не в силах изменить его? Но зато при помощи нашей статистики мы сейчас узнаем то, чего ещё никто не знает, хотя многие догадываются».

Павел Николаевич открыл своим ключом дверь. Пахло теплом. Чувствовалось, что здесь уже побывали становой с мировым и судебным следователем. Комендант сегодня объезжал окрестные деревни и, очевидно, ещё не приехал.

Рыбников подошёл к большому свечному фонарю, открыл заднюю стенку, вздул огонь и снова закрыл. Пользоваться открытым огнём было строго-настрого запрещено во всех ярмарочных помещениях.

Павел Николаевич встал за конторку, достал из ящика счёты, ярмарочный журнал, полный прошлогодний реестр, вынул из кармана блокнот со своими записями, разграфил лист и написал:

1. Пушной товар

1. шкур

а) лисицы красной

б) лисицы сиводушки...

И вот среди богатства и изобилия Русского Севера мы навсегда расстаёмся с любезным нашему сердцу Павлом Николаевичем.

Как хорошо, что они встретились – Шунгская ярмарка в свой звёздный час (Павел Николаевич насчитал миллион уже во время предварительного черного подсчёта. Такого не было и больше не будет никогда) и отличный учёный – «европеец» накануне своего триумфа.

Что их ждёт?

Ярмарку – постепенное, безболезненное, медленное угасание вплоть до 1930-х годов. Все новые дороги прошли мимо Шуньги.

А Павел Николаевич до декабря 1866 года останется в ссылке. Ещё не раз, к счастью, ему придётся ездить в Заонежье. Все три тома «Песен, собранных Рыбниковым» вышли, когда он был ещё в Петрозаводске.

Почти сразу же после опалы он был назначен вице-губернатором города Калиша, где и прослужил до смерти, которая случилась обидно рано, в 54 года, 29 октября 1885 года.

Поляки (да и русские тоже) ценили в нём «умение соединять высокие знания с выдающимся положением в обществе, со служебными обязанностями, разумно сглаживать обстоятельства и условия, часто противоречивые, быть человечным и полезным для всех, не руководствуясь предубеждениями ни против кого».

Так в некрологе.

Маша

17 марта 1914 года на Алексея – человека Божьего, пришла ярмарка в Великую Губу.

Мать с утра хлопотала у печки, а молодёжь – Маша и Петя – попили чаю и засобирались на погост.

– Маша, ведра пустые стоят. Сходи по воду, – велела мать.

– Да мы с Петькой вчера вечером на санках большой чан привезли.

– Ну и что, свежей на чай к обеду принесёшь.

Маша обула подшитые валенки, поддела под буднюю кафтанушку ватную безрукавку, накинута на голову простой повседневный платок, взяла ведра и вышла из дому.

До проруби было довольно далеко: перейти сельскую площадь, дорогу и выйти на озеро.

Уже тянулись к Великой каргопольские самовозы¹ с горшками, черепане с железным товаром; съезжались купцы, которых нельзя назвать великогубскими, да и питерскими не назовёшь – они то там, то здесь; проехал дядя Саша Кротов из Сенной, пряники медовые, конечно, везёт. Сам печёт. Таких вкусных нигде нет.

Вдруг Маша увидела девушку в тулупчике, из-под которого виднелся сарафан из старинной «венецейской» ткани, и в новых белых валеночках. На голове у девушки был атласный платок.

Да это же Оля из Шуньги, щепинская.

– Олюшка, здравствуй! Гостевать приехали?

– Ну.

– Надолго?

– А пока ваша ярмарка к нам не переедет².

– А к кому в гости, если не секрет?

– Да какой секрет! Отец сейчас заехал к Королёвым, а потом собрались в Вигово к Карельскому.

– Это у которого дом на шестьдесят четыре окна и картинная галдарея в зале?

– Галдарея! У него сейчас и церковь своя будет.

– Какая церковь? В Вигово же часовня.

– Ну и что. Церковь выстроит. И батюшку пригласит.

– А трактир ваш как?

– Что ему сделается? Пока закрыт. Мы ведь только на ярмарках торгуем. Вот на Благовещенье и откроем. Народу должно

¹ Самовоз – человек, который сам развозит на продажу свой товар.

² Оля имеет в виду Благовещенскую ярмарку в Шуньге. В предыдущих главах говорилось о Богоявленской (Крещенской) ярмарке.

приехать! Телеграммы так и шлют. Одних Ворониных из Сум-посада четверо будет. Даже старый Онуфрий Петрович, купец из Питера, явится. Я так его и не видела никогда. Мой покойный дед с его отцом дружил. Тот всегда у нас останавливался... А Онуфрий Петрович всё приказчиков своих посылает за рыбой. Смешные такие: «Барышня, а для вас у нас ананас». И конфеты шоколадные привозят.

– А ну-ка, девицы-красавицы, посторонитесь, – весело обратились к ним два мужика, сгружавшие с саней длинный стол-прилавок. Они быстро, прямо в снег, вбили четыре кола с разветвлениями на концах, положили на них две перекладины, на них – ряд жердей, затем прослойку из связанных пучков соломы, сверху – несколько досок. Вот и торговые ряды готовы. Мужики разложили на прилавке куски домотканого полотна, пестряди¹ и множество берестяных тусов. Новоявленные купцы были готовы к приёму покупателей.

Мужицкий товар никак не заинтересовал барышень, они немножко отошли в сторону и начали перебирать всех своих знакомых в Шуньге и Великой.

– Оля, пойдём со мной до проруби. Принесу воды, переоденусь – и айда гулять по ярмарке.

– Пошли.

У проруби вспомнили ещё многих своих сверстников. Наконец Маша наклонилась, зачерпнула воды, выпрямилась, сделала шаг к селу и обомлела.

Вся сельская площадь и дорога, насколько их можно было охватить глазом, были заполнены людьми, так что яблоку нигде упасть. Девичьи стайки выделялись в толпе яркими пятнышками. Вся эта масса медленно шевелилась, и, казалось, будто ярмарка танцует «круг».

Маша поняла, что воды ей теперь даже огородами не пронести.

– Ну и что? Вёдра поставим в снег. Пойдём к тебе. Переоденешься. А воды вечером принесёшь, – сказала Оля.

¹ Пестрядь – домотканая материя в цветную клетку.

– Переоденешься! А ты могла бы так – пойти за водой, а домой без вёдер даже?.. То-то... Тебе хорошо, Олька. Ты вон какая баская. А я вся в рибушах...

Девушки припрятали в снегу у старого причала вёдра и пошли на берег.

Неподалёку от берега развесёлая компания молодых людей в тёмных драповых пальто, котелках и сапогах с галошами питерского «Треугольника» наяривала на гармошке «Когда б имел золотые горы».

– Маша, а на гармошке играет... Это не Пашка питерский?

– Он самый. Паша – ангел непорочный¹, – тихо проговорила Маша.

– А ты помнишь, когда отец с матерью его в Питер в лавочку продали? Беднее их во всей Великой не было. Мы тогда с тобой совсем маленькие были. Когда их увозили – там ещё ребята и несколько девчонок было – как он ревел! Вон какой вымахал. Пойдём к ним.

Маша вспомнила вчерашнюю «бесёду», «галантерейное» обхождение Пашки, странно сочетающееся с грубым приставанием и матерщиной, и сказала:

– Хочешь – иди, а я не пойду.

– Да почему?

– Внешность у них лакейская, – отрезала Маша.

– Маша, знаешь Петьку Екимова, сироту? Он всё у нас да у нас. Как прилепился, – сказала, покраснев, Оля.

– Воздыхатель-то твой?

– Ой, насмешила! Ему же всего двенадцать лет.

Четвёртый год в школу ходит. Пишет как по печатному. Прописи видела? Так у него лучше. Отец хочет его с Онуфрием Петровичем в Питер отправить в мальчики.

– А как дядя? Петька ведь у него живёт.

– Дядя? Спит и видит, как племяш ситцы аршином так и меряет, так и меряет.

¹ Название популярной в те годы грампластины.

- Благодетели, – с ехидцей произнесла Маша.
- Да что ты всё недовольная такая? Хозяином вернётся.
- Поглядим, – грустно сказала Маша, вспомнив давние Пашкины слёзы.

Девушки смешались с ярмарочной толпой, и вдруг неожиданно оказалось, что Олю держит под руку неизвестно откуда взявшийся господин городского вида, в шляпе, с портфелем, и говорит ей такие речи:

– Мы сейчас зайдём к вам домой и составим договорчик. Вы мне дадите всего-навсего червонец, а потом каждый месяц будете платить по трёшке, пока все 90 рублей не выплатите. А швейная машинка фирмы «Зингер» будет у вас завтра же. Хотите – с ножным приводом, хотите – ручную.

– Дяденька, не пойдём мы с вами на фатеру. У нас уже «Зингер» есть. Маша, у вас ведь тоже?

Дядька приподнял шляпу:

- Надеюсь, претензий к фирме не имеете?
- Ой, что вы! Шить на ней одно удовольствие.

Господин исчез так же неожиданно, как и появился.

Но недолго Оля оставалась без «кавалера». Под ручку её прихватил господин, похожий на предыдущего.

– Граммофончик в рассрочку не желаете? За полцены уступлю. Из самого Берлина. У нас их пока не делают. А вот пластиночки наши. Рижские. Полный комплект Анастасии Вяльцевой, царствие ей небесное. Какая певица была! «Гай-да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом...» – пропел он.

И вдруг как по заказу из палаток и разноцветных брезентовых шатров, где были граммофоны, голос Вяльцевой как бы продолжил:

*Светит месяц серебристый,
Мчится парочка вдвоём...*

– Спасибо! Но граммофончик у нас уже есть, – промолвила Оля. – Вот Маша, наверное, купит. Есть у вас?

– Да, папка зимой купил, – сказала, покраснев, Маша, чтобы только отделаться от агента. А граммофона у них не было. Они всё время с Петькой просили отца купить, но тот всё отнекивался: дорого, мол.

Очередной агент исчез как испарился.

Девушки, проталкиваясь сквозь толпу, приблизились к небольшому прилавку, где продавец в котелке и чёрном драповом пальто, как у тех, которые хотели «иметь золотые горы», витийствовал перед чисто мужской компанией:

– Сочинение Баркова «Лука Мудищев»:

*Дом двухэтажный занимая,
В Москве в былые дни жила
Вдова, купчиха молодая,
Лицом румяна и бела.*

– А вот ещё похождение купца в бане на Нижегородской ярмарке – шесть занимательных видов:

*Купец Петров привёз мерлушку¹,
Нашёл на ярмарке здесь душку,
И вот как славно он гуляет,
Своей супруге изменяет.
А душка эта всё виляет,
Его деньжонки огребают...*

Котелок, увидя барышень, засмутился и, слегка запнувшись, продолжил:

– «Горе от ума» Грибоедова, с картинками. А вот песенник Гурьянова. «Пой, ласточка, пой, дай сердцу покой».

Какой-то крестьянин взвешивал на ладони полное собрание сочинений Пушкина в одном томе.

– Неужели это полное? Пушкин ведь много чего написал.

– Видишь – на папиросной бумаге, мелко напечатано. Две

¹ Мерлушка – овечьи шкуры.

тыщи страниц, считай. Почему же не полное? Тут даже лишнего много. Бери, дядя!

Мужик взял. Пропаганда печатного слова вошла в более приличное русло.

Ещё один деревенский книгочей спросил что-нибудь «поинтереснее».

– «Три мушкетёра» в четырёх книгах. Что, дорого? Могу двух отделить. Да хоть одного бери!

«Поинтереснее» оказался тоненький выпуск про Шерлока Холмса.

Один из покупателей давно уже стоял молча, уткнувшись в книгу.

– С вас два рубля за «Полный сонник для разгадывания», четырёста снов.

Читатель вздрогнул.

– А тут на корочке написано, что только двести.

– Мало ли что они там напишут. Умный человек из всякого дела двойную пользу извлечёт. Рубль семьдесят пять. А? Ну ладно! Полтора!

Продавец, улыбнувшись, подал девушкам поваренную книгу Елены Молоховец и «Уход за красотой».

Девушки молча в восхищении разглядывали «Красоту». Оля жалобно, просяще, глянула на продавца в котелке.

– Цена без запроса! Ничего не добавлю и не скину... Давайте трёшницу – полтинник уступаю за ваши красивые глаза. Берите.

– Мы ещё подойдём к вам, – сказала погрузневшая Оля, немало подумав. – Вот куда мы пойдём, Маша. К аптекарю.

И они пошли к палатке, где один из питерцев продавал парфюмерию.

У палатки стояли два деревенских прыщеватых паренька.

– Интересно, что они покупают? Маша, давай спрячемся, чтобы они нас не видели.

Девушки спрятались и прислушались к замысловатой речи продавца.

– Редкий случай восхищаться, молодые люди! При виде наших предметов вы будете поражаться, какие низкие цены мы назначаем, когда убедитесь в доброкачественности нашего товара. Вам, юноша, я посоветовал бы перуин-нето, наилучшее средство для рощения волос. У вас волосики мелкие-мелкие, едва видны. Будете пользоваться перуином-нето, и вырастут роскошные усы и борода. В другом месте смотрите, чтобы к горлышку парижская медаль была привешена. Нет медали – нет перуина.

– Нам бы от прыщей какую-либо мазь.

– Специально для вас привёз «Угрин». В несколько дней уничтожает всё совершенно. Через три дня вы забудете про свои прыщички.

Оба парня купили «Угрин», основательно и долго засовывали мазь в карман, несколько раз ощупав его. Исполненные надежд, парни отошли к другим палаткам.

Маша и Оля вышли из своего укрытия. Продавец противно подмигнул им, осклабился, поднял большой палец и торжественно сказал:

– Мокоеуль... Только мокоеуль Бишара придаст вашим очаровательным глазкам поразительный блеск и особую тень. А бровки и реснички густоты отменной будут. Я стесняюсь предложить вам «Чудо красоты» – идеальный душистый крем, так как вы сами являете чудо!

– Две баночки крема дайте нам, – попросила Оля.

– А поддержку вашей белой коже и прелестному цвету лица составит мыло «Конек».

– И два куска мыла «Конек».

Оля расплатилась. Одну баночку крема и кусок мыла она подарила Маше. Девушки собрались уходить, но продавец их остановил.

– Момент. Привязанность заонежских барышень к изящным занятиям – вышиваниям известна давно. От себя хочу добавить вам несколько упаковочных листов от броккаровского мыла с лучшими образцами российской вышивки. Мыла уже нет, а листы с рисунками для мастериц – пожалуйста.

Девушки поблагодарили продавца, продолжили свою прогулку.

– Тебе нужны эти курушки с петухами? – спросила Маша.

– Может, сестрёнка маленькая будет крестиком вышивать.

– Тогда и мои листы возьми, а то я всё больше досюльным¹. Смотрю на бабушкины утиральники, и узоры сами в голове складываются.

Девушек окликнули от одной из палаток, увешанной рекламной шустовского коньяка и захарьевского порто.

– Ой, Ваня! А мы с папой к вашему Фёдору Яковлевичу приехали. Отец зашёл к Королёвым, а вечером – к вам, в Вигово, – обрадовалась Оля.

– Сам-то сегодня на целый день ушёл с рыбаками договариваться. Кроме как живой, никакой больше не берёт. В садок её, а потом в Питер живьём. Ещё старый Яков Фёдорович на живорыбных садках капитал нажил. – Ваня достал красивую бутылку, открыл её, разлил в маленькие стаканчики и предложил барышням.

– Да ты что! Мы же не пьём, – возмутились девушки.

– Вы только попробуйте. Это ведь не вино.

Напиток оказался нежным, слегка шипучим, с неопишным ароматом.

– Откуда это?

– Быдто вы не здешние. У нас от каждого порога к Питеру дорога. «Душистая фиалка» – последний писк питерской моды.

А на закуску Ваня достал вкуснейших сладких стручков, произрастающих, как он сказал, на греческом острове Кипр.

От Вани девушки отправились на карусель, которую крутили свои же «крутильщики», великогубские подростки. Барышни сели в каретки, и закружила их под «Гай-да тройку» весёлая деревенская ярмарка.

Гай-да тройка, снег пушистый,

Ночь морозная кругом,

¹ Досюльный – старинный; *здесь*: местное название двустороннего шва в вышивке.

Светит месяц серебристый.

Мчитя парочка вдвоём.

Милый шепчет уверенья,

Ласково в глаза глядит.

А она полна смущенья,

Что-то ей любовь сулит.¹

И это был у Маши один из самых счастливых в её жизни дней. В глубокой старости она говорила с грустной улыбкой:

– Одно жалко. У меня в сундуке шаль кашемировая была, так и не надёванная. Папа привёз из Шуньги... Тонкая такая... Сквозь кольцо проходила.

Серёжа

Под утро 19 января 1926 года пятилетнему Серёже Екимову приснилось, что едет он на своих маленьких санках-чунках, расписанных крупными бутонами красных роз с белыми оживками. И у санок тех полозья подбиты настоящим железом.

А розы на санках прямо на глазах распускаются, и даже несколько капелек на них подрагивают. И на уголке рта у Серёжи такая же капелька. И едет он по весёлому разнотравью, где и кашка, и пастушья сумка, и колокольчики, и дудки, а остальных цветов он ещё не знает, но они всё равно красивые.

А везёт санки большой цветастый петух. Оглобелки под крылышки заходят. Иногда Петя склонит голову набок, «ко-ко-ко», обернётся да на Серёжу искоса посмотрит с улыбкой такой, петушиной.

Вдруг навстречу им огромный чёрный петух.

Ой, сейчас драться будут!

А как же мои чунки? Розы мои?

Серёжа в страхе проснулся.

¹ Слова М.К.Штайнгеля.

Оказывается, можно даже и не плакать. Он у себя в избе на русской печке под своим маленьким одеялом-шубницей. И ножки в кукеле¹. Тепло.

Голову тихонечко свесил с печки вниз на привалок и на рундуке увидел краешек чунок своих, правда без полозьев железных (приснилось), успокоился и начал прислушиваться к тому, о чём мамка тихо говорила татке.

Они ещё не вставали, лежали на кровати и разговаривали вполголоса.

– Петя, уезжать нам надо из Шуньги. Не крестьянин ты. Тяжело тебе пахать да камни на пашне ворочать. Ты же грамотный, пишешь так, что заглядеться можно, а считаешь в уме быстрее, чем на счётах. Вон твоя любимая Ольга, кума наша, замуж в Масельгской вышла за диспетчера на железной дороге. Можно, говорит, устроиться в конторе служащим. Узнай-ка у неё. Она приехала на пару дней. Обещала с утра зайти – крестника на ярмарку взять.

– Ольга нам не указ. У неё один путь – замуж. Она из Щепиных. Вон дядьев-то её да папашу налогом так обложили, что не пикнуть. А ведь сколько они на училище дали! Это, небось, не вспоминают. Был бы трактир у Василия Дмитриевича, как когда-то, вот тогда и выкрутились бы. Да и то вряд ли. В последние годы перед революцией доход у них маленький был. Ярмарка уже не та. А с шестнадцатого года, когда пожар был в Шуньге, да весь гостиный сгорел, так и трактир накрылся. Пожалеть их только и осталось, а не налог драть. Ольга придёт, я Мальчика запрягу в «крёсла»² и поедем с ней и Серёжей.

– Петь... Не езд. Недалеко ведь. Пусть Ольга Серёжу на чунках свозит.

– Аня, ты опять ревнуешь. Ольга ведь меня на целых пять лет старше. Кума наша... Ладно, не поеду... У меня ведь только ты

¹ меховое одеяло с подобием конверта для ног.

² Легковые сани.

– свет в окошке. Кабы не ты, меня бы и на свете не было бы. И Серёжи.

– Да... Ольга такая красивая...

– Аня, вспомни, как меня из Питера привезли в восемнадцатом. Пошевелиться не мог от ревматизма. Хоть в гроб клади. Онуфрий-то Петрович меня никому не отдал, а у себя оставил в мальчиках тогда в четырнадцатом. Сначала ничего. Я магазин у него мыл-подметал. А потом обрядил меня в костюмчик с галстуком, обул в ботинки лаковые, и началось: «Петя, на ледник. Судака... Сига... Стерлядку...» И так целый день. Прилавок – ледник. Прилавок – ледник. А там на полу лёд с опилками. В сусеках колотый лёд, а на нём рыба всякая. С ног и пошёл ревматизм.

– Умница ты мой. Послушался меня тогда. Сватов дядя твой прислал... У тебя такие реснички были... Не могла я тебе помереть дать. Такой мальчик моим должен стать.

– Ох, и выхвостала ты меня тогда в бане веником за три месяца.

– Меня все отговаривали замуж за тебя идти. Помрёт на днях, а ты замуж за него. Спасибо бабке-знахарке. «Такую болезнь только жена у мужа в бане может вылечить. Дёгтем намазать его и вениками хвостать сколько силы есть». Когда дёготь покупала бочонками, все спрашивали: «Анька, ты что – постоянный двор купила? Дёгтя-то куда тебе столько?» А я теперь как запах дёгтя почую, так всё тебя, Петенька, вспоминаю.

– Повезло нам, дуракам. Фельдшер потом говорил, что болезнь сердце ещё не так задела. А то от твоих веников с дёгтем и концы бы отдал.

– Петь, смотри, Серёженька-то притаился. Не спит. Ты что подслушиваешь? А? Быстро к нам иди. Минутку полежим – и вставать.

Серёжа быстро соскочил с печки, на секунду ощутил холодный воздух внизу и юркнул под лоскутное одеяло к папе с мамой.

Казалось, что нет лучше этих утренних минут. Жаль, что продолжались они всегда недолго.

– Всё. Встаём, – сказала мама. – Умыться. Печку топить.

Чай кипятить. Завтракать. А потом тётя Оля придёт, и вы с ней на ярмарку пойдёте. А с ярмарки придёте, и пироги будут готовы.

– А пряников и конфет купим? – спросил Серёжа.

– Конечно. Какая же ярмарка без пряников, – ответила мама.

Позавтракали вчерашней картошкой с грибами и капустой. Серёжа выпил чашку чая с хлебом с маслом, а молоко пить отказался, так раскапризничался, что мамка от него отстала.

Корову они держали вместе с дядей. Доили по очереди – то Аня, то тётя Дуня.

Они так и жили в доме Петиною дяди – в избе, а дядя с женой – в горнице. Вход из избы в горницу был заделан, и поэтому дядя с женой ходили к себе домой через сарай.

Только позавтракали, пришла тётя Оля в чёрном приталенном пальто с меховым воротником, валенках и красивом цветном платке на голове. Она сразу же начала тискать Серёжу и торопить папу с мамой, чтобы быстрее одевали.

Серёжа сам нашёл свои валеночки, зипунчик, кушачок, шапку-ушанку и с удовольствием помогал маме одевать его. Ольга взглянула на чунки.

– Цветочки-то Воробьёв рисовал?

– Ага. Мы с ним чуть ли не вместе из Питера приехали в восемнадцатом, – ответил Петя.

– Тоже купцом не стал. Малярит, значит, – сказала Ольга.

– Жить-то надо. На хлеб ему вроде хватает... Оля, я тебе монет-серебрушек дам. Купи Серёже пряников и конфет, – начал шарить по карманам Петя.

– Вот ещё! На гостинец для крестника у меня всегда найдётся. Ну, готов? Забирай свои чунки. И поехали.

До ярмарки доехали быстро и без приключений, если не считать, что Серёжа пару раз с чунок «оковыркнулся», как выразилась Ольга.

И вот Серёжа попал в какую-то странную сказку. На погосте тесно стояло множество саней, в основном розвальней, с поднятыми вверх и связанными друг с другом оглоблями.

Лошади же были привязаны отдельно к коновязи, которая крепилась к остаткам старого гостиного. Они стояли спокойно и выглядели будто не лошади, а непонятно что, так как на мордах у них были надеты кожаные мешки-торбы с овсом, и животные вели себя тихо, издавая негромкие жующие звуки.

На одних санях были корзины из лучины с разной рыбой; на других – пушистые, ослепительно белые куропатки, просто накиданные на розвальни; на третьих в сене лежали маленькие глиняные коричневого цвета блестящие горшочки.

Серёжа ходил с тётей Олей за ручку. В другой руке Ольги были и Серёжины санки, и корзинка. Ходить в толпе между саней было довольно тесно.

Они подошли к горшечнику, и Ольга сказала:

– Горшков у нас полон дом, а вот нет ли у вас свистульки, петушка глиняного для крестника моего?

– Как же! Только для вас и припас, – горшечник вынул из кармана маленькую глазурованную птичку, свистнул пару раз, вытер чистым платочком и протянул Серёже. Мальчик взял свистульку и начал самозабвенно свистеть. После того как он решил перевести дыхание, тётя Оля забрала у него птичку, сказав, что хватит свистеть и что он мешает людям, а насвистится он всласть, когда поедут домой, по дороге.

Выбираясь из толпы к ларькам и лоточникам, стоявшим на обочине с мелочным, но часто вкусным товаром, Ольга обратила внимание на человека, продававшего ярких петухов из папье-маше, разложенных на снегу на холщовой подкладке. Похоже, что это Иван Поднебесников, тоже из питерских мальчишек.

– Оля?

– Ну.

– Твой?

– Сынок... Крестник... А ты давно из Питера?

– В восемнадцатом. Хозяина-то моего шлёпнули. А я отсюда уже в армию уходил. Теперь вот петухов делаю.

– Знатные петухи. Давай самого большого.

Серёжа прижал петуха к груди и сразу подумал, что этот красавец победит того, чёрного.

По пути к лоточникам Ольга увидела, что у ларька с вывеской «Карсельсоюз» назревал скандал. Какая-то мощная баба орала на продавца:

– Где твоя смычка? Что ты привёз на село? Пять кофейников, три примуса да двадцать ножниц? Не нужны мне твои ведра. Примуса давай!

На что продавец пытался успокоить бабу такими словами:

– Да я ведь человек подневольный. Сколько дали, столько и везу. А тебе лучше, что примус не достался.

– Это почему?

– Каросину где бы взяла? Я-то не привёз, – и громко захохотал.

Серёжа с тётей Олей подошли к лоточникам, стоявшим около ларьков. Лотки висели у них на ремнях в горизонтальном положении на груди. У некоторых рядом стояли мешки.

Серёжа был мальчик воспитанный и не приставал к тётке Оле с просьбой купить что-то. Он был уверен, что крёстная купит ему самое-самое вкусное.

Они прошли мимо папиросниц, на которых Серёжа не обратил внимания. А Ольга обратила. На одну. Ну прямо Юлия Солнцева из фильма «Папиросница от Моссельпрома», которую она видела перед отъездом сюда в железнодорожном клубе... Воображает-то как!

Не задержались и у лотков с клетчатými ирисками, прошли мимо подушечек, мимо лотка, где продавец продавал дешёвую карамельную массу, ковыряя её совком, и наконец остановились у лотка с конфетами. Ольга внимательно читала неслыханные доселе названия конфет: «Будёновка», «Советская»... Ну почему не «Кепка»? А что, если бы победили белые? Тогда бы «Белогвардейские» жевали? Да, всё это не «Гала-Петер»¹. Ой, молчи, Олюшка, вслух только не ляпни!

Ольга взяла у лоточника большой кулёк «Раковой шейки»

и положила в корзинку. К следующему продавцу они шли по запаху. Коричневые медовые пряники тоже оказались достойными внимания Серёжи с тётей Олей.

А последний лоточник внимательно глянул на Ольгу и спросил:

– Никак Щепиных будешь?

– Да, Ольга я.

– Не помнишь, когда-то я у вас с Ворониными из Сумпосада останавливался?

– Не, не помню.

– Ну, помнишь – не помнишь, а за старое твоему папаше спасибо. Сыночку твоему ещё одного петуха, – и он протянул Серёже поморский, яркий, как само северное сияние, пряник – «козулю».

– Теперь мои петухи точно победят того чёрного, – обрадовался Серёжа.

Больше покупать было нечего. Проходя мимо лоточника с новомодной парфюмерией «Тэ Жэ», Ольга презрительно фыркнула.

Она посадила Серёжу на санки, забрала у него в корзинку больших петухов, дала ему свистульку, в которую он весело зашвистел, и повезла его в сторону дома.

Вдруг на повороте санки опрокинулись, Серёжа выпал. Свистульки в руке не оказалось. Мальчик зашмыгал носом, и крупные горькие слёзы потекли по его щекам.

– Серёженька, найдём мы её сейчас, – Ольга заползала вместе с Серёжей, покрасневшими руками разгребая снег. Мальчик захлёбывался в плаче. Наконец свистулька найдена. Ольга, держа зарёванного Серёжу на руках, прижавшись своей почему-то мокрой щекой к Серёжиной, часто заговорила:

– Серёженька, миленький, успокойся, не плачь. Вот она, птичка наша. Храни её всю жизнь, миленький мой. Она принесёт тебе счастье.

¹ Марка шоколада, популярного до революции.

* * *

26 февраля 1953 года инструктор ЦК Компартии Карело-Финской ССР Сергей Петрович Екимов, молодой, но обременённый одышкой и камнем в мочеточнике, человек, весь в поту, запыхавшись, спускался пешком с четвёртого этажа на первый от Самого, куда он так же пёхом поднялся по ошибке. Пёхом – потому что Александр Николаевич Егоров на дух не переносил, чтобы инструкторы катались на лифте.

Секретарши – те могут. Им, пожалуйста. А инструктор обязан показать своё рвение на ковре, часто дыша, а уж хватаясь за сердце – и того лучше.

По ошибке – потому, что, выходя из своего кабинета, он услышал:

– Сергей Петрович, к Александру Николаевичу.

Чего же ещё. И пошёл.

А у самого главного кабинета нагнал своего полного тёзку Звездина, директора ещё строящегося театра, который, конечно, на лифте прикатил и пёр прямёхонько в кабинет.

Поди-ка на раздолбон.

Слухи ходят, что бронза была заказана только на скульптуры, а про дверные ручки забыли. Но этот из-под земли болванки достанет. Так что Сам его не съест. Тем более что для Егорова театр – это всё равно что Великая стройка Коммунизма.

Лесом, небось, другие заниматься должны.

А у Сергея Петровича, кроме ложного вызова, и радости назревали.

Весной, как всегда, всякие обострения хронических болезней, а ему, пожалуйста, в апреле снова обещают путёвку в санаторий имени Эрнста Тельмана в Железноводске.

Откуда и привязались эти болезни!

Может, с военных лет, когда учился на историческом в эвакуации в Сыктывкаре. С едой было хуже некуда. Язвы не язвы, а гастрит почти у всех был. Слава богу, быстро залечил, когда в ЦК из школы перешёл. Зато камень почему-то вырос, да сердце не по возрасту пошаливать стало. А ещё у Сергея Петрови-

ча в кармане лежало письмо, которое он наконец-то дождался. Письмо от крёстной, тёти Оли, написанное по его заказу. Тётя Оля родом ещё из тех деревенских буржуев недорезанных, Щепиных. Вообще-то, кажется, всех дорезали. Во всяком случае, мужиков.

Тётя Оля вовремя вышла замуж, в начале 1920-х, и уехала с мужем в Масельгскую, которая до канала была центром не хуже Медгоры. Потом эвакуация.

А в войну Масельгская была так уделана и нашими, и финнами, что кроме руин водонапорной башни и не осталось ничего. Тётя с мужем переехали в Медгору. А папа с мамой ещё до войны туда переселились. После эвакуации живут в Повенце. Снова отца ревматизм мучает. Дёгтя, что ли, не стало?

А тётя Оля, женщина достаточно грамотная, всю районную библиотеку в Медвежьегорске прочитала. Но, как ни странно, в её мозгу отпечатался весь заонежский говор, хотя никогда им не пользовалась.

Вот Сергей Петрович, тоскуя по детству, Заонежью, будучи всеми своими клеточками шунжанином, и попросил Ольгу написать ему письмо на родном языке всех его предков. Ещё летом просил. А письмо вон когда пришло.

Самому ему не бывать, пожалуй, на Путкозере – нет никого у него в селе. А в отпуске что надо делать? Сердце лечить да жену с ребёнком вывозить. Не в Шуньгу же!

Сергей Петрович зашёл в свой кабинет. Сегодня он был здесь один. Двое коллег ходили где-то по партсобраниям, клеймили позором врачей-евреев, пытавшихся отравить товарища Сталина.

Он закрыл дверь на ключ, достал письмо, долго шарил в нагрудном кармане, даже расчёску сломал, наконец с трудом вытащил свой талисман, глиняную свистульку, и положил её на стол.

Прислушался к радио. Бодрый баритон победно в ритме марша чётко выпевал:

*Русский с китайцем братья навек.
Крепнет единство народов и рас,
Плечи расправил простой человек.
Сталин и Мао слушают нас.
Москва – Пекин.
Москва – Пекин.
Идут, идут вперёд народы.
За светлый труд,
За прочный мир,
Под знаменем свободы.*

Сергей Петрович выдернул шнур.

С китайцами он уже побратался.

Который год уже был аспирантом-заочником Академии общественных наук, что в Москве на Садово-Кудринской, по специальности «История современного Китая».

Бог ты мой!

Уже будучи в ЦК, решил поступить в Ленинград в аспирантуру по специальности «История Карелии» – хотел изучать экономику старого Заонежья, ярмарки.

В верхах сказали: «Какая может быть история Карелии? О калевальских временах всё сказал Отто Вильгельмович¹. Лучше не скажешь. А дальше сплошная Россия. Церкви да монастыри. По истории России хватит учёных и без тебя. Ты вот о чём подумай. Великий Китай сейчас поднимается. Это серьёзно. Так что даём тебе направление на историю Китая».

Ни хао!

Сергей Петрович сел поудобнее, вскрыл письмо и начал читать.

«Здравствуй, крестник.

(Сколько раз ей говорил, чтобы писала только «Серёжа»,

¹ Куусинен Отто Вильгельмович (1881–1964). В 1953 г. – председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, автор ряда статей о карело-финском эпосе «Калевала».

так нет – всегда ляпнет «крестник».)

Оногда¹ напялила я каузаки² напробось³, да оказалось нарас-тыч⁴. Пошилёндала в лес, а было слизко, дак я лызнулаь назад себе. Сюрить недосуг, пошийтала⁵ дальше. Забралась в такие орги⁶, что обалындеда⁷ и вчуться ня могу, гди я. А ягод – одни рожкали⁸, на зубах рюжайдают⁹. Только опристалала¹⁰. Тут в ку-стах кто-то захрайдал да мялькнул. Мни стало притарамко¹¹. Я залибайдала¹², да домой. Дома чаю намочкалась да лягла поуд-новать, маленько отомарилась¹³, а тут кярайдун¹⁴ закярайдал¹⁵. Пришлось выстать. Я заварайдала¹⁶ да подрочила по мосто-лыжке, а то кокули¹⁷ терпнуть¹⁸ его носить. Такой свигунец¹⁹.

Уж и пабедье²⁰, а уменя и конь не валялся, даже зень²¹ не пахана.

¹ Вчера.

² Туфли.

³ На босу ногу.

⁴ Неправильно.

⁵ Пошла.

⁶ Тайга.

⁷ Намучалась.

⁸ Неспелые ягоды.

⁹ Хрустят.

¹⁰ Устала.

¹¹ Страшно.

¹² Задрожала.

¹³ Отдохнула.

¹⁴ Ребёнок.

¹⁵ Заплакал.

¹⁶ Стала уговаривать.

¹⁷ Руки.

¹⁸ Устают.

¹⁹ Быстрый.

²⁰ Послеобеденное время.

²¹ Пол.

А потому и до свидания.

Твоя крестная».¹

Сергей Петрович протянул руку вниз к портфелю, стоявшему у стула, машинально открыл его, достал маленькую, которую ещё вчера тёща купила для слесаря, выбил пробку, налил полстакана и залпом проглотил. Обожгло пищевод, но во рту был сладкий вкус.

Пил он редко. Да на такой работе и не выпьешь. Здесь могут простить многое, но алкоголь никогда. Заметят и снова отправят туда, откуда взяли, только должностью ниже. Вон Федю выгнали, так разнорабочим на завод пошёл. Взяли-то его из слесарей. Правда, Феде нечего было и делать здесь. Без водки жить не мог.

– Кярайдун у неё закярайдал... Вешалка старая... Да у неё и детей-то не было никогда... Письмо поди-ка с лета писала.

И вдруг он, как тогда, зашмыгал носом, неожиданно полились слёзы и снова вспомнились сани-розвальни с поднятыми оглоблями, лошади с кожаными мешками-торбами и его чунки с розами, которые он всю зиму не хотел выпускать из рук.

И вновь его бедного сердца коснулись ОТЗВУКИ СТАРЫХ ЯРМАРОК.

1993 год

¹ Автор письма – Красовская Нина Дмитриевна (р. 1949 г.).

ЧАРОДЕЙКА

Повесть

Т

рещал жгучими морозами декабрь 1886 года. Бедные люди с трудом переносили рождественский пост, а Коля Соболячиков просто голодал. Как и всю свою предыдущую жизнь. И хотя тоненькому юноше с огромными лучистыми вдумчивыми глазами было девятнадцать лет, уже целый год никто не называл его иначе как Николай Иванович, а фамилию его писали не просто Соболячиков, а Соболячиков-Самарин. Несмотря на столь явное якобы генеалогическое роскошество, поестъ досыта Коле пока ещё ни разу в жизни не удалось. В душе и теле молодого человека чувство постоянного голода соперничало с чувством всепоглощающей любви к театру и неуёмной жаждой знаний. В театре (правда, сначала в балагане) Коля был уже лет пять, убежав из дому и топографического отдела генерального штаба, куда он был устроен знакомыми семьи. Играл он и в самых настоящих театрах, но все как-то без желаемого постоянства и нормального заработка. Он стал профессиональным артистом и на красивых визитках из толстого цветного картона изящным каллиграфическим почерком (спасибо топографическому отделу) с радостью выводил: «Николай Иванович Соболячиков-Самарин, артист петербургских театров». На визитке же, посланной в Петрозаводское общество любителей музыкального и драматического искусства, он добавил слово «режиссёр»,

хотя пока еще не поставил ни единого спектакля. Он, как ему казалось, чувствовал и понимал, как надо ставить; ставить, а не просто разводить актёров, чтобы они не стукались лбами друг с другом на крохотной сцене; создавать предметную обстановку, а не просто переставлять шкафы с диванами для разных картин. Жажда знаний подружила его со многими студентами.

И вот как-то этой осенью его крохотную комнатку заполнил своим присутствием вечный студент Прокопий Иванович. Он был огромен и неопрятен. Лицо его заросло клочковатой щетиной, шинель была местами засалена и протёрта чуть ли не до дыр, а на фуражке вместо кокарды был прикреплен бесформенный обломок невесть чего. Воздух в комнате сразу исчез и заменился плохо переносимой смесью дешёвого табака и лука... «Лук, братец ты мой, все болезни предупреждает...» Образованное чудовище вытащило из-за пазухи небольшую брошюру И. М. Сеченова «Рефлексы головного мозга» и протянул Николаю:

– Вот. Почитай. Не усвоив того, что здесь написано, быть актёром, а тем более режиссёром, невозможно. Даже сам Александр Николаевич Островский что-то, говорят, написал по этому поводу. Я, правда, не читал, но надеюсь. Достану – принесу... Про лягушек можешь пропустить. Ты же не будешь их препарировать. Усёк?

Николай Иванович усёк и сейчас, лёжа в санях-розвальнях, ехав на долгих перекладных (так намного дешевле) в Петрозаводск, размышлял. Мысли были отрывочны и путались друг с другом из-за голода и холода.

Про лягушек он тоже прочитал. Так, на всякий случай. Но дело здесь совсем не в лягушках. Всё, что зарабатывается мозгом, внешне как-то проявляется в мышечных движениях. Отсюда и нужно исходить. Я еду туда, куда Макар телят не гонял; мне хочется есть и, если хотя бы через час мы не приедем на постоялый двор, я, как тот ямщик, что товарищу отдавал наказ, замёрзну, правда, в лесу, а не в степи. Одновременно я думаю, как там в Петрозаводске справлюсь с тамошними любителями, как устроюсь с жильём, хватит ли денег на еду и гардероб. Кроме фрака, сюртука, пары брюк и белья, он ничего с собой не везёт. То есть, хотя на меня действуют холод и голод, я мыслю образами, хотя могу и словами. В моём сознании рисуются образы, слова, музыка без действительных внешних образов, слов и музыки. И это, наверное, главное в твор-

честве актёра. Мысль – действие... Действие – мысль. Мысль – причина любого поступка. А так ли это? Просто внешнее влияние остается иногда незамеченным, т. е. первоначально за причину любого поступка принимается мысль. Я думаю, что Сеченов прав, говоря, что причина всякого человеческого действия лежит вне его. Вот и будем репетировать и искать причину всякого актёрского действия вне сознания героя. Должно получиться правдивее и интереснее, чем получалось до сих пор.

А в общем, во всем этом лучше разбираться в тепле и после обеда. Хотя сытое брюхо к учению глухо. Плохо то, что он не взял с собой какой-нибудь посуды для еды, кроме железной кружки. Он и предположить не мог, что останавливаясь они будут у старообрядцев, а те свою посуду блюдут и никому не дают. Ему ли это не знать. Отец – иконописец-старообрядец. Правда, скорее его можно назвать богомазом, нежели иконописцем, но всё-таки. Хоть бы плошка какая-нибудь... К тому же за всё надо платить, а денег у него в обрез. Только на хлеб и чай. Хорошо, что друзья актёры, провозжая, подарили большой кусок сала, завернутый в серую холстину.

Лошадь тащится, еле поднимая ноги, тяжело ступая по наезженному тракту. Всю дорогу так. Никто и никуда не торопится. Да еще возницы на постоялых дворах затевают споры, в какой стороне Петрозаводск и где пассажиру сходить и пересаживаться к другому возчику. Николай Иванович со страхом прислушивался к этим спорам: вдруг да не туда? Денежки-то кончались. Перед отъездом он продал всё, что можно, купил себе с рук то ли осеннее, то зимнее пальто коричневого цвета с какой-то зеленцой, чуть закрывающее колени, валяные опорки, шапку с ушами и, посчитав оставшиеся деньги, решил, что на дорогу ему хватит. С некоторыми возницами ему везло. С теми, у кого оказывался лишний тулуп, который он иногда надевал на себя, а иногда брасывал на ноги. Под сеном и попоной было не особенно тепло. Он ехал уже почти неделю и отогревался только в жарких душных избах постоялых дворов.

Слава богу, бородатые крестьяне на пути стали говорить на непонятном языке. Это карелы. Значит, Петрозаводск близко.

– Петроской? Петроской там, – говорили они, показывая в сторону невидимого города. Ну что ж. Надо придумать парадный

въезд в этот город. Не на дровнях же въезжать. Он обратился к вознице:

- Далеко до Петрозаводска?
- Совсем рядом. Вёрст сорок.
- Ямская станция еще будет?
- Будет.

Вот там и пересядем на более приличные для режиссёра сани. Но как это сделать? Последние деньги он обещал этому возчику и, не подумав, согласился на то, что именно он и довезёт его до Петрозаводска.

Вдруг в мозгу, ну прямо согласно теории Ивана Михайловича Сеченова, возникла тень приснопамятного Ивана Александровича Хлестакова, и тень эта, весело подмигнув, возгласила:

– Как вам не ай-я-яй, любезный Николай Иванович? Я смотрю, вы меня совсем забыли. А зря!

Иван Александрович был явно не прав. Думы Николая Ивановича всё больше склонялись сейчас к деятельности именно Ивана Александровича, и Николай Иванович так и сяк примерял эту деятельность на себя.

– Приехали, – сказал он возчику на ямской станции, заметив понравившиеся достаточно просторные расписные сани, в которые была впряжена и привязана к коновязи чёрная лоснящаяся лошадь, горделиво поглядывающая по сторонам. К лошади подходил возница в тулупе, похожий на торговца из богатых крестьян. Николай Иванович сошёл с дровень и подошёл к нему.

– А расчёт? – слегка возмутился дровенный возчик.

Николай Иванович сделал строгий жест рукой: погодите, мол, сейчас, и подошел к торговцу:

- В Петрозаводск?
- Да.
- Возьмете по пути?
- Чего не взять. Садитесь.
- Сейчас. Только расплачусь.

Он подошёл к дровням. Было ясно, что возчик недоволен. Очевидно, думал, что получит меньше договорённых. Николай Иванович медленно, с подчеркнутой важностью достал последние до копейки деньги и передал их возчику. Тот сразу повеселел. Соболезников перенёс плетёную корзину со своими веща-

ми, сел в сани к торговцу и...

- Н-но, милый! В Петрозаводске куда прикажете?
- В гостиницу. Самую лучшую.
- Тогда в «Палермо». Куда уж лучше.

Бодрой рысью быстро домчали до Петрозаводска. Над низкорослым, еле просматриваемым городом возвышался силуэт огромного пятиглавого храма. При появлении первых домиков возница спросил:

- С ветерком?
- С ветерком!

И они помчались так, что городской пейзаж не успел даже запечатлеться в сознании. Разве что только совершенно круглая площадь с каким-то памятником посередине.

– Тпру!

Они остановились перед двухэтажной деревянной гостиницей. На крыльцо вышел человек, весьма похожий на хозяина.

Николай Иванович лихо выпрыгнул из саней, показал глазами на корзину и властно сказал:

– Расплатитесь. За мой счёт.

Человек без оговорок заплатил запрашиваемую сумму, взял корзину и пошёл в дом. Николай Иванович последовал за ним.

– Только чтобы без клопов.

– Помилуйте. Они у нас как-то не приживаются.

Человек провел его в номер на втором этаже, где в печке-голландке приятно догорали угли. Кровать сверкала белоснежным бельём. Из мебели в маленьком номере были только стол, покрытый новой клеёнкой поверх скатерти, три стула, конторка, простой, как ящик, шкаф и громоздкий умывальник с мраморной доской.

– Самоварчик прикажете?

Весь дом пропах щами из квашеной капусты со свиной.

– Спасибо. Нет. Но я с удовольствием бы съел тарелку щей.

– Пожалуйста, в ресторан на первом этаже. Хотя, конечно же, у нас не ресторан, а скорее буфет с подачей горячих блюд.

Он съел даже две тарелки, похвалил блюдо, со значением бросив половому: «За мой счет», поднялся в номер, разделся, лег на постель и уснул мёртвым сном.

Проснувшись уже утром, он подумал о своём достаточно высоком петрозаводском статусе и спросил коридорного, где здесь

Старополицейская улица. Там жил секретарь Общества.

– Совсем рядом. Мы с Вами сейчас на Соборной. Так Вы немного поднимитесь вверх, а потом свернёте направо. Это и будет Старополицейская.

Было еще рано, и перед визитом к секретарю Николай Иванович решил прогуляться. Выйдя из гостиницы, прямо перед собой он увидел общественный сад, а налево (летом, наверное, там общественная пристань) часовню и каток прямо на льду озера, огороженный ажурной оградой. Похоже, что вход платный. Он пошёл в безлюдный тихий сад и удивился вычищенным дорожкам. На самом высоком месте стоял павильон-вокзал с узкими высокими окнами, забитыми ставнями. Над павильоном возвышался изящный бельведер. Николай Иванович нашёл щелочку между досками, приподнялся на цыпочки и заглянул в окно. Нет, это не театр. Скорее всего, зал для танцев. Пусто. И пол узорного паркета. Напротив главного входа на площади высоким длинным ящиком накрыт, наверное, какой-то памятник, а чуть поодаль сооружение типа закрытой беседки, тоже заколоченное досками, с кирпичной трубой на крыше. Странно. Хотя чего странного? Летом здесь, наверное, кухня для этого воксала. Тишину нарушил какой-то ритмичный шорох. Это сторож или дворник внизу метет дорожку у маленького домика в швейцарском стиле. Наверное, там и живет.

Сад приятно удивлял своей ухоженностью, фигурными решетчатыми изгородями; небольшими, очевидно недавно посаженными деревьями.

Из сада Николай Иванович снова вышел на Соборную и стал подниматься вверх. Вдруг его чуть ли не сбили с ног ехавшие вниз по улице на коньках двое мальчишек. Ребята, проехав мимо прохожего, резко затормозили.

– Тю, смотри, какой смешной дядька!

Николай Иванович не сразу сообразил, что эта фраза относится к нему, а сообразив, застыдился своего пальто и опорок и заперезживал, как он пойдет в таком виде к секретарю.

Он прошел мимо двух церквей, одна из которых, деревянная со шпилем, напомнила ему Петербург. Рядом была маленькая часовня. Выйдя на площадь, он сразу вспомнил Москву. Собор на площади был, похоже, один к одному с Храмом Христа Спасите-

ля. За рекой сверкали куполами еще два храма. «Какой боголюбивый город», – подумалось Николаю Ивановичу. По диагонали от собора вогнутой дугой распластались двухэтажные торговые ряды со множеством арок. «Как получу деньги, так сразу сюда. Прежде всего необходим гардероб». Перед торговыми рядами прямо напротив собора – одноэтажное, но, как это ни странно, не лишнее своеобразного шика здание, очень похожее на театр, клуб и все такое. Из труб весело вьется дымок. Рядом в небольшом садике эстрада с рядами скамеек. Из трубы небольшого домика, похожего на кухню, тоже клубится дым. Похоже, что именно здесь ему и служить. Захотелось зайти в дом: посмотреть, представиться. Да, поди-ка, кроме истопников там никого еще нет. Рано.

Он пошел по улице, застроенной с одной стороны одно- и двухэтажными очень приличными домами, а с другой стороны являющей из себя подобие бульвара на склоне длинного пригорка с гладкой площадью перед речкой, за которой высилась громада завода. В окнах самого большого корпуса временами вспыхивало огненное зарево и слышался железный ляг. Он пришел на круглую площадь с двумя полуциркульными то ли двух-, то ли трехэтажными зданиями, на торце правого из них тускло отливал позолотой двуглавый орел. Очевидно, здесь у них присутственные места. Странно, что дома с колоннами типа петербургских выкрашены в зеленый цвет, хотя, конечно, им больше пошел бы желтый, как и в столице. На крыльце одного из домов злобно щерились два чугунных льва. Он коснулся одного из них. В середине площади на изящном узком постаменте царь Петр со шпагой. Площадь кажется очень широкой. Вот бы им вместо этого Петра да Медного всадника. Сразу сузилась бы. А теперь по прошествии какого-то времени можно идти на Старополицейскую.

Секретарь встретил его приветливо и щедро, сразу же выдал двадцать пять рублей.

– Это вам за дорогу. А получать у нас вы будете пятьдесят рублей в месяц. Кроме того, мы оплачиваем вам полный пансион.

Николай Иванович растерянно и благодарно молчал. Он никогда не видел таких денег.

– Насчет пансиона, – продолжал секретарь, – я могу порекомендовать вам одну пожилую женщину-мещанку. Акулину

Петровну. Очень аккуратная хозяйка. У нее иногда живут прикомандированные из Петербурга на завод офицеры. Очень довольны. Вы дайте хозяйке денег, так она вам все что угодно приготовит. Кстати, где вы остановились?

– В «Палермо».

– У Шмидта. Акулина Петровна живет рядом. Там же, на Соборной. У нее маленький домик на три комнаты. Вход в одну из них отдельный. Я с ней уже говорил по поводу вас. Сейчас напишу ей записку. Только писать ей надо печатными буквами. Так что переселяйтесь. Завтра воскресенье, но может быть, вас примут их Превосходительства у себя дома. Я узнаю и сообщу.

Окрыленный и радостный, Николай Иванович двинул переселяться. Он рассчитался «за свой счет», взял корзину и пошел к Акулине Петровне. Хозяйка оказалась симпатичной пожилой, но моложавой женщиной в деревенском ситцевом цветастом сарафане, поверх которого была надета вязаная шерстяная кофта на городской манер. Он застал ее в комнате, большую часть которой, если не большую, занимала русская печь. Напротив среднего окна торцом к нему стоял стол, накрытый явно не праздничной скатертью. Какая-то еда была прикрыта другой скатеркой. В центре стола ярко сиял начищенный фигурный пузатый самовар. Шкафчики и полки были заполнены разнообразной чистой посудой. Было видно, что хозяйка ее очень любит. На печи и около преобладали горшки, чугуны, ухваты и сковородники. Изба сияла чистотой.

Николай Иванович поздоровался и протянул хозяйке записку.

– Вы мне лучше сами прочитайте.

Николай Иванович прочел, и хозяйка сказала:

-- Пойдемте. Я покажу вашу горницу.

Они вышли в сени, а из сеней в просторную чистую комнату с печью-голландкой, которая нагревала большую комнату, где собирался жить Николай Иванович, и меньшую, где жила хозяйка. Загапливалась печь в комнате Акулины Петровны.

– Вот ваша горница.

В комнате на три окна стояла кровать с высокой периной и горой подушек. (Перину надо попросить поменьше.) Напротив среднего окна стояли стол, несколько стульев; диван, на котором при желании тоже можно спать, несколько сундуков и большое

зеркало. На подоконнике были какие-то цветы, и на полу в кадках стояла пара фикусов. В углу икона Николы с зажженной лампадой. Николай Иванович подошел к иконе и перекрестился. Вход в хозяйкину горницу был заставлен старинным резным шкафом.

– Так что у вас, Николай Иванович, свой отдельный вход.

– Акулина Петровна, можно я дам вам определенную сумму на еду, и давайте, если это можно, вместе завтракать и обедать. А ужинать, наверное, я буду иногда в клубе, хотя я не любитель подобных ужинов.

– С удовольствием. На двоих и готовить веселее. Пойдемте пить чай. Наверное, вам удобно будет платить за месяц сразу. – Хозяйка назвала цену. Николай Иванович согласился.

– Пойдемте, пойдемте в фатеру¹.

Николай Иванович отдал деньги сразу и подумал, что надо было спросить у секретаря еще хотя бы 25 рублей на гардероб.

Они сели за стол. Акулина Петровна налила чаю в стакан с серебряным подстаканником и подала Николаю Ивановичу.

На столе стояли какой-то гигантский пирог и ватрушки. Мелко наколотый сахар горкой возвышался в голубой вазочке на высокой ножке. Акулина Петровна поставила пирог под самовар и довольно обильно полила верхнюю корку кипятком.

– Вчера утром еще запекла сига в рыбник.

Она ловко подрезала верхнюю корку, открыла пирог и начала угощать Николая Ивановича и рыбником, и разговорами:

– Муж мой два года назад умер. Мы из Заонежья оба. Давно уже в городе. Мещанами стали. А мой Петя все крестьянам, землякам помогал. Привезут рыбу, масло, грибы, ягоды, а зимой сено, так он гуртом покупал у них, а потом местные-то купцы у него уже покупали. Не особо богато, конечно, но хорошо жили. Да и сейчас грех жаловаться. Все время на постое кто-то. Николай Иванович, а вы ведь, по-моему, из простых будете?

Николай Иванович удивился хозяйкиной пронизательности и сказал:

– Да. Отец иконописец, а мама всю жизнь на машинке шьет. Особого достатка у нас никогда не было.

¹ «Фатера» (искаж. «квартира»). Так в конце XIX века крестьяне иногда называли избу с русской печью.

– Я что хочу сказать вам... – Акулина Петровна засмушалась и как-то оробела. – Можно я буду называть вас Колей?

Николай Иванович помолчал и, подумав несколько секунд, сказал: – Можно.

Наверное, от этого отношения станут только теплее. Дом – это так важно. Дом семьи Соболевых Николай Иванович если иногда и вспоминал, то без особой радости.

Перейдя в свою горницу, Николай Иванович с помощью Акулины Петровны избавился от лишней перины и стал разбирать свою немногочисленную одежду и маленькую библиотеку драматургии, решив перелистать «Горе от ума» Александра Грибоедова и «Чародейку» Ипполита Шпажинского.

Ужин был ранний. Чай и пироги.

Николай Иванович уснул с мыслью о дополнительных двадцати пяти рублях.

Наутро пришел секретарь и сказал, что, несмотря на воскресный день, Его Превосходительство начальник Олонецкой губернии Григорий Григорьевич Григорьев примет господина Соболевых у себя в домашнем кабинете с одиннадцати до двенадцати часов. Денег с собой у секретаря не оказалось, но пообещать он пообещал.

– Да, квартира Его Превосходительства в левом от вас доме, как попадете на Петровскую площадь. Вход в нее со стороны Английской улицы.

Позавтракав, Николай Иванович засобирался, переживая за свои опорки и пальтишко с зеленцой. Он надел свой старый фрачишко и, обув лаковые туфли, сунул их в опорки. Слава Богу, влезли. Нахлобучил шапку. И... с Богом.

Подойдя к площади, он свернул налево. Подойдя к закрытым воротам, он заметил на мощном столбе, чуть ли не вплотную примыкающем к углу дома, веревочку с надписью над ней «звоните», подергал за нее; где-то внизу звякнул колокольчик, из полуподвального помещения вышел сторож и, ничего не спросив, открыл узкую калитку.

Перед входом в дом была небольшая круглая площадка, где могли маневрировать повозки приезжающих и отъезжающих гостей. Невдалеке стояло длинное застекленное здание довольно старой оранжереи, некоторые стекла которой были грубо забиты до-

сками. Оранжерея являла полный контраст дому, создававшему впечатление новенького, как с иголки. Тем не менее она действовала. Над ее крышей из трубы поднимался дым. Недалеко от оранжереи стоял комплекс каких-то хозяйственных построек: каретный сарай, кухня, дровяной сарай и несколько совершенно непонятных построек. Неподалеку симпатичная девочка-подросток кормила двух серых пушистых белочек. Кормила по очереди, потому что белки почему-то, наверное, не дружили друг с другом. С девочкой они дружили, и, когда та опускала руку и шевелила пальцами, одна из белок быстро-быстро поднималась у нее по рукаву, добиралась до плеча и замирала на мгновение, красиво распушив хвост. Девочка что-то давала ей. Та убежала, и на смену ей прибежала другая. Николай Иванович подошел на несколько секунд поближе. Вдруг взгляд его упал на небольшую группу странных деревьев, которых он, кажется, никогда не видел.

– Это лиственницы. Они хвойные, но осенью сбрасывают свои иголки, – сказала девочка.

Николай Иванович улыбнулся и сразу засмушался перед красивой девочкой. Застеснялся своих опорок. Он подошел к крыльцу с изящно выкованным козырьком, в укромном месте скинул опорки и таким франтом взбежал в просторные сени – вестибюль со сводчатым потолком. Наверху широкой каменной лестницы, украшенной четырьмя мраморными вазами, стоял человек, которому он подал визитку.

– Его Превосходительство ожидает вас.

Человек показал налево, где находилась приемная губернатора. Через открытую дверь виднелся кабинет, который сразу же охватил теплом пылающего камина.

Пожилой губернатор (ну прямо старикашка) привстал с кресла и предложил поздоровавшемуся Соболевых сесть напротив. Наш герой отметил, что губернатор одет в полуфрак, но не однотонный, а клетчатый, под которым вместо галстука был повязан шейный фуляровый платок. Некий домашний шарм.

– Искренне рад вашему приезду, господин Соболевых-Самарин. Надеюсь, что наши любительские спектакли и драматическо-музыкальные вечера будут теперь лучшими в провинции. Как доехали? Устроились?

Заговорив, губернатор показался ему умным, мудрым и, главное, совсем не старым.

– Я ведь, если честно говорить, больше номинально, чисто юридически являюсь руководителем и покровителем Общества. Фактически же им занимается моя супруга Елизавета Владимировна. Она жаждет познакомиться с вами. А я желаю вам всяческих успехов.

На этом официальная аудиенция окончилась. Что ж, пойдем знакомиться с бабушкой. Поди-ка все нервы измотает.

Николай Иванович прошел через коридор, обратив внимание на две винтовые лестницы, очевидно, ведущие в покои и другие семейные апартаменты превосходительств, открыл дверь в кабинет губернаторши и несколько растерялся, слегка остолбенев.

Перед ним стояла светловолосая красавица с большими голубыми глазами, слегка полноватая, но с исключительно тонкой талией. С первого взгляда она казалась ему молоденькой девушкой, но, приблизившись, он понял, что даме уже за тридцать. На губернаторше было платье, стиль которого с некоторой натяжкой можно было назвать строгим. Приталенный жакет со строгим воротником и отворотами эффектно подчеркивал отличную фигуру, особенно в бедрах. Узкие рукава жакета завершались у запястий манжетами. На шее дамы был кружевной воротничок, застегнутый скромной брошью. Темная юбка заканчивалась небольшим шлейфом и была несколько подобрана с боков. Светлые волнистые волосы губернаторши были расчесаны на прямой пробор. С боков же волосы были собраны в стиле «сadogan» так, что были видны нежные ушки.

На ногах дамы красовались, как ни странно, какие-то немислимые восточные узорчатые туфли с загнутыми носами.

Нежнейшим сопрано губернаторша произнесла:

– Где же вы так долго были, дорогой Николай Иванович? Мы вас совсем заждались. Я представляла вас совсем-совсем другим... А можно называть вас...

Николай Иванович похолодел. Режиссера необходимо называть исключительно по имени-отчеству.

Губернаторша все поняла и мило рассмеялась:

– Да ладно. А меня не вздумайте называть превосходительством. Ненавижу. Для всех я Елизавета Владимировна.

Губернаторша жестом предложила ему сесть. Николай Иванович несколько замешкался, обратив внимание на икону, не виданную им никогда.

– Это моя покровительница Евфросинья Суздальская. Я ведь из Вязников. Это там, во Владимирской... Теперь о деле. Мы хотим, чтобы вы режиссировали спектакли нашего общества и, естественно, сами принимали в них участие. Главная наша постановка в будущем – «Горе от ума».

– Елизавета Владимировна, а кто у вас сейчас режиссирует?

– Наверное, все мы понемножку и я в частности, хотя, конечно же, никакой я не режиссер. Скорее всего, я антрепренер. Больше всего в жизни я люблю устраивать балы-маскарады. Особенно здесь, в нашем доме. Скоро Рождество. Так что готовьтесь.

К балам Николай Иванович относился как-то равнодушно, но если «Горе от ума» да он – Чацкий... За этим стоило ехать.

– Елизавета Владимировна, а сколько спектаклей в год вы ставите?

– Премьеры бывают каждый месяц. А в антрактах у нас играет оркестр горной музыки...

(Николай Иванович не стал спрашивать, что это за такая горная музыка. Скорее всего, оркестр, наверное, как-то связан с заводом.)

– ... и обязательно в конце одноактный водевиль, как и принято во всех театрах. У нас чудный суфлер. Просто блестящий. Тем не менее я заставляю артистов максимально знать текст роли.

– Согласен. «Горе от ума» не для суфлера. Текст надо знать наизусть.

– Я хочу предложить вам вот что. Мы понемногу репетируем «Горе от ума», месяца три-четыре, чтобы весной выпустить премьеру. Параллельно репетируем и ставим что-то менее серьезное. Несколько спектаклей за зиму. Ну, и вы, как тещ-декламатор, чем-то побалуете нас на вечерах.

– Я согласен.

В кабинет быстро вошла девочка из сада:

– Мама, я хочу тебя попросить...

– Вера, познакомься. Это Николай Иванович Соболищиков-Самарин. Он у нас теперь и актер, и режиссер.

Вера мило улыбнулась:

– А мы уже знакомы.

- Наш пострел везде поспел.
- Мама, я тоже хочу играть.
- Теперь это зависит от твоего нового знакомого.
- Николай Иванович, дайте мне роль. Пожалуйста. Ну хоть какую-нибудь. Ну хоть самую маленькую.
- Вера, я постараюсь для вас что-нибудь придумать.
- Спасибо.
- Вера убежала.
- Николай Иванович, завтра мы собираемся в Обществе в семь часов вечера и ждем вас. Была очень рада познакомиться.

И эта аудиенция закончена. Во всяком случае начало сулит много хорошего.

Уже дома перед сном у Николая Ивановича замелькали какие-то разрозненные, почему-то запечатлевшиеся детали губернаторских кабинетов.

Блеск золотых рельефных роз на почти черном фоне обоев у губернатора и розовом фоне у губернаторши. Память выхватывала из губернаторского кабинета: портрет Государа императора, писанный маслом, странную живопись картины со швейцарским пейзажем, стильную ореховую мебель, камеру-обскуру или камеру-клару на этажерке. (Николай Иванович не очень-то различал их, но соображал, нельзя ли применить их в каком-нибудь спектакле.) Стол в кабинете был настоящий губернаторский, под зеленым сукном. На нем громоздился толстенный том законов Российской империи и стояла пара серебряных печатей с костяными ручками. Здесь же были бронзовый канделябр на пять свечей и керосиновая лампа с пузатым матовым стеклом и резервуаром, вставленным в литую медную чашу с рельефными тюльпанами.

Кабинет же губернаторши являл нечто среднее между истинным деловым кабинетом и восточным будуаром. Дубовый книжный шкаф; стол, заваленный книгами, старинный комод на гнутых ножках, такого же типа секретер... И старинное восточное роскошество: огромный персидский ковер со всадниками на изящных конях, похожих на сказочных птиц; по периметру ковра – крупные квадраты-клейма с большими цветами; узкогорлые кувшины, кальяны, круглые кованые щиты, ковры попроще и огромные подушки-пуфы самых ярких расцветок.

Все эти дневные впечатления перемешались в голове Николая Ива-

новича в необыкновенный сказочный интерьер, и он крепко уснул.

Назавтра начались репетиции «Горя». В зал Общества он пришел заранее. Зал его вполне устроил. Уютный. Обитые синим бархатом кресла, бельэтаж с ложами и балкон-галерка. Освещение – керосиновые лампы, которыми постоянно занимаются два ламповщика. Вот и сейчас они в огромном тазу моют стекла и протирают их, используя мыло, газеты и тряпки. Из реквизита он отметил костюмы в старинном русском стиле с настоящим, похоже, жемчугом и ряд щитов с блестящей жемчужной отделкой: тут тебе и отражатели, и «гром небесный». «Зорек», цветных кисейных занавесей для восходов и закатов, тоже достаточно. Ровно к семи подтянулись любители. Елизавета Владимировна представила нового режиссера. Николай Иванович произнес краткую тронную речь, и репетиция началась. Он тщательно напрягал свою память, пытался вспомнить какую-нибудь «казенную» постановку «Горя», но ничего не получалось. Значит, спектакль будет первой его режиссерской работой. Зато любители каких только «Горь» не повидали в своей жизни. Уже на следующей репетиции во втором акте, когда Софья падает в обморок, режиссер говорит ей:

– Падайте, падайте.

– А куда?

– Прямо на ковер... Ах...

Актриса падает. И тут все дело испортил Карнович, какая-то проштрафившаяся шишка из Москвы.

– Позвольте, это не так. Я не раз видел «Горе» в Малом театре, так там Софья падает прямо в кресло.

Авторитет режиссера должен быть непоколебим, и он обрезал:

– Да, я видел спектакль Малого театра, но у нас в Петербурге сейчас Софья падает на пол.

Елизавета Владимировна поддержала режиссера:

– Конечно же, оставьте, пожалуйста, по-новому, по-петербургски.

Дальше – больше. Когда начал репетировать третий акт, раздался голос губернаторши:

– Николай Иванович, а разве здесь не будет докладов?

Полное недоумение.

– Каких докладов, ва-ва-ше Превосходительство?

- Сколько раз можно говорить!.. Елизавета Владимировна.
- Каких докладов, Елизавета Владимировна?
- Вы когда-нибудь бывали на балах? Да, скоро у нас в этом зале бал-маскарад, и я приглашаю вас лично. Так вот. На балу (я имею в виду маскарадный бал) всегда докладывают о прибывших гостях.
- Но позвольте. Нельзя ломать классический стих Грибоедова какими-то докладами без размера и рифмы.
- А по-моему, так Александр Сергеевич здесь чуть-чуть недоумал.

Вот здесь бы господину Карновичу и поддержать Николая Ивановича. Но тот упорно молчал. В пьесе появился совершенно дикий персонаж – почетный слуга в ливрее. Этот идиот выходил на сцену и докладывал: «Князь Тугоуховский с супругой», «Госпожа Горич». Николай Иванович надеялся, что к премьере он этого ливрейного вымарает.

Из всех участниц спектакля ему больше всех приглянулась молчаливая улыбка исполнительница роли служанки Лизы – Елизавета Николаевна Потапова. Лиза.

Вскоре репетиции пришлось временно отложить, так как Общество готовилось отметить десятилетие своего существования. Начали готовиться к большому вечеру. Решили поставить первую и третью сцены из «Русалки». Николай Иванович, конечно же, стал Князем. Перед концертом, после которого были танцы до упаду под оркестр той самой горной музыки, Николаю Ивановичу пришлось поскучать на торжественном собрании по поводу юбилея. Доклад, прочитанный директором драматического отдела Общества, был огромен и скучен. Хвалили в основном, наверное справедливо, руководителя музыкальной части покойного К. А. Михайлова, который сам лично переписывал все партитуры. Наверное, он был хороший композитор. Во всяком случае несколько позже Николай Иванович станцевал несколько вальсов с Лизой Потаповой под его мелодичную музыку. О драматическом отделе Общества говорилось как-то странно: мол, и народу там не так-то уж много, и лица одни и те же, и все такое. Но ведь отдел поставил за десять лет восемьдесят восемь вечеров! Поставили всего Островского! Больше всего удивило, что не в меру много добрых слов было сказано в

адрес губернатора. Елизавету Владимировну упомянули всего лишь раз. Соболевиков воспринял это как личную обиду и потихоньку вышел из зала.

Зато вечером в роли князя он, кажется, понравился петрозаводчанам. Сидящий в ложе здоровенный полицмейстер аж ладоши себе отбил.

Назавтра Николай Иванович решил пойти в гостиный и если не купить себе кое-что из гардероба, то как минимум присмотреть.

Нравы гостиного несколько удивили нашего героя. Чуть ли не в каждой лавке заседал своеобразный клуб, т. е. в лавках, похоже, находились не покупатели, а посетители. Одна из лавок пропахла каким-то кисло-овчинным крестьянским духом; покупатели, очевидно приехавшие из деревень на сенной рынок, похоже, обсуждали свои деревенские дела, и где здесь продавец, понять было невозможно. В другой лавке степенно с большими паузами объяснялись друг с другом на непонятном языке вроде такие же мужики. А в самой шумной лавке была, наверное, сходка горячих вольнолюбивых поляков. На втором этаже чиновничество обсуждало свои конторские проблемы. Как понял Николай Иванович, было много обиженных. Одна лавка была битком набита мещанками. Николай Иванович сразу выскочил оттуда, не желая встретить здесь Акулину Петровну. В коридоре-галерее ему встретился богатырского сложения полицмейстер с саблей на боку. Богатырь взял под козырек.

– Рад с вами познакомиться, господин Соболевиков. Надворный советник, здешний полицмейстер Егор Харламович Одинцов к вашим услугам. Вчера видел вас в роли князя. Великолепно!

– Спасибо. И я рад знакомству.

Рад-то, конечно, он рад, но какое-то подспудное чувство внушало ему тревогу и неясные темные полузабытые, а то и полностью забытые воспоминания о чем-то страшном, непонятно о чем, хотя он был и есть законопослушный гражданин и никогда не нарушал, да и не собирается нарушать, законы Российской империи. Но как бы то ни было, такое знакомство пойдет только на пользу.

– Я ведь не только по долгу службы бываю на всех вечерах и спектаклях. Всегда переживаю и радуюсь от всей души. Вот что я вам скажу. Успех вашего дела в нашем городе заранее предо-

пределен.

– Почему вы так считаете, Егор Харламович?

– Да потому, что в нашем Обществе состоит большинство ссыльных важных персон из столицы. Там они малость проворовались и попали к нам. Скажу по секрету... Только вы никому не говорите... Губернатор относится к ним весьма благосклонно и устраивает их на теплые местечки... Только чтобы никому ни... И попробуй такой проворовавшийся отказаться от роли или опоздать на репетиции, если расписание подписано Ее Превосходительством. А если опоздал, отказался, тут уже возникает я: «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!» И на пугундер его!

Он мощно захохотал, да так, что сабля на его боку начала болтаться туда-сюда, туда-сюда.

– Кроме того, ваши вечера чаще всего имеют благотворительную цель. А где у нас самые богатые обыватели? Здесь в гостинном сидят. Толстопузые.

Он достал из-за пазухи пачку билетов.

– Плевать им на любое искусство. Они не пойдут на ваши спектакли, но билетки из наших рук они купят. Как миленькие. Самые дорогие билетки. А зал у вас все равно всегда будет полон.

Он остановил проходившего мимо станового.

– Господин пристав. Будьте любезны. Вот вам пачка билетов для гостинодворцев на музыкально-драматический вечер. Деньги потом отдадите мне лично.

– Слушаюсь.

Пристав удалился в ближайшую лавку.

– Так что желаю вам всяческих успехов. Мало того. Верю в них. Да, а вы случайно медвежьей охотой не увлекаетесь?

Для Николая Ивановича не было, пожалуй, ничего дальше медвежьей охоты.

– Нет. Никогда не приходилось.

– Очень жаль. Ничего интереснее и быть не может. В Лодейном Поле я организовывал подобные охоты для Великих князей. Здесь тоже не забываю. Я еще и пишу об этом в «Олонецких губернских ведомостях». Почитайте. Прошлый год даже премию получил пятьдесят рублей за свои писания. Совесть мне подсказала: отдай деньги в Николаевский приют. Что я и сделал. А то сию на всех спектаклях и вечерах бесплатно. Искренне наслаж-

даюсь искусством. Так что если вы, господин Соболищиков, желаете пойти со мной на медведя, буду рад. Пара берлог у меня уже присмотрена. Рад был познакомиться. Надеюсь, что будем друзьями. Честь имею кланяться.

Русский полицейский богатырь щелкнул каблуками, козырнул и пошел дальше. Разговор оставил двойственное чувство: необходимости знакомства и одновременно держаться от нового друга подальше. Могучий облик нового знакомца навевал непонятное ощущение близкой тревоги.

Николай Иванович с удовольствием начал пополнять свой скудный гардероб. В гостинном он приобрел несколько смен хорошего белья, брюки, жилет, рубашку, валенки и сборный костюм «ляриус»: косоворотку, пояс с кистями, брюки в полоску и русские сапоги. Со следующих денег гардероб не мешает и дополнить.

Вечером репетиций не было, и перед тем как зажечь лампу в наступивших сумерках, он подошел к окну, чтобы задернуть занавеску. По другой стороне улицы в сторону катка шла стройная, слегка полноватая дама в платье с турнюром. Сильно приталенный жакет был удлинен спереди и приподнят сзади над турнюром. Подол длинной юбки, рукава и воротничок были отделаны мехом. На голове дамы была шляпка-котелок с высокой тульей. Рядом с дамой вышагивал видный кавалер.

Николай Иванович быстро задернул занавеску и стал тайно из-за нее наблюдать за парочкой.

Кавалер был тоже хорош. В прямом пиджаке до бедер с закрытым круглым воротником, в бриджах и гольфах. На голове у него была маленькая шапочка. Парочка словно сошла со страниц модного петербургского журнала.

Прямо напротив его занавешенного окна пара остановилась на несколько секунд, и дама начала что-то доказывать мужчине...

Мало того что наш герой на медведя не ходил, так он еще и на коньки ни разу не вставал.

Сразу стало томительно-грустно, и он лег на кровать с книжкой рассказов молодого писателя Чехова.

На носу были рождественские балы-маскарады, и надо было думать, в каком виде появиться на юбилейном балу в зале Общества.

Прямо перед балом-маскарадом Николай Иванович надел

фрак, повязал голову черной косынкой, прикрепил к правому уху большую медную серьгу, приклеил препротивные усики, встал перед зеркалом и сделал несколько движений под парижского апаша из виденной еще в Петербурге оперетки. Сам себе он понравился. Надел черную маску и пошел на бал.

Убранство зала сияло великолепием. Ряды кресел были вынесены, но никакой пустоты не чувствовалось. Во всех четырех углах зала красовались киоски, обставленные деревьями и кустами из реквизита, драпированные разноцветными тканями, шнурами и кистями. Направо от входа киоск был занят различной мелочью, начиная от ручки для пера, фарфоровыми безделушками и кончая золотыми и серебряными вещами. Левый киоск предлагал конфеты и шампанское, бутылки которого стояли в серебряных ведерках со льдом. Третий киоск слева предлагал фрукты: яблоки, груши, виноград, апельсины и засахаренные экзотические ягоды. В четвертом киоске был лимонад. Два последних киоска соединяла цепь живых ёлок, поставленных около самой рампы. Ёлки были подобраны так, что крайние были по высоте киосков, а к середине постепенно понижались, образуя дугу, так, чтобы на сцене был виден шаловливый амур с луком, время от времени делающий достаточно приятные для глаза танцевальные па. В киосках сидели самые красивые петрозаводские то ли дамы, то ли барышни в масках. Оркестр на балконе был не виден.

Только что начался полонез. Николай Иванович увидел Лизу Потапову в костюме Коломбины, и они пошли последней парой. Лиза, как всегда, улыбалась, и Николай Иванович не мог понять, узнала она его или нет. Хотя, как ему показалось, узнать его было совсем не трудно.

Удивило то, что полонез начинал вице-губернатор с супругой, а не губернатор с Елизаветой Владимировной.

После танца Николай Иванович оказался возле киоска с шампанским и обратил внимание на то, что к красивой даме с глубоким декольте, сидящей в киоске, пристаёт с просьбами о свидании уже подвыпивший чиновник:

– Где же мы с вами встретимся, дорогая? Может, в гостином? А то, может, на катке?

– Ах, оставьте ваши глупости, – кокетливо говорила дама.

– Какие же это глупости! Я вполне серьёзно.

– И я вполне серьёзно, – рассердилась дама, приподняв маску.
– Ва-ва-ваше Превосходительство, простите меня ради Христа. Не погубите.

– Захочу, погублю, – мефистофельским баском проговорила губернаторша, весело подмигнула Николаю Ивановичу и снова надвинула маску.

– Немедленно домой и спать до утра, – прозвучал приказ незадачливому кавалеру.

«Вот он сейчас придёт домой, ляжет на диван и померёт», – подумалось Николаю Ивановичу. Не помер. Наутро его помятую серую физиономию Соболящиков увидел на Садовой. Физиономия спускалась в ренсковый погреб.

– Шампанского? – обратилась к Николаю Ивановичу сиделица. Он, вспомня свой первый не совсем удачный опыт, сказал:

– Спасибо. Нет. Лучше лимонаду.

– Не держим. Но лично для вас ничего не жалко. Сама готовила.

Елизавета Владимировна достала из-под прилавка хрустальный графин с притёртой пробкой и угостила Николая Ивановича шипучим напитком. Он поблагодарил и всё внимание теперь обратил на маскарад, который являл калейдоскоп «... одежда и лиц, племён, народов, состояний». Петрозаводчанки были весьма разнообразны и очаровательны. Вокруг него кружились: роскошная мавританка, строго выдержанная фламандка, египтянка с классическим ибисом на голове; цыганка, всё норовящая погадать, меланхоличная эльзаска, тиролька, польская крестьянка, древние гречанки и римлянки. Здесь были все четыре времени года, из которых выделялась юная грациозная весна. А вот целый цветник – застенчивый ландыш, яркий пунцовый мак, желтый подсолнух, скромная незабудка. По залу носится восхитительный чертёнок с трезубцем, а загадочный эльф хочет остановить его своей волшебной палочкой.

Маскированных мужчин были почему-то единицы. Некоторые довольствовались масками... Николай Иванович заметил римского воина, матроса и двух мужиков в лаптях, картинно споривших о чём-то.

Хороша была Вера Григорьевна в костюме римской девушки. На некоторых дамах были мужские военные костюмы. Во время танцев эти дамы поручали кавалерам свои доспехи, и те расхажи-

вали по залу с ружьями, копьями и саблями.

Николай Иванович обратил внимание, что киоск с шампанским неожиданно опустел. Через несколько минут губернаторша появилась тоже в костюме «милитер». На голове у нее был металлический шлем. В ушах и на висках – фигурные подвески. Длинное меховое платье в талию было подпоясано серебряным поясом, на котором висел холодно поблескивающий меч. Бал встретил её аплодисментами. Губернаторша станцевала пару танцев с римским воином. Меч охраняла Вера.

Танцы продолжались далеко за полночь. Николай Иванович провожал Лизу Потапову. Они шли молча, Лиза иногда улыбалась ему, а он думал о своём и, кажется, несколько холодно простился с девушкой.

Через несколько дней перед репетицией, когда в зале была только Елизавета Владимировна, он осмелился спросить её, что за великолепный костюм был на ней в тот вечер.

– Знаете ли, Николай Иванович, я очень люблю Аполлона.

– Все женщины его любят, – изрёк режиссер.

– Я имею в виду Аполлона Майкова. Он сейчас написал поэму «Бальдур» по сказаниям Скандинавской Эдды. Мой костюм представлял воинственную деву – валькирию. Меня очень заинтересовал скандинавский эпос.

– Спасибо. Я не читал этой поэмы, но Аполлона Майкова люблю тоже. Помните?

*В телеге еду по холмам.
Порой для взора нет границ.
И всё поля по сторонам,
И над полями стаи птиц.*

– Еще бы! Это его «Поля»!

И она продолжила:

*Я еду день, я еду два,
И всё поля кругом, поля!
Мелькнёт жильё, мелькнёт едва,
А там поля, опять поля.
Та-та-та-та-та...*

– Дальше, к сожалению, не помню.

– А финал-то, финал какой, – встрепенулся Николай Иванович.

Чего? Он начал было вслух...

*Да вдруг как кудрями встряхнёт,
Да вдруг как свистнет во весь дух –
И тройка ринулась вперёд.*

Неслись... «Куда ж те дьявол мчит!» –

Вдруг сорвалось у старика.

А тот летит – лишь вдаль глядит,

Вперед – в пространство без конца!

А даль-то, даль – как широка!

Зачарованная Елизавета Владимировна захлопала в ладоши:

– Вам обязательно надо читать это с эстрады.

– Наверное, буду, но через несколько лет.

Елизавета Владимировна, очевидно, хотела спросить: «почему», но осеклась и переключилась на приятные воспоминания:

– Мы, когда поженились с Григорием Григорьевичем, поехали в Москву и пошли в Артистический кружок на вечер, а там оказался артист Павел Никитин, которого все хором и упростили читать «Поля».

– Мне рассказывали, что он делал это блестяще.

– Да, дорогой Николай Иванович, это память у меня на всю жизнь. Я вас очень прошу и очень хочу, чтобы вы читали «Поля» с эстрады.

– Обещаю вам, Елизавета Владимировна.

После рождественских балов пошли репетиции какой-то сплошной театральной подённости. «Горе от ума» снова было заброшено. Через много-много лет Собольщиков-Самарин с большим трудом вспоминал, что же он ставил и играл в ту памятную петрозаводскую зиму. Смутно вспоминались: «Лакомый кусочек» В. Александрова, «Кручина» И. Шпажинского (здесь он блеснул в роли Недыхляева), «Ночное» М. Стаховича, «Жених из долгового отделения» Н. Чернышева и его же «В цветах». Всё это было поставлено и сыграно за каких-то три-четыре месяца. Честно говоря, он иногда размышлял о том, кто из них лучше: он, всё это поставивший и сыгравший, или, и правда, великолепный

суфлёр, которому в пору бенефисы устраивать.

Николай Иванович слегка заскучал, пока в один прекрасный день или вечер кто-то из любителей предложил поставить «Чародейку» И. Шпажинского. «По всей России идёт. А мы что, рыжие?» Подумав хорошенько и прикинув знакомую пьесу на труппу, наш режиссёр согласился, хотя душа постоянно болела за Чацкого. Впрочем, и в «Чародейке» он может прекрасно играть хоть князя, хоть княжича. Пожалуй, княжича даже лучше.

Начались репетиции. Были заказаны шикарные декорации: живописный задник, изображающий излучину Волги и Оки, княжеские хоромы и постоялый двор в русском стиле с тонким резным узором, а костюмы шились такие, что роскошнее не придумать. Репетиции шли более-менее успешно. Лиза Потапова играла одну из подружек Кумы.

Всё было бы ничего, но исполнительница роли княгини своей статью, женским благородством и обаянием несколько затмевала фигуру Кумы. Следовательно, получалось, что княгиня вершит правый суд, отравив злую разлучницу, влюбившую в себя не только князя, но и княжича Юрия. А если это так, то и говорить не о чём. Зритель единодушно осудит Чародейку (так ей, паршивке, и надо!) и всей душой встанет на сторону княгини. Получается полная бессмыслица. И это несмотря на прекраснейшие декорации и... скажем так... правильную, вроде бы логичную игру актёров. Суфлёр, как всегда, бесподобен. Его слышит только тот, кому он посылает реплики. Елизавета Владимировна сидела на всех репетициях молча и беспрекословно выполняла просьбы Николая Ивановича, касающиеся оформления, говоря, что здесь мы должны показать всю роскошь старинной Руси и денег на такой спектакль не надо жалеть. Николай Иванович, конечно же, соглашался с губернаторшей, но всё больше и больше задумывался о смысле будущего действия. До спектакля оставалось всего четыре дня, а настроение было аховое.

Однажды, когда режиссёр с губернаторшей были в зале одни, она вдруг достаточно небрежно и смело заявила:

– Мне хочется попытаться создать что-нибудь оригинальное, что заинтересует наше общество. Я уже подготовила и разучила роль Кумы.

Николай Иванович похолодел. Намечается полный провал.

– Елизавета Владимировна, вы когда-нибудь выходили на сцену?

– Никогда в жизни... Ну и что? Завтра здесь, в театре, я проведу вам всю роль, и вы откровенно выскажете своё мнение. Я не могу проложить. Вы понимаете – супруга губернатора не может играть плохо. Я не хочу быть посмешищем.

Посмешищем она не хочет быть! А играть хочет. Первый раз в жизни. Гастроль её Превосходительства! Да, его положение незавидное. Тем более, что завтра при любой ситуации придётся высказывать своё мнение.

Дома он всю ночь проворочался, но так и не мог уснуть.

Назавтра к 11 часам он пришёл в театр. Губернаторша уже ожидала его. Она закрыла шторы на окнах, вежливо удалила из зала ламповщиков, проверила все двери и закрыла их на крючки.

– Начнем, пожалуй, – многообещающе пропела губернаторша. Она вышла на сцену и заговорила. Роль она знала назубок, и никакой суфлёр ей был не нужен.

– Елизавета Владимировна, а мизансцены вы помните? Давайте всё сначала. И в движении.

Движения Чародейки оказались плавными, спокойными, уверенными и полными женского обаяния и прелести. Гибкий, мелодичный, сочный голос был согрет ярким темпераментом. Николай Иванович читал за всех остальных персонажей и с радостным удивлением постепенно понимал, что рядом с ним играет настоящая, законченная, большая актриса. В конце репетиции он заплодировал.

– Аплодисменты в ваш адрес. Успех вам гарантирован.

Елизавета Владимировна тоже захлопала в ладоши:

– А эти аплодисменты в вашу честь, дорогой Николай Иванович.

– Елизавета Владимировна, завтра репетируем всем составом, а послезавтра генеральная.

Назавтра героиня уже не произвела столь ошеломляющего впечатления на режиссёра. Николаю Ивановичу показалось, что она несколько искусственно сдерживает себя. После репетиции он спросил об этом Елизавету Владимировну. Она подтвердила его догадки и пообещала не сдерживаться на спектакле, а играть на полную. На генеральной темперамента оказалось побольше. Перед спектаклем он спал спокойно. Назавтра днём он подошёл к театру. У подъезда была лошадь, запряжённая в дровни. Пара рабочих что-то выгружала из них. За выгрузкой наблюдала губернаторша. Николай Иванович присмотрелся. Удивлению его

не было предела. Грузчики таскали в театр обстановку кабинета губернаторши: все эти ковры, пуфы, кальяны, щиты и сабли.

– Елизавета Владимировна, что это? Вы переселяетесь?

– Ничего подобного. Так будет обставлена изба Кумы.

– Но позвольте... – он достал из-за пазухи экземпляр пьесы. – Давайте вспомним первые ремарки. «Постоялый двор. Сенями строение разделено на две половины: собственно избу с косячатыми окнами и клеть с волоковыми окошками, почти под крышей. Тесовая кровля очень крута. В ней, над избою, деревянная дымница и посредине выводное окно, освещающее чердак! Гребень крыши резной с маковицами по краям. Свес её украшен подзорами». Где вы разместите этот свой гарем?

– Не кипятитесь, дорогой Николай Иванович, и послушайте меня. Как, по-вашему, Кума богатая или бедная женщина?

– Не бедная.

– Значит, богатая. Она владеет постоялым двором. Здесь останавливаются богатые купцы, которые едут из Персии, Индии, Бухары и других восточных стран. Она любит всё восточное, как и я. Она в состоянии купить какие-то дорогие вещи. Да ведь ей к тому же наверное кто-то что-то дарит. А теперь я вас спрошу: почему же у неё не может быть такой обстановки?

Да, в логике ей не откажешь, придется смириться.

– Хорошо. Постараюсь вжиться в вашу обстановку.

– Вживайтесь.

На этом разговор окончился.

Вечером театр был переполнен. Зрители шушукались о том, что роль Кумы сегодня будет играть сама Елизавета Владимировна и что решилось это буквально на днях. Русский полицейский богатырь сидел на своём месте и дружелюбно раскланивался со знакомыми. Ламповщики прикрутили фитили в рампах зрительного зала, и открылся занавес. Эффектно освещённая излучина Волги и Оки сразу же вызвала аплодисменты. Николай Иванович не мог принять гаремную обстановку избы Чародейки, но зрители, кажется, ничего против неё не имели. Первая сцена с купцами прошла достаточно вяло. Но вот в зале снова раздались аплодисменты. Это со своими подружками под «Вниз по Волге-реке с Нижняя Новгорода» вышла Кума. Яркая, красивая, обольстительная, приковывающая внимание исключительно к себе. Все

остальные исполнители сначала вроде бы ступевались, но потом подтянулись, стали играть раскованнее, интереснее, и, самое главное, прямо на глазах стал рождаться ансамбль, центром которого, казалось, без всякого труда становилась Елизавета Владимировна. Кума собирала и облагораживала всё происходящее на сцене.

Николай Иванович с волнением ждал своей сцены с Кумой. До этого ещё надо было достойно провести сцену в хоромах с князем и княгиней. Провёл. И вот их совместная сцена. Финал ее остался у Соболяшкова-Самарина на всю жизнь и временами вспыхивал в памяти яркими зарницами. Она по-настоящему любила его в те минуты. То, что делала на сцене Елизавета Владимировна, нельзя было играть. Это надо было переживать взаправду. Что она и делала.

Юрий:

*Когда, как вешний снег от солнца тает,
Мой гнев прошел от ласковых речей...*

Кума:

Ну, молви ж, милый. Сердце на слуху.

Юрий:

*И душу охватила мне любовь,
Как вихрь налетный.*

Кума:

Ах!.. С ума сойду.

Юрий:

*Тогда уйти я ринулся скорее,
Чтоб чар твоих, колдунья, убежать...*

Кума (жарко обнимает его):

Мой свет! Желанный!

Юрий (сжимает ее в объятиях):

*Правду говорили:
Призарила волшебница Кума!
Смела, что к небу ввысь полет орлиный,
Что песня соловьиная нежна...
И с нею все, себя и всех забудешь!*

Кума:

*Голубчик мой! Теперь хоть умереть,
В твои люблюсь ласковые очи...*

У ног твоих, целуя их следы...

Ты жизнь моя, мой свет! Желанный, милый!

Елизавета Владимировна медленно опустилась на колени и страстно обняла ноги княжича. Николай Иванович почувствовал в эту минуту, что он жить не может без этой женщины, талантливой актрисы, с которой ему хочется, как минимум, играть на сцене всю жизнь. Человек у занавеса не торопился его закрывать, и у многих навсегда осталась в памяти «живая картина»: Кума на коленях перед княжичем Юрием. Наконец дали занавес. Николай Иванович подал руку Елизавете Владимировне, помогая подняться. Зал бушевал аплодисментами. Елизавета Владимировна благодарно и ласково посмотрела в глаза Николаю Ивановичу, сказала «спасибо» и быстро ушла за кулисы. А статная, гордая, добропорядочная княгиня выглядела на сцене по сравнению с Кумой жалкой приживалкой. Это, конечно, лучше, чем было бы наоборот, но всё-таки... всё-таки. Посмотрим, как зрители примут финал.

Начался антракт, в котором грянул оркестр горной музыки, который стал ещё больше нравиться Николаю Ивановичу. Он хотел сказать несколько слов участникам спектакля, но потом раздумал. Зачем? Он заперся у себя в уборной и слушал вальсы до второго звонка. В последнем акте, когда отравленная княгиней Чародейка умерла, в зале начались всхлипывания. Николай Иванович впервые ощутил себя настоящим победителем, хотя по поводу самого себя некоторые сомнения всё-таки испытывал. Его успех – это прежде всего успех Елизаветы Владимировны. Если бы Куму играла та, что репетировала, то было чёрт знает что. А в подружках Кумы её самое место.

Выйдя на поклон, он обратил внимание на ложу полицмейстера. Тот бурно аплодировал. Наверное, все ладони себе отбил. Одинцов негромко говорил:

– Браво. Браво. Браво.

Но это его «браво» слышал весь зал. И вновь в душе Николая Ивановича забурили самые что ни на есть противоречивые чувства: огромная радость от успеха «Чародейки» и смутное ощущение опасности, исходящее от восторженно-го зрителя в полицейском мундире, зрителя, которого он как будто бы уже видел не в самые лучшие минуты жизни. При-

зрачный страх вновь посетил его сознание.

После спектакля, когда участники радовались успеху и поздравляли друг друга, в основном, конечно, Елизавету Владимировну, за кулисы зашёл губернатор, поздравил всех, а Елизавете Владимировне поцеловал ручку:

– Восхищен многогранностью ваших талантов, дорогая Елизавета Владимировна.

Банкет на завтра. После второго спектакля.

Придя домой, Николай Иванович сразу лёг спать, но почти всю ночь проворочался и уснул только под утро.

Наутро к нему явился посыльный от Елизаветы Владимировны и сказал, что Её Превосходительство просит режиссёра порепетировать с ней сегодня днём ещё раз перед вторым спектаклем.

Удивлению Николая Ивановича не было предела. Вчера был подлинный триумф. Но показывать своё удивление было не перед кем.

– Их Превосходительство уже в Обществе.

– Хорошо. Передайте Елизавете Владимировне, что сейчас буду.

И зачем ей какая-то репетиция после столь блестящего успеха?

– Коля, что на обед приготовить? – засуетилась Акулина Петровна.

– Полностью полагаюсь на ваш прекрасный гастрономический вкус.

– Тогда я принесу из кладовки пару куропаточек, ещё на Афанасьевской у меня были куплены, ошпилю их, и, как печка протопится, поставлю тушиться в жаровне. Любишь куропаточек?

Николай Иванович любил куропаток. Но только с виду. Таких белых, пушистых, нежных.

– Даже не знаю. Никогда не ел.

– Значит, полюбишь. И что вы там в этом Питере едите?

Николай Иванович поспешил в театр. Он был переполнен счастьем. Елизавета Владимировна была вчера неподражаема, несмотря на весь этот дурацкий гарем. Вот что значит настоящее искусство. И пьеса-то – с Островским не сравнишь, и он-то как режиссёр мог бы сделать значительно больше, а поди ж ты.

Елизавета Владимировна была в одном из своих повседневных платьев строгого стиля, но тем не менее в какой-то сверхлегко-

мысленной шляпе из реквизита. Она ходила по сцене, словно прогуливаясь. На лице её Николай Иванович скорее не увидел, а интуитивно ощутил бурю чувств, которые вот-вот выплеснутся наружу и потопят его в пучине вод моря житейского.

У него не было сомнения, что после такого грандиозного успеха она должна связать свою жизнь с театром. Такой талант нельзя зарывать в землю. Но как ей сказать об этом. Лучше вообще не говорить. А поздравить он её вчера поздравил.

– Здравствуйте, Елизавета Владимировна, я ещё раз поздравляю вас со вчерашним огромным успехом. Вы настоящая актриса, и ваш огромный талант позволяет вам...

Он почувствовал, что его понесло и лепечет он явную чушь. Сказать надо что-то другое, но, как и что...

– Николай Иванович, миленький, прошу вас... не надо.

Она подошла к нему и нежной ладонью в почти невидимой благоухающей дорогими духами перчатке, почти не прикасаясь, словно закрыла ему рот. Елизавета Владимировна выдержала преприятнейшую паузу и произнесла.

– Давайте лучше я скажу.

Слегка прибавив басовитых нот в своё нежнейшее сопрано, она начала:

– Кто здесь откликнется на твоё богатое чувство? Кто оценит эти перлы, эти брильянты слёз? А там... О! Если половину этих сокровищ ты бросишь публике, театр развалится от рукоплесканий. Тебя засыплют цветами, подарками. Здесь на твои рыдания, на твои стоны нет ответа. А там за одну слезу твою заплачут тысячи глаз. Посмотри на меня. Я нищий, жалкий бродяга, а на сцене я принц...

Рука Елизаветы Владимировны нежно шевелила пальчиками в каком-то миллиметре от его губ, и он ни жив ни мёртв слушал монолог, который сам скоро будет произносить десятки раз, думая, что со стороны, наверное, смешно, как она пародирует его, будущего. Похолодев от волнения, он не мог и предположить, чем же это для него кончится. (Какая же память у неё!)

– ... живу его жизнью, мучаюсь его думами, плачу его слезами над бедной Офелией и люблю её, как сорок тысяч братьев любить не могут. А ты! Ты молода, прекрасна, у тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движениях. Ты выйдешь на сцену королевой и

сойдётся с ней королевой. В эту ночь я посвящаю тебя в актрисы...

Елизавета Владимировна отняла свою приторно пахнущую духами ручку от лица Николая Ивановича и произнесла:

– Мне кажется, я освободила вас от монолога, посвященного мне. Я очень благодарна вам как режиссёру. Поверьте, я не спала всю ночь. И не потому, что познала успех, ваш успех. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду: успех, которого, казалось бы, мне никогда не будет дано почувствовать самой судьбой... К тому же я не столь молода и прекрасна, как хотел сказать вашими устами господин Несчастливцев... Возможно, хотел сказать...

Николай Иванович дёрнулся, чтобы опровергнуть явную несправедливость Елизаветы Владимировны по отношению к себе самой, но губернаторша топнула ножкой (он успел заметить, что она переобулась в башмачки Чародейки) и продолжала:

– У каждого своя судьба, и меня она вполне устраивает. Голодное бродяжничество не для меня. Серебряные портсигары по подписке с дикими воплями в буфете и вееры из ассигнаций после бенефиса – тем более.

– Но ведь есть же Императорские театры...

– Я хотела стать женой губернатора и стала ею, причём в очень молодые годы... Я попрошу вас никогда и нигде не возобновлять разговор на эту тему.

Елизавета Владимировна подошла к огромному зеркалу, стоящему за одной из кулис, и начала бесконечные вариации со шляпой. Вдруг она неожиданно обернулась к нему, расхохоталась и совсем по-дружески, с нескрываемой симпатией сказала:

– Да бросьте вы кукситься. Давайте лучше репетировать. Я кое-что забавное придумала. Давайте мы с вами в сегодняшнем спектакле споём. Почему мы не поём дуэтом в нашей «Чародейке»?

– Вы же поёте с девушками «Вниз по Волге-реке».

– Ну, это так мало.

– А я не пою, потому что мне лично медведь на ухо наступил. Кроме того, по пьесе княжичу не до песен.

– Позвольте вам не поверить. Я люблю наблюдать за вами, когда на наших концертах вы слушаете, ну, скажем, «Лунную сонату», хотя некоторые непонятно зачем сидящие в зале люди упорно называют Бетховена Петуховиным.

Конечно же, Николай Иванович пел в отдельных спектаклях, но

считал, что петь он должен лучше, и часто стеснялся своего пения.

– Елизавета Владимировна, я, наверное, действительно чувствую музыку, и именно музыка звучит у меня в ушах, когда я в общих чертах представляю, что замыслил. Но петь... Нет, нет. Вы меня не сможете убедить...

Елизавета Владимировна надула губки.

– А я такую песню вспомнила. Хотите, надену сарафан, душегрею и кокошник? Вы не сможете устоять от дуэта со мной.

– Вы когда-нибудь пели публично?

– Никогда в жизни. Так, мурлычу иногда. Дома.

– Вот и я, – покривил душой Николай Иванович.

– Ну и что из этого! Вот и споём.

– Сарафан и кокошник надевать сейчас не обязательно. Давайте решим, как вы будете петь. А что за песня?

Елизавета Владимировна мгновенно вспылала жаркой любовью к партнёру и начала своим нежным сопрано негромко, постепенно усиливая голос:

*Ах ты, зимушка-зима,
Ты студёная была.
Эгей, эй да люли,
Ты студёная была.*

*Ты студёная была,
Все дорожки замела.
Эгей, эй да люли,
Все дорожки замела.*

*Все дорожки, все пути,
Нельзя к милому пройти,
Эгей, эй да люли,
Нельзя к милому пройти.*

Слов в песне оказалось больше чем достаточно. Елизавета Владимировна пела и в движении, и в некотором подобии танца, и присаживаясь на огромный кованный сундук. Пела сначала раздумчиво, негромко, словно подступаясь к песне. Постепенно песня становилась лихой, переполненной счастьем героини. Она пела,

казалось бы, только для него одного, и вдруг неожиданный финал, с которым невозможно не согласиться, – лицом на публику.

– Елизавета Владимировна, я принимаю песню. Спасибо, – согласился с актрисой Николай Иванович и подумал, что после этого взбесившиеся зрители начнут бисировать.

Остальные придумки Елизаветы Владимировны оказались довольно-таки нейтральны, и он, согласившись с актрисой, закончил репетицию и пошёл домой.

Дом пропах незнакомым для него запахом дичины.

– Коля, давай обедать, – сразу же пригласила к столу Акулина Петровна.

Николай Иванович никогда не позволял себе что-либо съесть, а тем более пообедать, незадолго до спектакля. Здесь же он не мог удержаться. Незнакомый, похожий на лесной запах аппетитно щекотал ноздри.

Акулина Петровна, ловко орудуя ухватом и тряпками, поставила на специально накрытую для обеда скатёрку жаровню с куропаткой в соусе и чугунок с разварной гречей. Когда Акулина Петровна положила половником в фаянсовую миску кусок дичины, добавив гречки и обильно полив блюдо аж чёрным соусом, Николай Иванович, изумившись цвету и мясу, и соуса, сказал:

– А я думал, что куропатка и внутри белая.

– Ты попробуй, Коля, попробуй. Тебя потом за уши не оттащить. А у куропатки белого мяса только маленький кусочек. Сейчас я найду тебе его. Когда рябчик делил своё белое мясо, куропатке почти ничего не досталось. Едал рябчика?

– Никогда. А как это он делил?

– Как увижу рябцов, сразу куплю. Так же потушу. А делил он так. Рябчик ведь маленький и весь белый. Вот добрый рябчик и решил своим белым мясом со всей дичью поделиться. Первой в очереди к нему курица были, а за ней индюшка, утка, глухарь, тетерев, а куропатка последней оказалась. Вот и получила она малюсенький кусочек.

Николай Иванович, прочувствовав первую радость незнакомой вкусной еды, начал жевать машинально, волнуясь о вечернем спектакле.

Акулина Петровна говорила без умолку, и он слушал её речь урывками.

– ... Лопари кольские на оленях приехали. В Питер, говорят, едут – народ катать на Масленицу. Ненадолго у нас в Соломенном остановились. Рассказывают, шатёр свой из оленьих шкур раскинули. Наших всех катают. За деньги, конечно. У общественной пристани рядом с катком стоят. Прокатись, Коля, с какой-нибудь хорошей девушкой. У вас в театре ведь есть их.

«Это идея», – подумал Николай Иванович. В Петербурге не пришлось, так в Петрозаводске прокачусь.

Выпив чая, он ещё раз прошёлся по тексту и пошёл к театру. Дежурное волнение было напрасным. Елизавета Владимировна была ещё легче вчерашнего и так же, если не сильнее, любила своего партнёра. Николай Иванович справедливо предугадал успех сегодняшнего спектакля. После «Зимушки» зрители словно взбесились и начали скандировать: «Бис! Бис! Бис!» На бис Елизавета Владимировна выдала «Зимушку» исключительно на публику. В Петербурге после такого успеха поклонники выносили актрис из театра на руках. Здесь же постеснялись. Губернаторша всё же. На банкете восторгалась в основном Елизаветой Владимировной, но и его похваливали. Он, не любя крепких напитков, ушёл с банкета по-английски и, придя домой, сразу завалился спать. Долго не мог уснуть. Перед глазами стояла Елизавета Владимировна и смотрела на него как-то странно, как до сих пор не смотрела. Наконец он уснул и часов до девяти спал без просыпу. Проснулся он от запаха калиток. Когда он вошёл в «фатеру», на столе уже стояло блюдо с калитками¹ и кипел самовар, под крышкой которого в мешочке варились яйца.

– Садись за стол, Коля. Ну, как вчера?

– Ещё лучше, чем позавчера.

– Теперь можно и отдохнуть? – спросила Акулина Петровна.

– Да. Дня четыре я полностью свободен.

– Вот и покатайся на олешках.

Она достала из самовара яйца, выложила их на стол, налила чаю и протянула стакан Николаю Ивановичу.

– Кофе кончился. Забыла купить. Завтра куплю. А ты сливочек-то в чай налей.

А и правда. Почему бы не прокатиться.

¹ Калитки – открытые карельские пирожки с картошкой или кашей.

После завтрака он пошёл прогуляться, сам не сознавая того, что хочет увидеть Лизу Потапову. Ноги сами понесли его на Малую Подгорную, где жила Лиза. Он немножко побродил по Сенному рынку, куда уже успели съехаться крестьяне с копнами сена, и пошёл вниз по улице. В занавешенном окошке за кисеей мелькнул девичий силуэт. Николай Иванович почти дошёл до озера, где увидел лопарей с двумя оленьими упряжками, и повернул обратно. Навстречу ему шла улыбающаяся Лиза.

Хорошо, что она так тепло оделась. В ладно подогнанном тулупчике, валенках и шапочке, перевязанной тёплым платком.

– Доброе утро, Елизавета Николаевна. Разрешите предложить вам прогулку на оленях.

Лиза разрешила, сказав, что она думает об этом уже несколько дней.

Они подошли к лопарям, расположившимся прямо напротив часовни у мелких причалов с перевёрнутыми лодками. Один из краснолицых узкоглазых лопарей в свободном балахоне из оленьих шкур с пришитым башлыком подошёл к ним и прорычал:

– Тиррв.

– Это он, наверное, здоровается так с нами, – тихо сказала Лиза.

– Здравствуйте.

– Садись. Садись.

Они так и сяк усаживались на узкие санки, пока наконец не нашли удобное положение.

Лопарь взял длинный шест и прикрикнул на оленей. Лиза крепко прижалась к Николаю Ивановичу. Он обнял её за талию. Олени помчались легко, ритмично, не дёргаясь. Создалось впечатление не езды, а полёта.

Ко второму лопарю тоже села парочка, и парочка эта пыталась их догнать. Но наша упряжка оказалась быстрее. Лопарь запел странную песню. Речитатив переходил в едва уловимую мелодию, вместо припева в которой были необычно красивые, неслыханные переливы. Песня кончилась только у Соломенного, куда по белому полю озера примчали их олешки. Недалеко от берега в чьём-то большом огороде находилось более десятка оленей. Рядом стоял чум, над которым висел дымок.

– О чём вы пели? – спросила Лиза.

– Быстро едем. Моему брату нас не догнать. В нашем чуме ва-

рится мясо. По озеру едут мужики с сеном. Едем в Питер. Много денег будет. Пою, что знаю, что вижу.

Николай Иванович отметил, что, несмотря на явную прозу содержания, это всё-таки настоящая народная музыка, отличная от русской.

Обратно – свист ветра в ушах. Ещё тесней прижалась к нему Лиза.

Приехали продрогшие и сразу, попрощавшись, разошлись по домам.

Через пару дней в Обществе был очередной музыкально-драматический вечер, где Николай Иванович с жаром в груди вопрошал: «А судьба кто?»

Монолог понравился зрителям, и они перешёптывались друг с другом:

– Они сейчас «Горе от ума» репетируют.

– Репетировали, да бросили.

– Надо, надо им возобновить репетиции. Собольщиков-Самарин будет прекрасным Чацким.

Надо так надо. Репетиции решили возобновить.

В один из вечеров Акулина Петровна принесла из кладовки большую рыбу-камбалу и сказала:

– На ужин у нас будет печёная камбала. И готова она будет минут через десять. Заодно и картошку обедешнюю доедим.

Николай Иванович искренне удивился такому срочному анонсу.

– Коля, поставь самовар.

Николай Иванович поставил уже налитый самовар, положил углей из мориалки, разжёл их лучиной, открыл душник и приладил трубу. Самовар быстро разгорелся.

Но не в самоваре же она будет рыбу печь. Акулина Петровна взяла сковородку, положила на неё рыбину, посолила, подхватила сковородником и понесла в свою комнату, где она только что закрыла трубу у протопленной голландки. Она открыла дверцу печки и осторожно, чуть наклоняя сковороду по диагонали, поставила её в печку и закрыла дверцу. Не прошло и десяти минут, как хозяйка вытащила шипящую рыбу из печки, не пролив ни капли сока. Сели ужинать.

– Слушай, Коля, что в гостином-то говорят. На олешках-то ты катался. У лопарей их целое стадо. Там в Соломенном волки у них одного съели. Лопари поехали в Питер и остановились в Шуе.

Так что сделал один из них: он на свадьбе себя за колдуна выдал. Мало им карельских колдунов, так еще лопарского подавай, а колдун-то этот оказался ненастоящий.

– А как узнать, настоящий колдун или нет?

– Как, как. Настоящий колдун ни грамма водки в рот не возьмёт. Не уговорить. А этому как поднесли чарку, так он и пил без передыху. А утром возьми да и помри с перепоею. Нет, не колдун был этот лопарь. Не колдун. Может, там у них в Коле или где там ещё и есть колдуны, но этот не колдун.

Николай Иванович вспомнил краснолицего добродушного лопаря и подумал: «Хоть бы не он это был. Хотя всё равно любого из них жалко. Они настоящие дети природы. Добрые и простодушные».

Назавтра Елизавета Владимировна попросила его принять участие в составлении программы следующего литературно-музыкального вечера, который намечался на 14 марта.

Вечер обещал быть длинным, аж в трёх отделениях. После составления программы Николай Иванович отметил, что вечер обещает быть очень русским и каким-то таким демократичным, свободолюбивым, что ли. В программу были включены монолог Арбенина из «Маскарада», стихотворение П. Вейнберга «Пустая церковь», песня о Блохе из «Фауста» Гуно, песня «Разбесчастный я молодец» из собрания народных песен Д. Славянского, сатирический монолог с куплетами: «Как проводит день господин Хвостиков», а из живых картин обещал быть интересным «Бой купца Калашникова с Кирибеевичем». Сам Николай Иванович взялся прочесть стихотворение Ивана Никитина «Бурлак». Читал он его в третьем отделении.

Зал был полон. Всех любителей принимали на ура.

Николай Иванович вышел на эстраду и начал:

*Эх, приятель, и ты, видно, горе видал,
Коли плачешь от песни веселой!
Нет, послушай-ка ты, что вот я испытал,
Так узнаешь о жизни тяжёлой.*

.....

*Есть разгул молодцу. Волга с шумом бежит.
И про волю поёт на просторе;*

*Ретивое забьётся и вспыхнет огнём!
Осень, холод – не надобна шуба!
Сядешь в лодку – гуляй! Размахнешься веслом,
Силой с бурей помериться любо!
И летишь по волнам, только брызги кругом...
Крикнешь: «Ну, теперь Божья воля!
Коли жить – будем жить, умереть – так умрём!»
И в душе словно не было горя!*

Успех был потрясающий. Аплодировали, кричали «браво». На этом бы и остановиться. Но в финале после «Песни о блохе», опьянённый и окрылённый успехом, он вышел на сцену под аплодисменты зрителей и, не объявляя, начал читать стихотворение Николая Пушкирёва «Песня об арестантах». Когда-то это стихотворение ему переписал Прокопий Иванович, и он запомнил его.

Сегодня оно как нельзя кстати. Финал концерта получился ударным. И хотя стихотворение было достаточно длинным (5 строф), Николай Иванович не сомневался, что оно будет держать публику в напряжении:

*... все мы граждане, все кандидаты в острог,
Разве с самым пустым исключением!
Этот, бывши судьёй, грабил вдов и сирот,
Не читая скреплял приговоры,
То есть жил, как и всякий преступник живёт,
Как живут и тюремные воры.
Тот, родившись купцом, весь свой век обирал
Нас не хуже, чем жулик острожный,
Тот побоями в гроб своих жён загонял,
Как убийца и изверг безбожный.
Тот тиранил детей без нужды и конца,
Их способности, ум притупляя,
Сёк и бил, бил и сёк и по праву отца
Идиотов готовил для края.
Так кого ни возьмёшь, всех отметил нас Бог,
Этих – тех, тех – других преступленьем...
Все мы граждане, все кандидаты в острог,
Разве с самым пустым исключением.*

Когда он кончил, в зале стояла гробовая тишина. Потом началось какое-то странное оживление в партере, а галёрка вдруг разом заорала, скандируя:

– Собольщиков, браво! Собольщиков, браво! Собольщиков, браво!

Николай Иванович растерянно кланялся и видел, как губернатор встал с места, тронул за рукав Елизавету Владимировну (та не пошевелилась) и пошёл к выходу. Полицмейстер, выйдя из ложи, быстро поднялся на сцену и, приподняв Николая Ивановича за лацканы фрака, негромко произнёс:

– Цензурованный экземпляр стихика! Немедленно. Иначе через 24 часа...

И тут Собольщиков вспомнил. Это было почти ровно шесть лет назад, 1 марта 1881 года. Он бежал по Невскому к бабушке и вдруг услышал сильный взрыв. Весь Невский пришёл в какое-то непонятное движение. Из вагонов конки выскакивали люди и бежали кто куда. Пешеходы убыстрили свой шаг и тоже побежали. Тут грянул второй взрыв. Более мощный. Заколебалась почва, а в окнах задребезжали стёкла. Кто-то крикнул:

– Студенты Государя убили!

Истерично закричали женщины. Коля побежал вдоль Екатерининского канала и добежал до густой толпы, стоящей вокруг чего-то. Он с трудом протиснулся вперёд. Его, маленького ростом, чуть не задавили, но он наконец пробрался.

Небольшое пространство было оцеплено полицейскими и пешими казаками. На снегу он увидел красные кровавые пятна и чёрные клочья царской шинели. Пахло горелым мясом. Оцепеневшие люди в ужасе смотрели на чёрно-красный снег. Коля заметил, что некоторые хорошо одетые господа, озираясь, словно воруя, поднимали клочки царского одеяния и тихонько прятали их к себе в карман.

Вдруг он почувствовал, что кто-то схватил его за шиворот и приподнял над землёй. Это был полицейский мощного телосложения.

– Тебе что здесь надо? А ну марш отсюда! Быстро!

Он отпустил его на землю, дал пинка и вытер руки белым платком, который достал из кармана шинели.

Коля припустил в сторону Невского.

Из одной лавки вышел мясник в грязном фартуке с топором в руках, чем-то похожий на полицейского, и заорал:

– Бей студентов!

Начали бить длинноволосых молодых людей в широкополых шляпах с пледом на плечах. Коля убежал в переулок.

– Ты что же, друг мой ситный! Нашёл время! Ведь только что на днях раскрыт адский замысел преступного сообщества студентов, замисливших убить и этого нашего Государя. Неужели не слышал?

– Слышал.

Только сейчас Николай Иванович понял, что он наделал. Погорячился. Причём действительно не вовремя.

– Давайте цензурованный экземпляр, и всё в порядке.

– У меня его нет.

– Тогда разговор, к сожалению, окончен. Ждите предписания в 24 часа. Искренне сожалею. Вы неплохой актёр. А у меня служба.

Полицмейстер степенно удалился из зала.

Николай Иванович побрел в свою уборную. Там его и застала Елизавета Владимировна.

– Эх, вы! Вы хоть понимаете, что наделали?

Он только начал понимать.

– Я не уверена, что смогу помочь вам. Вы же знаете, что всё это под личным покровительством Григория Григорьевича.

Николаю Ивановичу нечего было сказать, хотя вечер и получился очень русским, свободолобивым и на редкость цельным. А скандал сделал его вообще захватывающим.

Он поплёлся домой, рухнул на кровать не раздеваясь, но так и не смог уснуть. Как бездарно кончает он так прекрасно начавшуюся карьеру. Прощайте, куры-куропатки и пироги-калитки. Снова здравствуй, голод.

Утром в дверь постучали.

– Николай Иванович Соболищиков здесь проживает?

Акулина Петровна открыла. На пороге появился городской.

– Коля, тебя спрашивают.

Николай Иванович вышел в «фатеру».

– Николай Иванович Соболищиков?

– Да.

– Получите и распишитесь.

Бумага из полиции оповещала, что он должен покинуть город

в течение 24 часов.

Было страшно представить, что снова придётся повторить путь на долгих перекладных.

Морозы не унимались, хотя весна по календарю уже настала.

– Коля, что случилось?

Он как смог коротко рассказал Акулине Петровне о вчерашнем вечере.

– Вот что. Попей чайку. Лучше кофейку. Я сейчас заварю. И беги.

– Куда?

– К тем людям, которые тебя любят и уважают. Пади в ножки и попроси оставить.

– Не оставят. Мне бы хоть до первого парохода в городе пробыть.

– Вот об этом и проси.

Он побежал. Обегал человек десять. Все его внимательно слушали и внешне вроде бы сочувствовали. К вечеру к нему зашёл секретарь Общества и сказал, что ходатайства за него увенчались успехом. Ему разрешено остаться до первого парохода. Мало того. Он должен довести до премьеры «Горе от ума».

– Скажите спасибо Елизавете Владимировне.

В вечерах же его участие не разрешалось.

Потянулись чуть ли не ежедневные репетиции. В апреле премьеру было необходимо выпустить. Елизавета Владимировна молча сидела почти на всех репетициях. О том, чтобы вымарать объявляющего о прибытии гостей ливрейного, не могло быть и речи. Чиновные артисты стали относиться к нему заметно прохладнее. Зато некоторые ссыльные из политических преувеличенно дружелюбно раскланивались при встрече.

Одна радость – Лиза Потапова. Но пьеса-то называется «Горе от ума», а не «Служанка Лиза». Его Чацкий обличал, но как-то вяловато. Задор и огонь исчезли непонятно куда. Он сознавал это, но ничего поделать с собой не мог. Премьера состоялась 14 апреля. Все билеты были раскуплены заранее. Зрители прямо ломились на спектакль. Внутренность фамусовского особняка была по-московски ампирична и изящна; танцы, особенно полонез, после этих дурацких представлений ливрейного заканчивались аплодисментами; монолог «А судьи кто?» воспринимался остро и современно, но... Не было главного – свободомыслия Чацкого,

который хотя и был внешне лёгок, но внутренне, умственно был как-то зажат. Это, кажется, не было замечено зрителями. Но сам Николай Иванович понимал, что в его положении Чацкого сыграть нельзя. И хотя спектакль имел средний успех, роль Чацкого в Петрозаводске не стала победой Собольщикова-Самарина.

Потянулись томительные дни ожидания первого парохода. За апрель ему обещали выплатить жалованье, и он прикидывал, что ещё можно купить из гардероба. Кроме того, надо было оставить как можно больше наличными. Он твёрдо решил, приехав в столицу, связаться со своими молодыми друзьями и уговорить их создать самостоятельную труппу, где он будет и антрепренером, и режиссёром, и актёром.

А потом всей компанией уехать куда-нибудь в провинцию. Будет трудно, голодно, но они добьются признания и славы.

А пока они гуляли по весеннему городу с Лизой Потаповой и молчали. Молчание это, скрашенное нежной улыбкой Лизы, всё больше и больше объединяло их. Николай Иванович понял, что теперь везде, где бы он ни был, ему будет не хватать этой девушки, улыбчивой и красивой неброской русской красотой. Лиза напоминала ему почему-то старинных боярышень, несмотря на то, что была она вполне современной девушкой. Предложить ей руку и сердце он не решался из-за своего, скорее всего неопределённого, возможно голодного, будущего. Да и родители Лизы никогда не согласятся на брак дочери с бедняком, каковым в их глазах выглядел актер Собольщиков-Самарин. Лиза говорила, что родители настойчиво торопят её с замужеством и каких только кандидатов не предлагают. Поэтому, чтобы не компрометировать Лизу, они встречались как можно реже. На репетициях они обменивались тайными, незаметными для других и дорогими только для них улыбками.

Сегодня на Владимирской набережной, разминая пальцами набухшую берёзовую почку, Лиза спросила:

– Николай Иванович, как вы думаете, я смогу быть актрисой в настоящем театре?

У Николая Ивановича в голове сразу промелькнула тень губернаторши, но он вспомнил чудесную Лизу из «Горя» и сказал:

– Я думаю, что да. Только зачем эти разговоры?

– Зачем... зачем... зачем... – медленно протянула Лиза.

Она долго смотрела на него, словно к чему-то готовясь, и вдруг...

– Возьмите меня с собой. Я не представляю теперь жизни без вас. Я люблю вас, Николай Иванович!

Он и хотел, и боялся этого момента. Да, он любил Лизу; да, он женится на ней. Но как это сделать? Уговорить родителей Лизы невозможно.

– Лизонька, прости меня дурака. Ведь я должен первым сказать тебе это и сделать предложение. Я люблю тебя, Лиза, и не представляю теперь жизни без тебя. Мне стыдно говорить, но меня смущают два обстоятельства. Мы, возможно, долго будем жить впроголодь...

– Коля, я на всё согласна. Впроголодь так впроголодь, а второе?..

– Твои родители.

Лиза нервно засмеялась, и на глазах её показались слёзы.

– Я сбегу из дома куда ты прикажешь. Куда увезёшь. Коля, я поеду с тобой куда угодно.

– Лизонька, я очень хочу, чтобы мы всю жизнь прожили вместе.

Они долго целовались на берегу тающего Онего и мечтали о том, что вот придёт первый пароход и сразу в их жизни что-то изменится! Будь что будет, но теперь они никогда не расстанутся.

Но конспирацию пока всё-таки стоит соблюдать, и они разошлись в разные стороны.

6 мая 1887 г. пароход «Нева» совершал свой первый рейс Петрозаводск – Петербург. На пристани собрался весь город. Николая Ивановича провожала Акулина Петровна с большим узлом, в котором, конечно же, были пироги-калитки для Коли. В толпе провожающих была и Лиза. Они старались не показывать свою близость. Простились как хорошие знакомые, пожав друг другу руки. Актёры-любители, оказавшиеся в это время на пристани, вежливо прощались с ним и желали всяческих успехов. Объявили посадку, и Николай Иванович, с огромным трудом подхватив свою туго набитую корзину, новёхонький фибровый чемодан и пироги-калитки, взшёл на борт. Пароход дал третий гудок и отчалил. Николай Иванович перешёл на корму и долго, не отрываясь, смотрел, как несколько вдалеке от толпы провожающих махала ему белой косынкой Лиза, жизнь без которой была невыносима. Он смотрел и смотрел, пока Лиза не превратилась в точку.

.....

Лиза сбежала из дому и приехала к нему в Петербург примерно через месяц. Они поженились и жили счастливо, но недолго. Всего девять лет.

Актриса Елизавета Аполлонская (Потапова) умерла от туберкулеза в 1896 году.

.....

ЭПИЛОГ

Петрозаводск
26 августа 1896 г.

Глубокоуважаемый Николай Иванович. Я был очень рад увидеть Вас в Нижнем Новгороде и одновременно очень огорчен тем, что ни у Вас, ни у меня не оказалось времени для длительного разговора.

Несколько слов о том, как мы с нашей знаменитой «вопленицей», а по сути настоящей народной поэтессой Ириной Андреевной Федосовой оказались на Всероссийской художественно-промышленной выставке. Возможно, Вы слышали, что я ездил с нашими олонцеками рапсодами, певцами былин Трофимом Григорьевичем и Иваном Трофимовичем Рябиниными как «антрепренер» в Москву, Петербург и некоторые славянские страны. Сейчас езжу с Ириной Андреевной. В Петербурге ее выступления имели огромный успех, и ее пригласили выступить на выставке. Всё было как всегда успешно. После выступления к нам сразу же зашли два молодых человека: весь заплаканный и расчувствовавшийся газетчик, представляющий «Нижегородский листок» и почему-то «Одесские новости», начинающий писатель Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) и его друг, невец Федор Иванович Шалапин. Кстати, Федор Иванович слышал Ирину Андреевну еще в Петербурге. Алексей Максимович (какой сентиментальный для газетчика человек) попросил назначить время, чтобы подольше побеседовать с Ириной Андреевной, а Федор Иванович пригласил нас в оперу. В «Жизни за царя» он поёт главную партию. Они упомянули Ваше имя, и я с удивлением узнал,

что Вы теперь занимаетесь оперой. Но Федор Иванович сказал, что Вам доверили это важное и благородное дело только на период выставки и так Вы по-прежнему будете заниматься драматическим театром. Шалапин-Сусанин оказался настолько великолепен, что у меня нет слов. Вы там у себя в Нижнем держитесь за него. Алексей Максимович сдержал своё слово и прислал несколько своих газетных статей об Ирине Андреевне и выставке, совсем не сентиментальных, а скорее резко критических. Я имею в виду выставку.

Как здоровье Вашей супруги Елизаветы Николаевны? Тогда Вы сказали, что она не совсем здорова. Надеюсь, что сейчас со здоровьем у неё всё в порядке. Передайте привет ей от меня. Надеюсь, что она помнит своего гимназического учителя.

Перехожу к выполнению Вашей просьбы. Вы просили написать о дальнейшей судьбе Елизаветы Владимировны. К сожалению, я ничего об этом не знаю. А о последних годах пребывания супругов Григорьевых в Петрозаводске могу рассказать следующее.

Елизавета Владимировна продолжала устраивать литературно-музыкальные вечера. Лично я всегда получал эстетическое наслаждение от тех, теперь уже давних, вечеров. Вы были у нас в сезон 1886–1887 гг., а года через два Елизавета Владимировна устроила в губернаторском доме роскошный... нет, скорее изящный вечер с прекрасным ужином для всех зрителей. Мне и нескольким моим коллегам по Мариинской гимназии посчастливилось там быть.

Вы и представить себе не можете, какой тропический сад устроила Елизавета Владимировна вокруг эстрады с двумя белыми роялями. В зале зеленели латании, филодендроны, пальмы, фикусы, драцены, бананы и какие-то другие тропические растения.

Елизавета Владимировна вышла на эстраду в костюме древнескандинавской валькирии. Помните, она была в нём на одном из балов ещё в Ваше время?! Как она читала! В течение тридцати минут! Читала только что написанную поэму Аполлона Майкова «Брингильда». Она сумела перевоплотиться в семерых героинь поэмы. Причём мне кажется, что она читала, если это можно назвать чтением, очень жизненно, почти разговорно, и в то же время это, несомненно, была декламация, тонко передающая и лиризм, и всю силу чувств поэмы, и все переливы чувств героинь. Мы смотрели на Елизавету Владимировну затаив дыхание, не шевелясь. В конце концов, когда Брингильда приказала похоронить себя вместе

с убиенным супругом, некоторые дамы зарыдали. Стояла гробовая тишина, и только после большой паузы раздались аплодисменты. Я долго не мог прийти в себя даже после роскошного губернаторского ужина. На вечере выступала не только Елизавета Владимировна. Пела и её приятельница Софья Евгеньевна Ромм, наша дива, ученица Полины Виардо. Но даже её Кармен не смогла отвлечь моих чувств, затронутых «Брингильдой».

На сцену, кажется, в этот же год успешно вышла и Верочка, дочка Григорьевых. Общество давало спектакль, название которого было прямо противоположно его деятельности. «Общество поощрения скуки» Виктора Крылова. Именно там уморительно смешно сыграла роль Любы Косовской Вера Григорьевна. Её фразы: «Ку-ку! Вот и я. Ах какой ты смешной! Ну отчего ты такой смешной», – стали в нашем городе *dictum factum*¹.

Весной 1890 года Григорий Григорьевич Григорьев был назначен членом совета министра внутренних дел.

29 мая представители всех сословий провожали губернатора с семьёй. У нас ведь как провожают пароходы? Весь город на пристань придёт. Провожание это для нашего обывателя всё равно что праздник.

В конце главного причала играл военный оркестр. Капитан парохода «Свирь» даже задержал отход больше чем на час, чтобы всем дать проститься с губернатором. На какой-то миг я оказался в толпе рядом с Елизаветой Владимировной и услышал, что она с явной печалью говорит своей подруге Софье Евгеньевне:

– В Петрозаводске я была счастлива. Ждёт ли меня такое счастье в Петербурге?

До сих пор в ушах моих звучит мелодия марша «Скобелев», который грянул оркестр после отхода парохода, который пошёл сначала как всегда задним ходом.

Провожаящие махали фуражками и шляпами. Генерал Григорьев стоял на капитанском мостике с непокрытой головой и раскланивался с провожающей его публикой.

Вот, пожалуй, и всё.

Да, чуть не забыл. Когда через два года Иван Трофимович Рябинин выступал в Зимнем дворце, после выступления к нам подошла Ели-

завета Владимировна, такая же, как и прежде, – улыбочатая и обаятельная. Она поблагодарила рапсода и сказала, что считает себя ученицей его отца Трофима Григорьевича, от которого она переняла пару былин и помнит их наизусть. Мы обменялись несколькими фразами, и она исчезла.

Вот теперь всё.

Очень был рад увидеть Вас в Нижнем.

Примите уверения в глубочайшем моём уважении.

Искренне Ваш Павел Тимофеевич Виноградов.

.....

Народный артист РСФСР Николай Иванович Соболец-Самарин прожил долгую счастливую жизнь и умер в 1945 году.

И всё-таки...

Он так и не встретил больше столь талантливой актрисы, как блеснувшая ослепительным, ставшим по прошествии времён призрачным, светом петрозаводская губернаторша Елизавета Владимировна Григорьевна.

А может, она и в третий раз когда-нибудь и где-нибудь восхитила и удивила зрителей?

Он об этом так и не узнал.

Лето 2009 года,
Петрозаводск

Автор благодарит архитектора Елену Ициксон и краеведа Татьяну Мошину, которые помогли ему в реконструкции событий петрозаводской зимы 1886–1887 гг.

¹ *dictum factum* (лат.) – крылатое изречение.

СОВМЕСТНЫЙ НОМЕР¹

Маленькая повесть

Небольшой аккуратный нос Ивана Яковлевича по прозвищу Керя напрягся, покраснел, и на нем проявилась россыпь черных угрей, которые без этого самого напряжения никак не проявлялись. Нос у Ивана Яковлевича был воистину волшебным в том смысле, что только на нем не умещалось во время отдельных несколько странноватых уроков физкультуры, которыми он баловал младших школьников не чаще раза в год. Сейчас же на носу Керя возвышался длинный шест, на котором чуть ли не под потолок распустил пузо полный самовар и пять граненых стаканов с казенными общепитовскими блюдцами из школьного буфета.

Иван Яковлевич бегал перед уроками с самоваром по всей школе, ища душник, куда можно было бы вставить самоварную трубу, пока его беганьем не заинтересовалась завуч Клавдюха:

– Иван Яковлевич, если уж вам так хочется чаю, то его можно выпить в комнате технички. В кубовой всегда есть кипяток. Зачем же бегать по всей школе со своим самоваром?

Иван Яковлевич объяснил, и Клавдюха категорически запретила ему это делать, сказав, что прямо сейчас же напишет докладную в

¹ Автор намекает внимательному читателю на то, что в рассказе имеется некоторое хронологическое смещение отдельных эпизодов из истории русского цирка. Все фамилии персонажей изменены.

РОНО, так как садиться в тюрьму из-за Керя она никак не хочет.

Иван Яковлевич тихонько выразился.

– Что, что вы сказали?

– Я сказал, что налью полный самовар холодной воды, хотя, конечно же, эффект будет совсем не тот.

– Вот это другое дело. Хорошее дело.

На том и расстались.

У Сережи была справка об освобождении от физкультуры, и он уже хотел хоть на полчаса забежать домой, но Вовка Ходков сказал:

– Ты что, дурак, что ли? Керя собирается весь урок показывать свои фокусы.

Сережа сразу же передумал.

Сейчас ему было очень жаль страдающий нос Ивана Яковлевича. Все это, конечно, можно было делать и на макушке, и на лбу, и на груди. Иван Яковлевич так иногда и делал, но все-таки именно нос был у него любимцем баланса.

В физкультурном зале Керя встретил Сережу ласково угрожающе:

– Белобилетникам физкультпривет. Прошу. Хоть на канат, хоть на коня. Покажи нам, что умеешь.

Сережа похолодел. Он был в классе самым слабым физически, но зато самым шумным, активным и компанейским.

– Да ладно. Шутка. Проходи. Сегодня я буду вам показывать.

Иван Яковлевич стоял на одном месте, широко расставив ноги, подперев руки в бок, и только торс его почти невидимо шевелился где-то в области талии. Вдруг он раскинул руки, наклонил свой измученный нос, и... вот-вот раздастся хлопок. Но вместо хлопка шест с самоваром точно скользнул к нему в руки, прочно стал на пол, и Иван Яковлевич, поддерживая шест одной рукой, стал снимать посуду, ставя ее на высокий стол. Апофеоз свершился.

– Может быть, кто-нибудь хочет сделать то же самое?

Вовка поднял руку:

– Иван Яковлевич, а можно я воду из самовара вылью?

– Повторяю. Может, кто-нибудь захочет повторить то же самое. Так что погоди выливать.

– Я это и хочу. Повторить. Но только без воды.

– Валяй.

Вовка в момент схватил самовар, сбегал на крыльцо, вылил воду

и быстренько вернулся обратно.

- Иван Яковлевич, а на лбу можно? Так просто лучше видно.
- Можно. Давай я тебе помогу установить посуду.
- Я сам хочу.
- Ну, сам так сам.

Вовка поставил на пол шест, на него подставку, на нее самовар. Потом взял шест двумя руками и тихонечко-тихонечко водрузил это сооружение себе на лоб, предварительно сильно задрал голову. И замер. Было только видно, как работали некоторые обычно невидимые мышцы лица и чувствовалось сильное напряжение спины. Вовка даже сделал несколько шагов. Вдруг он резко выпрямился, поймал шест с самоваром и поставил его на пол. Пузатый сидел как приклеенный.

- Иван Яковлевич, это же проще пареной репы.
- А со стаканчиками да с блюдцами слабо?
- Давайте попробую.
- Валяй.
- Серый, помоги мне стаканы расставить.

Сережа симметрично разместил стаканы. Вовка весь напрягся, очень осторожно, как в замедленном кино, начал водружать эту пирамиду себе на лоб.

И снова у него получилось.

Иван Яковлевич захлопал в ладоши, подмигнув ребятам, чтобы они его поддержали. Ребята дружно захлопали. Вовка с перепугу заорал:

- Серый, держи стаканы!

Шест мигом соскользнул прямо в руки, и тут же Вовка с Сережей начали снимать посуду. Правда, один стакан с блюдцем упали. Блюдце кокнулось, а стакан ничего. Не разбился.

– Молодец, а теперь побалансируй просто шестом: на темени, на носу, на лбу, на груди.

Шест у Вовки на всех местах стоял как приклеенный, а когда надо, легко перепрыгивал с места на место.

- Проще пареной репы.
- Тебе, парень, в цирковое училище надо после семилетки. Долго тренировался?
- Ничего я не тренировался. Первый раз все делаю. Да и не хочу я ни в какое цирковое училище, я капитаном дальнего плавания хочу быть.

– Ну, моряку такое чувство равновесия не помешает. Молодец, Ходоков. Ставлю тебе единственную за сегодняшний урок оценку «отлично» ... Да, что же я... Еще кто хочет повторить? Нет таких. Тогда ставлю еще одну пятерку. Себе. А сейчас не орать... Тихо... Кому сказано «тихо»! Урок окончен. Все без шума на улицу. А там бегайте и орите сколько хотите. То есть до следующего урока. Все. Разбежались. Только тихо.

Вовка, в отличие от Сережи, учился слабо, и за весь год у него оказалась одна пятерка по физкультуре, две четверки – по пению и поведению, тройка по естествознанию, остальные двойки. Вовку оставили на второй год. Сереже всегда нравился ловкий, сильный и цепкий Вовка. Ему очень хотелось, чтобы и у него были такие же сила и ловкость, но этого ему не было дано.

Четвероклассная дружба как-то быстро нарушилась, хотя и в школе, и на улице ребята обменивались «приветами» и во всяких там мальчишеских ссорах всегда держали сторону друг друга. С учебой у Вовки не клеилось и все шло к тому, что необходимую восьмилетку ему придется кончать в вечерней школе.

Как-то летом ребята встретились на поселковой улице у дома, где жил совхозный агроном Максимов. У крыльца была привязана оседланная лоснящаяся карья лошадь, на которой агроном обычно объезжал необозримые просторы совхозных полей.

- Серый, хочешь фокус?
- Хочу.
- Отвязывай коня и огрей его хворостиной.
- Ты что, Ходок, опупел?
- Чего опупел! Отвязывай. Не бойсь. Мой папаша и дядя Володя Максимов старые приятели. Отец как-то пекарем работал в Кузомени. Дядя Володя приезжает в командировку и заходит к нему в пекарню. Отец и говорит тому: «Володя, хочешь я тебе бараночек напеку? Сейчас тесто замешу». Тот и говорит: «Хочу». Папка кинул полмешка муки в квашню, разулся, прыг в квашню и начал тесто ногами месить. Дядя Володя тут и говорит: «Что-то мне, Коля, твоих бараночек расхотелось. Ты бы лучше калачиков испек».
- И что?
- Ничего. Испек. Калачиков. Так что не бойсь. Хворостину сначала выломай. Вон береза стоит на той стороне улицы.

Дружеские узы дяди Коли и дяди Володи как-то не очень связывались в голове у Сережи, и он несколько замешкался.

– Ну, чего стоишь? Ломай! Выломал? Молодец! Отвязывай.

Сережа отвязал коня и что было сил огрел его хворостиной. Лошадь с перепугу помчалась вдоль по улице вскачь. Только этого, оказывается, и надо было Вовке.

– Смотри! Фокус!

Он быстро побежал за лошастью. Конь мчался как на скачках, но и Вовка оказался парень не промах. Он подбежал к коню и, как на уроке физкультуры, высоко подпрыгнув, закинул руки на круп коня и через секунду оказался в седле, ловко схватив уздечку. Дальше проще. Он натянул удила, и конь постепенно перешел на шаг. Конь объезженный, старый, послушный. Вовка, слегка погарцевав по улице, подъехал к дому, спрыгнул с коня, дал поводья Сереже и сказал:

– Привязывай.

Сереже хотелось сказать: «Бежим. Сейчас начнется», – но он промолчал. Ничего не началось. Никто ничего не видел. Сереже даже жалко стало, что никто не видел мировой прыжок Вовки. А дядя Володя сидел дома и спокойно обедал. У него и в мыслях не было выглянуть в окно и поинтересоваться, что кто-то может угнать его коня. Да, в общем-то, ведь никто и не угонял.

В дальнейшем пути Сережи и Володьки совсем как-то разошлись. Сережа грыз гранит школьной премудрости с твердым намерением поступить на гуманитарный факультет какого-нибудь престижного вуза, а Володька то бросал дневную, а потом и вечернюю школы, то потом снова возвращался. Сережа даже не знал, окончил тот восьмилетку или нет. Во всяком случае, когда он приехал в поселок на свои первые студенческие каникулы, Володька уже был в армии.

Прошло много-много лет, и Сергей, будучи по своим журналистским делам в Москве, проходил мимо цирка на Цветном бульваре. Привлекли две огромные красивые афиши: «Тигры в море. Водяная феерия. Марго Базарова и Казимир Костин» и «Эквилибристи-рекордсмены. Братья Милягины». Он полюбовался красавицей Марго, разлегшейся на тиграх, и подошел к «братьям». Причем его заинтересовала не сама суть номера, ко-

торая была эффектно подана на огромном панно, а общая фотография братьев, физиономия одного из которых показалась ему страшно знакомой, но сомнение говорило ему, что это вряд ли возможно. Хотя у них в цирке все братья и сестры. Самое интересное, что все эти многочисленные братья и сестры очень часто выглядят ровесниками, а это биологически невозможно. Так что у них наверняка бывают и названные братья. Во всяком случае билет на сегодняшнее представление достать не мешает. Он нашел администратора и получил по своему журналистскому удостоверению пропуск во второй ряд партера.

Братья были в конце первого отделения. До них Сергею понравилась воздушная гимнастка на трапеции Рада Гран. Остальное, в том числе и клоуны, было так себе. Да и Рада понравилась своим даже не мастерством, хотя оно без сомнения было, а чисто женским обаянием, элементарной сексапильностью, тем более надето на Раде было почти ничего. К тому же рот у Рады был постоянно в улыбке до ушей. Улыбка видоизменялась в зависимости от сложности частиц воздушного полета, но никогда не исчезала.

Сергей подумал, что эта девушка просто обречена улыбаться непонятно почему.

Девушка запала в его душу.

Наконец шпрыхталмейстер возгласил:

– Эквилибристи-рекордсмены, непревзойденные братья Милягины!

На арену выбежали пятеро разновозрастных братьев, шестой был явно старше остальных. Униформисты принесли длинную и, похоже, тяжелую лестницу. Знакомую физиономию среди братьев Сергей разглядеть не успел.

Старший брат лег на спину и задрал кверху ноги. Униформисты поставили на одну из них лестницу. Причем поставили они ее точно на носок ступни старшего брата Милягина. Брат повращал эту лестницу, поподкидывал раз шесть-восемь и успокоился. На лестницу, словно обезьян, вскарабкался юный брат и уютно расположился наверху. Старший брат тотчас же начал подкидывать лестницу, одновременно вращая ее. Цирк загремел аплодисментами. Обезьян ловко спрыгнул с лестницы, и тут же выбежали остальные четверо братьев. Один из них был Володька. Точно он!

Лестница стояла теперь на ступнях ног старшего брата, и по

ней ловко лезли четверо братьев и выполняли сложнейшие трюки. Вот пошел копфштейн. Володька на голове, голова в голову, держит партнера. А вот его верхний уже стоит у Володьки на голове. Наконец подошла очередь самого младшего брата. Он, невзирая на своих партнеров, быстро-быстро побежал по лестнице вверх, добежал до верхней ступеньки, перешагнул ее и спустился по другой стороне лестницы. Зал снова взорвался аплодисментами.

Шпрехштаалмейстер объявил:

– Рекордный и неповторимый трюк!

После непродолжительной барабанной дроби цирковой оркестр замолчал. Воцарилась напряженная тишина.

Старший брат держал на ступнях незакрепленную лестницу, а один из партнеров лез по ней с какой-то подушкой. Добравшись до верхней ступеньки, он как-то ловко улегся на эту самую подушку. Снизу ему подали еще одну лестницу, и этой лестницей он начал балансировать. Наконец лестница замерла в нужном положении, и на ней оказался один из артистов и эффектно сделал стойку на руках на верхней перекладине. Мало того. На лбу старшего брата Володька тоже сделал стойку на одной руке.

Во сне это происходит или наяву?

Очень хочется протереть глаза!

Вот пирамида рассыпалась, и тут же все акробаты оказались в новой пирамиде. Володька и еще один циркач оказались на «флажке»¹ по обе стороны лестницы.

Сергей испытал чуть ли не сердечную боль, ощущая сложность и опасность всех трюков, в которых участвовал Володька.

Наконец артисты, убежав с арены, выскочили на поклонны.

– Володька, – не очень громко произнес Сергей.

Володя с удивлением глянул на Сергея.

– Серый, – он сразу же узнал Сергея, – сейчас же приходи ко мне за кулисы.

Он зашел. Поговорили о том о сем. Володя переоделся в экстравагантный и тем не менее модный костюм, каждой складоч-

¹ «Флажок» – трюк воздушной гимнастики и эквилибра. Артист, закрепив одну ногу в петле на снаряде, а другой упираясь в него, придает телу горизонтальное положение.

кой, каждым швом кричащий о том, что он сидит на настоящем артисте, и сказал:

– Второе отделение будем смотреть из директорской ложи. Сегодня там есть свободные места.

В ложе не оказалось никого, кроме черноволосой, слегка полноватой красавицы.

– Привет, Галя.

– Привет, Володя. Вы сегодня работали как никогда.

– Стимул. У меня вот дружок приехал, Серега, да и ты нашему Геннадию Трофимовичу – свет в окошке.

Красавица слегка покраснела.

– Галя, – она подала Сергею руку. Он хотел ее поцеловать, но взял и просто пожал. Целовать руки дамам в цирке. «Принцесса цирка» какая-то. Хотя Галя ему понравилась. В ней была какая-то теплая человеческая простота и одновременно чувствовалось, что не простой она человек. Ох, не простой. Только они уселись после крохотного церемониала, как Володька сорвался, сказав:

– Сейчас приду.

Галя думала о своем, а Сергей с любопытством наблюдал, как служители ставили высокие решетки вокруг арены, постоянно проверяя их на прочность, делая вид, что пытаются их раскатать. Решетки стояли как влитые. Арена постепенно заполнялась водой. Осветители регулировали свет, и вода казалась то голубой, то зеленой, то желтого цвета пустыни. Сергей весь был в предвкушении будущей водяной феерии «Тигры в море». Появился Володька и заявил:

– Серый, пошли в «Узбекистан» ужинать. Умираю как жрать хочется.

– Ты что, Ходок, опупел? Сейчас начнется самое интересное. Это тебе не по лестницам с братьями Милягиными прыгать. Ты думаешь, я каждый день в цирк хожу?

Сергей почувствовал, что его замечание по поводу Милягиных не понравилось Гале.

– Ты сам попрыгал бы по этим лестницам! Слушай, сейчас начнется самая настоящая фигня. Так что пошли ужинать.

– Да объясни ты по-человечески, почему фигня-то?

– Объясняю. Маргоша заболела. А этот придурок Казик решил выкупать своих полосатых без нее. Вот тебе и фигня.

Галя встала и, попрощавшись, вышла. Похоже, что она тоже не любила фигню.

– Ну и что? В программке ведь написано, что укротителей двое: Марго Базарова и Казимир Костин.

– Объясняю. Они действительно работают с тиграми на пару. Вся тонкость в том, что на арене тигры работают исключительно с Марго, а Казик бегаёт вокруг с хлыстом и пистолетом. Придурок! Ему, оказывается, сегодня уже предлагали снять номер. Отказался. Все понятно?

– А кураж? А?

– Это не кураж, а та самая фигня. Придурок. Так что смотреть, как тигры будут упираться, а то не дай Бог сожрут Казика с его пистолетом – это выше моих сил. И тебе не советую.

– Ладно. Уговорил.

– А если тебе интересно, что будет у этого придурка дальше, завтра, когда пойдешь ко мне в гостиницу, купи утреннюю газету. Уверен, что сегодняшнее выступление Казика там будет отмечено.

– Это мог бы сделать и я как журналист.

– Ну ты и выродок, как и все вы. Вам только жареное подавай. И не стыдно? Так пойдем в кабак или нет?

– Идем. Только с утра я занят своими делами.

– Пошли. А я не занят. У меня три дня свободных. Так что тебе повезло сегодня. Мог бы и не поймать меня. Вечером тогда, да пораньше, приходи, я тебя жду в «Арене».

– А где ты вообще в Москве живешь?

– Там и живу. В «Арене». Иногда на Гиляровского. Там немножко пошикарнее. Это тоже цирковой отель.

– А квартира?

– Ее не было и нет. Все надеюсь. На Геннадия Трофимовича. А впрочем, зачем она мне? Вся жизнь – сплошные гастроли.

– А потом... если что?

– Что, что? Я об этом еще не думал. Некогда. Кончай свистеть. Пошли.

– А почему в «Узбекистан»?

– Потому. Придем, узнаешь.

В «Узбекистане» народу было хотя и много, но свободные места нашлись. Они сели за свободный столик даже без помощи администратора. Сергей обратил внимание на то, что публика достаточно

резко делилась на две категории. Одну из них составляла обычная приличная ресторанный публика в костюмах, при галстуках и при дамах. Другую часть составляли чисто мужские компании в халатах, тубетейках и с золотыми зубами. Если в этой компании был человек в приличном дорогом костюме, то на нем обязательно была тубетейка. На столах перед этой публикой стояли бутылки «Столичной» и огромное количество фарфоровых чайников самых разных размеров.

«Узбеки в посудной лавке», – подумалось Сергею.

Официант направился к их столику.

– Заказываю я. Угощаю, – сказал Володя.

– Ничего не имею против.

Официант подал меню. Володька в него даже не заглянул:

– Значит, так. Маринованные фрукты-овощи. Манты... Плов обязательно. Бутылочку коньяка армянского. «КВ». И кофе восточному.

Официант сказал:

– Рекомендую к кофе «Узбекистан». Очень вкусное ликерное вино.

– Несите.

Через несколько секунд официант приволок огромный чайник с зеленым чаем и две пиалы.

– Володька, вроде бы мы этого не заказывали.

– Заказывали – не заказывали. Зеленый чай здесь всем приносят. Пей – наслаждайся.

Сергей до этого никогда не пил зеленого чая. Попробовал. Не распробовал. Удивился, чего это узбеки его так любят.

– Да, почему в «Узбекистан» -то?

– Ты знаешь, еще недели не исполнилось, как мы с гастролей приехали из Японии. Самураи визжали от восторга. Это ведь они еще в 30-е годы к нам этот номер с лестницами привезли. Их у нас иногда так и называли: «японские лестницы». Но такого, как мы, у них никто и никогда не делал. Кишка тонка. Так что принимали нас там по высшему разряду. Трофимычу обещают вот-вот народного артиста СССР.

– Здорово. Но почему мы сюда-то пришли, а, скажем, не в «Нарву»?

– Ну, ты и зануда. Почему да почему. Потому что в этой ихней Японии я весь изголодался. В номере врубаешь кипятильник,

чайку заварить и какую-нибудь банку открываешь, которую из Союза привез. А как все наши врубят кипятильники, то и свет на всем этаже погас. Японцы, конечно, нас по своим ресторанам тоже поводили. Сплошь японская кухня. Соответственно ни вилки, ни ножики, ни ложки. Одни палочки. Стыдно признаться, вот вроде бы все могу, а палочками так и не научился есть. Только методом тыка. Воткнул что-то во что-то и в рот. А если не тычется? Все с этих палочек валится. Прямо на стол. Чашечки маленькие-маленькие. Не понять, что в них. В общем, изголодался я ужасно. Наестся не могу до сих пор. А здесь смотри как едят.

И он показал на соседний столик, где сидели узбеки. Те брали из огромного блюда прямо руками плов, скатывали из него шарики и отправляли в рот.

– И мы, что ли, так жрать будем?

– А как же еще?

– Пойдем тогда руки мыть.

Когда они вернулись, официант принес блюдо чудовищных по размеру пельменей.

– И это руками?

– Конечно. Чебуреки же ты ешь руками.

Он налил по рюмке коньяку.

– Салам алейкум.

– Вагалейкум ассалам.

Пельмень расплзался, брызгал соком и непривычно хлюпал, но был ароматен и не по-пельменному вкусен.

– Вай, какой молодца! – сказал узбек за соседним столиком, глядя на Сергея.

Сергей обратил внимание на костюмную публику. Та ела по-нормальному.

– Вот Иван Яковлевич тебя бы увидел. Все так, как он и предсказал. Мне даже кажется, что он бы и в ваш номер вписался.

– Накаркал Керя. Не видать мне капитанских нашивок и краба на фуражке. Хотя никаких училищ, тем более цирковых, я не кончал. А у Керя действительно было идеальное чувство баланса, хотя, конечно, до нашего Геннадия Трофимовича ему далеко.

– А как же ты в цирк попал?

– Долго рассказывать.

– А ты покороче.

Володька снова налил.

– За советский цирк! Лучший в мире! Значит, так. Только я восьмилетку в вечерней кончил – и сразу в армию. Службы за три года у меня почти никакой не было.

– Как это?

– А так. Сплошные сборы. Спортивные. Я стал мастером спорта по лыжам, чемпионом округа и т.д. Ну, чемпионом-то округа мне было стать относительно легко. Представляешь, на одних соревнованиях вторым за мной пришел один грузин. Так он лыжи снял, взял их в руки, добежал до финиша и говорит: «Если бы не эти дощечки, я бы еще быстрее прибежал». Я со смеху чуть ли не сдох. А потом... Да ну их на фиг эти лыжи! Занялся акробатикой. Перед самым дембелем мой партнер сломал руку, и вот тут-то немного пришлось послужить. Скучно все это вспоминать. Ты яблочка маринованного возьми. Закуси манты.

– Что скучно?

– Последние пару месяцев службы.

– А потом?

– Демобилизовался. Оказался в Архангельске. Зашел в цирк. Устроился на работу униформистом. А тут Коля Ольхин на гастроли приехал со своей «Русской тройкой». Помнишь максимовского конягу? Репетирует он как-то на арене, а у него в начале номера лошадка бегаёт. Я и говорю Коле: «Дай я вспрыгну на коня». А он: «Не убьешься?» – «Да это же проще пареной репы». – «Давай». Ну я и прыгнул. Даже в седле привстал. Так я попал в номер. Стоял в униформе вместе со всеми. Правда, на башке у меня картуз лакированный был. Лошадка забегает, я как с цепи сорвусь и за ней. Смех стоял такой, что Олег Попов позавидовал бы.

– Во, во. Тебе бы клоуном.

– А фиг ли! Я и тройку на арене за несколько секунд запрягал, а потом снова к униформе. В конце номера выходил со всеми джигитами и несколько кувырков делал. Потом Геннадий Трофимович приехал, у него один парень собрался уходить, вот я с ним и стал работать.

– Сколько лет уже?

– Много.

– А в другой какой-нибудь номер не хочешь?

– Я очень люблю Трофимыча. Да и притирка у него с новым партнером будет очень сложной. Хотя он – гений баланса. За Геннадия Трофимовича!

– С удовольствием.

– Ты знаешь, какой он вес держит на ногах?

– Какой?

– Пятьсот килограммов. Когда его спрашивают, в чем трудность номера, он отвечает: «Попробуйте собрать ртуть, разбавленную крохотными шариками по паркету». Он как никто умеет собирать в одной точке резко смещенные точки баланса.

– А будущее?

– Я как-то об этом не думаю. Мое прошлое – верх нашей лестницы. Стоял этаким юным пионером в красном галстуке. Даже перешагивал верхнюю ступеньку, а сейчас на «флажке».

– А дальше?

– Дальше вообще можно просто лежать на арене и ничего не делать.

– Не понял.

– Ничего не делать. Только лестницу на ногах держать.

– А Милягин?

– Ему предлагают какой-то высокий пост. А номер братьев Милягиных, я считаю, должен жить... Вспомнил...

Он высунул из кармана блокнот, аккуратно выдернул из него несколько листочков, на всех поставил свой автограф и протянул Сергею.

– Что это?

– Визовки, по которым ты пройдешь в любой день в любой цирк в директорскую ложу.

Сергей посмотрел на «визовку». Вверху ее крупным типографским шрифтом было напечатано: «Народный артист СССР Милягин Геннадий Трофимович».

– А не рано?

– На днях должен выйти указ.

– Спасибо. Не страшно держать всю эту пирамиду?

– Здесь я бы не сказал: проще пареной репы. Тут какое-то другое чувство, которое я не могу тебе объяснить. Если страшно, то не суйся в номер.

– Володя, за твое здоровье.

– И за твое.

Официант принес блюдо с пловом.

– А! Уже все равно. Руками так руками.

– А кто такая Галя?

– Понравилась?

– Красивая женщина.

– Дочка.

– Чья?

– Начальника.

– Какого?

– Лагеря.

– Да какого такого лагеря?

– Социалистического.

– Ты что, Ходок, опупел, что ли?

– Честное слово. Зуб даю.

– Принцесса цирка?

– Королева. За Гаю!

Выпили. Сергей посмотрел на узбеков. Те ловко скатывали шарики из плова и с удовольствием пожирали их. Связался с этим циркачом! Эх, была не была. Он запустил руки в блюдо с пловом.

– Раньше, Серый, куда ходили архонты и геронты?

– Ты уже на древнегреческий перешел?

– О чем это ты, а... У нас их так называют. Раньше они ходили в Большой. А вот теперь в цирк. Причем благодаря Гале во многом, конечно. Цирковые ее любят. Она добрая, душевная и в цирке разбирается. Наш иллюзионист влюбился в нее в 17 лет.

– И сейчас живут?

– С ума сошел, Серый! Галя сейчас жена Геннадия Трофимовича.

– Я смотрю, у вас в цирке не соскучишься.

– Это точно. Одно слово цирк. Зато смотри, сколько цирковых стало народными.

– А ты?

– Ну, у меня, наверное, потолок – заслуженный, да и то бабушка надвое сказала.

– Давай за заслуженного.

– За... За... наливай, Серый.

Кофе в памяти не сохранился.

Швейцар в халате и тюбетейке, а может, и не швейцар, а может,

совсем и не в халате, вызвал такси, и такси развезло их: одного в «Арену», другого в одну из гостиниц ВДНХ. Когда утром Сергей полез в бумажник, он не досчитался определенной суммы и сообразил, что таксист их изрядно покатал по Москве. За ужин ведь платил Володька. Выпив в буфете кофе, Сергей купил в вестибюле свежую газету и сразу обратил внимание на небольшую заметку на последней странице: «Пунш не вышел». Он прочел: «Вчера вечером в цирке на Цветном бульваре произошло ЧП. Во втором отделении в номере «Тигры в море» должны были выступить со своими питомцами дрессировщики Марго Базарова и Казимир Костин. Из-за неожиданной болезни М.Базаровой всю тяжесть номера взял на себя К.Костин. К сожалению, тигры привыкли работать на арене исключительно с М.Базаровой. Ее любимец Пунш отказался выйти из загона. Остальные животные устроили форменный бунт прямо на арене. Номер пришлось отменить».

Володька как в воду глядел.

До захода в редакцию просто необходимо съесть мороженое и выпить минералки. В одном из кафе-мороженых недалеко от ВДНХ он привел себя в нормальное физиологическое состояние и поехал в центр. В течение рабочего дня он покончил с редакционными визитами и поехал в «Арену», предварительно купив бутылку коньяку и огромную коробку с шоколадным набором.

В Володькином номере уже стоял дым коромыслом. Номер был вполне приличным по советским меркам. С балконом, ванной и туалетом, но он был, как ни странно, совместным, т.е. через открытую дверь просматривалась другая небольшая уютная комнатка вроде бы тоже с отдельным выходом.

На столе стояли бутылки с закуской. Сергей отметил, что бутылки не наши. Похоже, французские. Пирующих было человек шесть. Рядом с Володькой сидела Рада, и надето на ней было чуточку больше, чем на арене.

– А вот и Серый подошел. Знакомьтесь. Сергей. Лучший друг моего детства.

Сергей поставил коньяк на стол и преподнес коробку конфет Раде.

– Спасибо, Сергей. Я безумно люблю эти конфеты, хотя и не ем, – сказала Рада, обратив на него свою стационарную улыбку. – Нельзя мне. Но вашу коробку я сохранию и буду есть конфеты,

хотя бы по одной, раз в неделю.

Она открыла коробку, потрогала пальчиком несколько конфет, вздохнула, не теряя улыбки, и...

– Как я вам вчера понравилась?

– Я красивых таких не видел.

– Правда?

– Правда.

Рада ушла с коробкой в смежную комнату, оставила ее там и вернулась.

Компания действительно пила французское вино, которое, как оказалось, им прислал коллега по арене из Монтекарло, где братья несколько месяцев назад выступали с огромным успехом. Разговор шел о вчерашних «Тиграх в море». Сергей показал газету.

– Читали, читали. Вчера был прямо бой в Крыму, все в дыму, ни хрена не видно.

Сергей поморщился. Рада не реагировала.

– Пунш бежал последним. Все тигры выскочили на арену и с жутким рыком шлепнулись в воду. А Пунш остался в загоне и ни туда и ни сюда. Сидит – огрызается. Его и першами снаружи тычут, и хлыстом щелкают. Не реагирует. А те вылезли на барьер арены, дрожат, рычат и вот-вот сожрут Казика.

– Картина жуткая. Казик по колено в воде с хлыстом и пистолетом. Тигры вот-вот... Ассистенты молодцы! Пальба! Дым! Хлысты! Еле загнали полосатых обратно.

– Да чего там говорить. Придурок.

– Теперь срочно надо собирать второе отделение.

– Соберут.

Сергею налили штрафной стакан, и он почувствовал, что начинает вписываться.

Володька сидел рядом с Сергеем, зачалив красавицу за талию.

– Как здорово, Райка, что у нас с тобой сегодня совместный номер.

Сергей тихо спросил соседа:

– Чего он ее Райкой называет?

Тот на ухо ему ответил:

– Так она же Раиса Граненко из Киева.

На Радином лице уже не было улыбки, и девушка казалась сама не своя.

– Володя, ты знаешь, как я к тебе отношусь, и знаешь, что не

о таком совместном номере с тобой я мечтаю. На месяц. А что дальше-то? Я в Калининград, а ты во Владивосток со своими номерами? И потом неизвестно, когда наши маршруты совпадут в будущем.

– Рада, я хочу...

– Хочет он!

– Рада, хочу! И сейчас докажу тебе свою любовь.

Изрядно выпивший Володька взял из ящика в углублении бутылку, сбил ножом сургуч, выбил пробку о подошву ботинка и с бутылкой пошел на балкон. Он забрался на достаточно узкие перила балкона, принял позу, запрокинул голову и...

– Рада, я люблю тебя! За твое здоровье!

Он нескончаемо долго тянул из горла.

Сергею же бутылка показалась бездонной.

Наконец Володька спрыгнул с перил.

– Дурак, – сказала не улыбочивая Рада, ушла в свою комнату и с грохотом защелкнула внутренний замок, судя по звуку, щеколду.

– Ты прямо Долохов, – сказал Сергей.

– Кто это?

– Ты что, «Войну и мир» не читал?

– А я в школе до нее не дошел.

– А в кино?

– По-моему, в американском никакого такого Долохова нет. Да и давно я это кино видел. В детстве.

– А в нашем?

– Неужели ты думаешь, я пойду смотреть эту скукоту?

– Ну ты даешь, Ходок!

Грохнула щеколда, и из-за двери появилось серьезнее некуда лицо Рады.

– Совместный номер! Ты расскажи, расскажи Сергею, как ты Геннадия Трофимовича за меня просил. Совместный номер!..

Снова прогрохотала щеколда.

– Да, Володька, не проханже, кажется, тебе, – вразнобой заговорили собутыльники, наполняя стаканы.

– Володя, за твое здоровье!

– Пур ля мур, – пробормотал Ходоков.

«Да, «пур ля мур» как нельзя к месту», – подумал Сергей, а вслух спросил:

– О чем это Рада?

– О чем, о чем. Мне все время кажется, что верхней у нас могла бы быть девушка. Рада – лучше некуда. А у Геннадия Трофимовича понятие, что наш номер сугубо мужской. Ну, я и решил с ним поговорить. Приезжаю в цирк как всегда на велосипеде, а Трофимычу вожжа под хвост попала, он и заорал, что я, мол, не берегу свое здоровье, что на своем двухколеснике могу попасть в аварию и этим сорву номер и много еще чего приплел. Заорал, что лично сломает мой двухколесник, как только еще увидит. Я вижу, что возвращаться к тому разговору бесполезно. Давай, давай, поговорю с ним потом, когда остынет.

– И чего дальше?

Володька полез лобызаться.

– Серый, ты меня уважаешь?

– Об чем речь.

– Друг ты мой сердечный. А ведь я говно. И в кого? Все испортил назавтра.

– Почему?

– Потому. Двухколесник он мне обещал сломать? Обещал. Так я на следующий день в цирк прикатил на моноцикле.¹

– И чего?

Володька сделал «козу» из двух пальцев и, обратив эту «козу» в сторону Радиной комнаты, проговорил:

– Моноцькэл цыкал, цыкал и Граненую зацькал.

– То есть?

– Он изуверски, с особым цинизмом разломал мой лисапед и сказал: «Насчет прошлого разговора. Я решил, что номер останется чисто мужским».

– Так он скоро уходит в начальники. Вот тебе и карты в руки.

– Бабушка надвое сказала. Саша, приволоки еще бутылку.

– Володя, все уже. Финал.

– Переходим на коньяк.

Володька дрожащей рукой, расплескивая, неловко разлил коньяк по стаканам.

Сергей провозгласил тост:

– За здоровье рекордсменов цирка, братьев Милягиных!

¹ Моноцикл – одноколесный велосипед.

Володьку развезло прямо на глазах. Он еле держался на ногах, с трудом подошел к Радиной двери... и рухнул.

Братья сочувственно забормотали:

– С устатку. Тяжело Володьке, – и перенесли его на кровать.

Потом они начали вяло переговариваться, кому идти за коньяком и куда. Сергей уже чувствовал себя ненамного лучше Володи, и, пока братья тупо спорили, он тихо и незаметно, чувствуя, что покачивается, вышел из номера. У подъезда взял такси, приехал к себе в гостиницу и свалился на кровать. Утром надо на поезд. Командировка оказалась та еще командировочка. Сплошной цирк.

Вновь в столицу он приехал примерно года через два. Специально решил пройти мимо цирка на Цветном бульваре. Огромное панно приглашало посетить цирк, где в эти дни шел мировой аттракцион «Сфера мужества». На панно яркими красками был изображен мужественный мотоциклист в шлеме, гонявший по стенкам прозрачной полусферы под самым куполом цирка.

«!!!Петр Яцкин!!!»

Сергей подошел поближе, посмотрел фотографии в витринах. Рады на фотографии не было. Зато на маленькой фотографии – братья Милягины. Все, но без Геннадия Трофимовича. Было видно, что старший в этой группе Володька. Фотографию наискось пересекала наклейка: «Только 5 дней!»

Сергей достал Володькину «визовку», пошел к администратору и получил пропуск в директорскую ложу.

Хорошо, что у него оказалось крайнее место. Он попробовал скрыться за портьерой, чтобы его не было видно с арены. Получилось. Хорошо. Мало ли как Володька прореагирует на его неожиданное появление. Особенно во время номера.

В первом отделении до братьев Сергею понравился изверг-иллюзионист в белых перчатках и цилиндре, который пилил, жег, четвертовал красивых девушек, от чего они становились только краше.

И вот:

– Эквилибристы-рекордсмены братья Милягины!

Братья выскочили на арену с теми же дежурными улыбками. Один новенький. А девушки нет как нет. Володя казался всех старше и серьезнее. Положение обязывает. Как ни крути, а он стал теперь гением баланса. Геннадий Трофимович нынче круп-

ный начальник в «Союзгосцирке». Молодец Володя, что сохранил номер.

Глядя на братьев, Сергей испытывал двойственное чувство. Он всем сердцем переживал за Володю чуть ли не физически. Ведь гением-то в цирковой иерархии считался не какой-то Владимир Ходоков, а Геннадий Милягин.

Володя сохранил номер до малейших деталей. Тяжесть всех пятисот килограммов легла на его ступни. И не только на ступни.

Да, карьеру Володька сделал не так, как другие. Не снизу вверх, а наоборот – сверху вниз.

Вместе с тем, несмотря на обычный восторженный прием братьев публикой, Сергей со стыдом за себя подумал, что ему почему-то скучно.

А, собственно, почему должно быть весело?

Ведь братья Милягины не клоуны, а какие-то коренные изменения в номере, рассчитанном даже не по миллиметрам, а по микронам, почти невозможны. Сергей в душе пристыдил сам себя и, почти что замотавшись портьерой, досмотрел номер до конца. Искренний восторг зрителей показался ему вполне обычным.

Он быстро написал записку: «Володька, я в директорской ложе. Приходи. Серый» и отдал ее одному из униформистов.

– Владимир Ходоков... Кто это?

– Один из братьев Милягиных.

– А, Володя. Ясно.

– Только очень срочно.

– Прямо сейчас и передам.

Сергею потребовалось выйти на несколько минут. Когда он вернулся, элегантный и странно посерьезневший Володя уже был в ложе.

– Серый!

Они обнялись.

– Молодец, что сохранил номер! Ну что, опять в «Узбекистан»? Не пойду. Хочу мировой аттракцион.

– Я тоже с удовольствием посмотрю Петра Никифоровича.

В это время униформисты выкатили огромную сетчатую полусферу и накрыли ею почти всю арену. Сверху спустили канаты, полусферу за края зацепили канатами и подняли над ареной. На арену выкатили и нижнюю полусферу, которая интригующе по-

качивалась и обещала захватывающее зрелище.

– Ты надолго в Москву?

– Завтра во второй половине дня уезжаю. Мне еще надо заскочить в пару редакций.

– Жаль. Не удастся встретиться на высшем уровне.

– А после представления?

– У меня свидание.

– С Радой?

– Пошел ты ... Раду с тех пор я так и не видел. Она все время на гастролях.

– Написал бы.

– Писал. Ни ответа, ни привета. Хотя вполне возможно, что письма ее просто не застают. Она ведь больше месяца нигде не задерживается.

– А в Москве бывает?

– Отстань! Я в это время не бываю.

Униформисты тем временем наклонили нижнюю полусферу, и в нее на велосипеде въехала девушка в цветастой безрукавке и коротких шортиках. Она смело начала штурмовать стенки прозрачной сферы по вертикали. Причем делала это красиво и вроде бы совсем безуспешно, пока вроде бы приглядываясь и примериваясь. Немного покатавшись, девушка выехала из наклоненной чаши за кулисы.

– Что-то ты задумчивый какой-то, Володя?

– Да не. Я обычный. Особых мыслей в башке нет. Хотя как сказать. Сколько мы еще протянем братьями Милягиными?

– Думаю, что вы еще повыступате.

– Повыступаем. Это точно, – Володя вздохнул. – Силищу чувствую в себе агромадную. Такую, что ума не надо.

– Вот и выступайте.

– Вот и будем.

Володя вырвал из записной книжки листочек, записал номер телефона и передал Сергею:

– А может, не уедешь завтра. Тогда звони.

Началось второе отделение.

– Сфера мужества! Семейный номер Яцкиных!

В нижнюю полусферу с флагами на мотоциклах выехали двое мужчин и одна женщина. Дама была одета так же, как и мужчины:

кожаная куртка, галифе, сапоги, краги, шлем, но в ней чувствовалась какая-то мягкость, несмотря на то что она носилась по прозрачным стенкам сферы не хуже мужчин. И цветная девушка на велосипеде продолжала свои выкрутасы. Сергей весь был в напряжении. Как ее только не собьют эти мастодонты парковых гонок по вертикальной стене.

И вот верхняя полусфера полностью накрыла нижнюю, и один из мотоциклистов сделал «мертвую петлю». Зал взорвался аплодисментами, несмотря на жуткий грохот и треск ревущих моторов. Но вот что удивительно, отметил Сергей, дыма и гари почти не было. Что у них там за горючее такое?

Вдруг двое мотоциклистов и велосипедистка оказались на дне сферы, а один, самый мощный, развив бешеную скорость, вырвался на стенки верхней полусферы, которая вдруг медленно начала подниматься под купол цирка. Нижняя полусфера с мотоциклистами и велосипедисткой медленно поехала за кулисы. Петр Яцкин совершал свою уникальную рекордную гонку под куполом цирка.

Оркестра не было, да если бы и был, кто бы его услышал. Только осветители ловили лучами софитов мужественного рекордсмена.

После нескольких минут гонки полусфера как-то странно накренилась, потом встала на место, потом – снова тот же легкий крен.

Володя тихонько выматерился.

– Ты чего, Ходок?

– А то не видишь.

– Не соображаю.

– Они собираются шар опустить, а там что-то заело. Скорее всего веревка с блока сорвалась. Ну ладно. Ты сиди, а я пойду подумаю.

Не прошло и минуты, как по канату вверх к куполу начал легко взбираться Володя с кинжалом в зубах, как показалось Сергею. А может, это просто была отвертка. Володя, как ни странно, был в белых перчатках. Осветители сразу направили свои лучи на Володю. Он взбирался по закрепленному внизу туго натянутому канату, и, когда добрался до верха, оказалось, что он не достает инструментом до блока. Внизу униформисты, увидев это, освободили канат. Володя, слегка покачавшись, закрепил ногу в петле, немножко раскачался, приблизился к блоку и начал работать инструментом. При адском треске мотора мотоциклист двигался с

постоянной скоростью, прямо и только прямо.

Наконец у Володи получилось, и он начал спускаться. На радостях спуск пошел с бешеной скоростью. Все-таки Володя сумел погасить скорость, нормально спустился на арену и через несколько секунд сидел уже рядом с Сергеем.

– Слушай, нигде не мог найти за кулисами рабочих рукавиц. Пришлось три пары белых перчаток у иллюзиониста стирать. Опять ныть начнет, что Милягины у него то жену, то перчатки уводят.

Он показал руки. Нитяные перчатки были протерты до ставших багровыми ладоней.

– Ерунда. До завтра заживет.

Полусфера с ничего не подозревающим гонщиком медленно начала снижаться. Вот она уже накрыла арену, и Яцкин, сбавив обороты, делал медленные круги по арене. Полушарие снова начало медленно подниматься. И тут на арену выскочило все семейство и бросилось на шею недоумевающему Яцкину. Женщина, очевидно жена, что-то шептала ему на ухо.

Вышел шпрыхсталмейстер. Яцкин подошел к нему и что-то сказал.

Шпрыхсталмейстер торжественно провозгласил:

– Народный артист Российской Федерации Петр Яцкин.

И после паузы...

– Артист цирка Владимир Ходоков-Милягин.

Сергей толкнул Володю в бок. Тот вышел на арену и встал рядом с Яцкиным. Гонщик обнял его, потом, как рефери в боксе, поднял вверх его правую руку.

Народ неутомимо аплодировал. Теперь уже стоя.

Сергей широко улыбался, что все так счастливо кончилось. Улыбался еще и потому, что цирковой псевдоним Володи оказался безумно смешным. Ходоков-Милягин. Это надо придумать.

Финального парада-алле не было, и Володя тотчас же снова пришел к Сергею.

– Не уезжай завтра. Вечером Никифорович приглашает в «Прагу». Эх, и гульнем! У него завтра последний день выступлений.

– Володя, никак не могу. Теперь уже до следующего раза.

– Да когда он, следующий раз, будет! Неизвестно.

– Нет, не уговоришь.

– Ну, тогда прощай! Я бегу на свидание.

И Володя быстро ушел. Сергей поехал к себе в гостиницу.

На следующий день у Сергея было назначено деловое свидание в редакции журнала «Полет» с членом редколлегии смешливым космонавтом Пшенкиным. Сергей собирался предложить «Полету» свою статью о жизни дальнего летного гарнизона. Редакция помещалась в центре Москвы в одном из старинных и еще пока не испорченных новыми наворотами переулков. Сергей зашел в вестибюль кажущегося безлюдным особняка и уверенно пошел на запах хорошего кофе. Запах привел его в пустую редакционную приемную. Запах доносился из соседней двери, которую и открыл Сергей.

В уютном кабинете за столом с чашкой кофе в руке восседал Пшенкин, а перед ним, почти утонув в кресле, сидел и уважительно слушал космонавта... Володя.

Пшенкин кивнул Сергею и показал на кресло сбоку у стены. Сергей сел и с огромным удивлением вслушивался в речь космонавта.

– Честно скажу вам, Владимир Николаевич, и без лести. Много я повидал у себя в редакции всяческих авиационных фотографий, но такой роскоши, какую представили вы, не видел. У вас явный талант на съемку именно летательных аппаратов. Причем самое интересное: в статике ваши самолеты настолько живы и эстетичны, что ими просто можно любоваться, не зная, да и не желая знать их технических параметров... А запуск космических кораблей вам не приходилось снимать?

– А кто меня туда пустит?

– Теперь я. Мне кажется, что вы не только увидите, но и почувствуете поэзию настоящей космонавтики.

– Георгий Иванович, мне иногда трудно попасть даже и на авиасалоны.

– Здесь без проблем. Я прямо сейчас выпишу вам удостоверение внештатного фотокора «Полета». Да... Все ваши снимки я беру в портфель редакции. Что-то напечатает, что-то нет. Естественно, за публикацию выпишем гонорар. Постараюсь по максимуму. Так что творческих вам успехов. За приглашение в цирк спасибо. Как-нибудь в ближайшие дни выберемся с женой.

– Жаль, что не сегодня. У нас сегодня последнее выступление в этот приезд в Москву.

– Ничего. Постараюсь и вас увидеть. Приедете, звоните. Обязательно.

Володя встал с кресла, попрощался с Пшенкиным и тут только увидел Сергея.

– Привет, Сережа. Если ты недолго, то я тебя подожду.

– Я только материал отдам Георгию Ивановичу.

Сергей передал статью, распрощался с космонавтом и вышел в вестибюль, где ждал его Володя.

– Ну, ты даешь, Ходок. Я даже и подозревать не мог в тебе подобных талантов.

– Да какие там таланты. Еще в Японии на всю валюту, ребята кое-что добавили, купил дорожную камеру «Никон». Черт его знает зачем. Целый год мне за огромные деньги инструкцию переводили с японского. Потом случайно попал на авиасалон в Жуковском. И поехало.

– Я помню, ты еще в школе начинал ходить в фотокружок, который директор вел.

– Он меня породил, он меня и убил.

– Как это?

– Он мои фотографии хвалил-хвалил, а потом взял и выгнал из кружка.

– А ты вспомни, как ты учился. Неудачников тогда в кружки не брали. Или заставляли их подтягиваться.

– Да ладно. Не будем о грустном.

– Володя, почему самолеты, а не, скажем...

– Молчи. Ты бы полежал на арене каждый вечер!

– Да, но так лежать, как лежишь ты, не может никто в мире.

– Подумаешь. Мне что-то другое надо.

– А что?

– Вот кому я завидую. Волжанским. Видел их номер «Прометей»?

– Видел.

– Помнишь? Раз!.. Полет... И под куполом цирка!

– Представляешь ли ты себе, что человек может летать только в цирке, а я лежу как дурак на арене.

– Зато ты сохранил уникальный номер.

– Да уж. Что есть, то есть. И буду держать его, пока сил хватит.

– А потом?

– Что ты пристаешь ко мне со своим «потом». Не думаю я об этом. Хоть в акробаты на подкидных досках. Так что вылечу я из цирка в самом прямом смысле кажется. По-моему, Серый, только

сейчас ко мне, лежащему на арене, и пришло чувство полета.

– Володя, мне очень не хочется с тобой расставаться, но у меня через два часа поезд и мне надо собраться.

– Да сдай ты свой билет, и вечером заваливаемся с Никифоровичем в «Прагу».

– Честное слово, не могу.

– Ну что ж. До свидания. Надеюсь, ненадолго. В случае чего, о моих передвижениях узнаешь в конторе «Союзгосцирка» на Пушечной.

– Ладно. Пока.

И они расстались.

Прошло еще много-много лет, и Сергей потерял уже всякую надежду когда-нибудь увидеть Володю. Он никогда больше не встречал его имени на афишах и не слышал о братьях Милягиных ни слова. Номер очевидно распался. Как-то заходил и в «Союзгосцирк» поинтересоваться судьбой артиста Владимира Ходокова. Нашли его карточку в картотеке. Братья Милягины провыступали после того свидания еще пару лет. Володя недолго проработал с акробатами на подкидных досках братьями Радунскими... Дальше его след терялся. Примерно лет пятнадцать о нем никто и ничего не слышал.

Исчез Володька. И, наверное, навсегда.

Сергей уже серьезно подумывал о пенсии. Осточертело выполнять редакционные задания. Хотелось писать о ком хотелось, а не о ком прикажут. Но, к сожалению, деньги в стране, которая вновь стала называться Россией, никто не отменял и, похоже, не собирался. За все эти долгие годы Сергея зачем-то потянуло в маленький поселок, где он когда-то окончил школу. Взял и поехал. Разумеется, что никаких знакомых там он не намеревался встретить. Просто он вновь захотел увидеть место, где прошло его детство.

Он неплохо устроился в двухэтажной деревянной гостинице с буфетом. Приятно, что в крохотном отеле есть водопровод и канализация. Чего тут не жить.

Он вышел на улицу, и, несмотря на с детства вдолбленный в его голову научный и ненаучный атеизм, ему чуть ли не впервые в жизни захотелось перекреститься. Навстречу ему шел элегантно

нейший из элегантнейших, этакий плейбой на пенсии, Володька Ходоков. В жутко широкополой шляпе, кожаном укороченном пальто, из-под которого виднелись темные расклешенные брюки с крупными вышитыми цветами. На ногах у него были какие-то шузы на толстой платформе. На лице у Ходока, правда, залег ряд морщин, но вид у него был что ни на есть клевый.

«Интересно, а как я выгляжу в его глазах?» – подумал Сергей и решил не признаваться.

Рядом с Володькой шла относительно молодая женщина, прикид которой казался несколько менее вызывающим.

Сергей поравнялся с парочкой, сделал равнодушный вид и якобы намеревался пройти мимо.

Не вышло.

– Серый? – тихо и почти вопросительно проговорил Володя.

– Я. Куда же ты, Володька, пропал?

– Никуда. Как ушел с арены, так и приехал домой. Папа с мамой оставили мне двухкомнатную квартиру в пятиэтажке. Вот я здесь и прописался. Уже больше десяти лет.

– Жена? – почти прошептал Сергей Володьке на ухо.

– Герла, – так ответил ему Ходок.

– Наташа, – дама протянула Сергею руку.

– Сергей.

– Ну, старичок, надо куда-то пойти отметить встречу. Есть два места. Одно из них – ресторан «Трюм», но туда с девушками не спускаются. Они там в меню расписаны. А у нас с собой прихвачена. Хорошее кафе когда-то «Паритет» было. Сейчас, правда, забегаловка, конечно, но туда можно с собой прихватить.

– Ты меня совсем запутал. Кого? Что?

– Бутылку.

– Прихватим.

– Да, и вполне возможно, что нам повезет... Помнишь рыбные котлеты нашего детства? Так вот, если сегодня работает Елизавета Егоровна, я попрошу ее соорудить.

– А если нет?

– А если нет, то придется есть то, что разогреют в микроволновке.

По пути они зашли в магазин и купили бутылку. Конечно, водки. По такому случаю.

В кафе Сергей с Наташей сели за столик, а Володя сразу пошел к окну раздачи.

– Елизавета Егоровна, какое счастье вас видеть в этом чудном ресторане. А ко мне друг приехал. Одноклассник. Так что ваши фирменные.

– Об чем речь, Володечка. Фарш я уже приготовила. Так что без проблем. Возьмите пока салатики какие-нибудь да рыбки красной, а там и котлетки поджарятся.

– Натаха, тебе сухого взять?

– Взять.

Володька заставил стол закусками, принес Наташе бокал вина, достал бутылку, отвинтил пробку и налил грамм по сто. Бутылку в лучших советских общепитовских традициях убрал, чтобы ее не было видно.

– Володя, а как ты ушел из цирка?

– Как и предполагал. Вылетел. После того как братья, мои дорогие Милягины, распались, я немного поработал с Радунскими. Попрыгал на подкидных. Сам не знаю почему, но отношение с новым цирковым начальством у меня не сложились, и мне настолько все осточертело, что на последнем своем выступлении я прыгнул, полетел в директорскую ложу и плюхнулся рядом с директором. На следующий день я был уволен, и мне предложили оформить пенсию, что я и сделал. Ну... и приехал домой. Вот и все. Вздрогнем!

Вздروгнули.

Наташа молча и восхищенно слушала Володю.

Сергей подумал: «Какая чудная женщина. Ненавязчивая. Вроде и любит его беззаветно. А он ее? Как-то непонятно».

– Иван Яковлевич жив-здоров?

Наташа подала голос:

– Володя, расскажи, расскажи. Это было так здорово!

– Года два назад умер. Я заходил к нему пару раз в гости. А первая встреча была такая. Иду по улице. Только приехал. Навстречу Керя. Постарел конечно, но еще вполне. Походка еще больше боцманской стала. Этакий «моряк вразвалочку сошел на берег». Идет и говорит: «Вижу, Володя, что капитаном ты не стал. А кем же?» А я его спрашиваю: «Куда Вы идете, Иван Яковлевич?» – «В магазин». – «Держите». И подаю ему свою шляпу. А сам

на руках, немножко враскачку ногами, ну как Керя ходит, шлеп-шлеп, вместе с ним по мосткам тесовым вдоль деревни. Все руки потом в занозах были. Понял и говорит: «Я тебе это и предрекал. Ты доволен?»

Володя замолчал, потом пошел к окошечку и принес котлеты, которые, как справедливо выразился один классик, ну прямо как счастливое детство.

Сергей повторил вопрос Ивана Яковлевича:

– Ты доволен?

– Не знаю... Если бы знать.

– По-моему, пора выпить за даму. За вас, Наташа... А Пшенкин?

– Что Пшенкин? Журнала «Полет» давно уже нет. Пшенкин так же меня хвалит. Иногда просит прислать фотографии. Публикует примерно раз в два года. А у меня сейчас скопилось, наверное, самая полная самолетная коллекция в России. Никому это сейчас не нужно.

– На авиасалоны едешь?

– Иногда. Когда денег поднакоплю.

– Как же ты, пенсионер, ухитришься их накопить?

– Грибы и ягоды в августе-сентябре сдаю. Иногда, впрочем, редко, и рыбу на продажу ловлю. Сам знаешь, что на одну пенсию не проживешь.

– Сергей, Володя ведь мемуары начал писать о цирке.

– Ну, мемуары не мемуары, а скорее всего нечто вроде повести.

В мемуарах вроде бы привирать нельзя, а в повести можно.

– Разве?

– Ну чуть-чуть-то можно. У меня тут даже небольшая библиотека по цирку образовалась. Все, что выходит, стараюсь выписывать.

– Володя всю нашу районную библиотеку прочитал, – вставила Наташа.

– Всю не всю, а кто такой Долохов был, теперь знаю.

– Ну и кто?

– Про Долохова не скажу, а про себя могу сказать. Дурак был. Хотя как сказать...

Наташа на некоторое время вышла. Володя снова налил по сто.

– Натаха курит, а я так и не научился... Раду помнишь?

– Незабываемая девушка.

– Разыскала меня. Уж не знаю как. Прошлый год в гости пригласила в Киев. Натахе сказал, что на авиасалон еду.

– Доволен, что съездил?

– Серый, как я могу быть доволен! Рада уже бабушка. Здоровенная такая хохлушка. Муж крупный чиновник. Как-то остались мы с ней вдвоем, она припала ко мне на плечо и говорит: «Володька ты Володька, ну почему ты не сделал со мной совместный номер?» И в слезы. Все плечо мне вымочила.

– Рада такая же улыбчивая?

– Ты что! Серьезнейшая тетка. Только когда встретились, рот был до ушей... Потом закрылся.

Вернулась Наташа. Володя еще принес бокал вина и стоя провозгласил тост:

– За милых дам!

Мужчины встали, чокнулись с Наташей, вспомнили каждый свое, и в этом своем хочешь не хочешь, а присутствовала и Наташа.

Из раздаточного окна высунулась Елизавета Егоровна:

– Володечка, съешьте еще по котлетке!

– С удовольствием.

– Сейчас пожарю.

Сергей почувствовал во всем теле приятную теплоту, разлившуюся от приятного сидения в «Паритете» с Володей и Наташей. Он порадовался за Володю: «Вроде бы хорошая женщина ему попала».

– Сережа, завтра обязательно приходи ко мне в гости. Вот номер телефона. Я тебе почитаю что-нибудь из своей повестушки.

– Хорошо.

Друзья допили водку, съели еще по котлете и разошлись. Сергей почувствовал, что ему необходимо отдохнуть.

Назавтра он позвонил Володе и вечером направился в гости. Зайдя в подъезд, он увидел замечательную картину. Он уже чуточку познакомился с Володькиной подругой и особо не удивился бы, увидев ее, в подъезде у окна, под которым прямо кипела батарея, с сигаретой в зубах, в одном коротеньком халатике, надетом, похоже, прямо на голое тело. Удивила какая-то странная комфортность Натальиной неуютности. На подоконнике стояли: хрустальная пепельница с несколькими тонкими коричневыми длинными окурками, круглый кофейник с остатками кофе и красивая чашка

тонкого фарфора с крупным иероглифом, которую циркач привез из каких-то своих давних гастролей. Может, даже и из самого Китая. Зад Натахи покоился на изящном стуле с резной гнутой спинкой. Сама же Наташа проливала горячие слезы. Если бы не эти слезы, то Сергей подумал бы: «Хорошо, но как-то странно устроилась девица. Прямо цирк какой-то. А что еще от них с Володькой ожидать?» Но он ничего такого не подумал, а просто сказал:

– Привет, Наталья.

– Здравствуйте, – и подняла на него свои лучистые глаза в цветных подтеках.

Похоже, капитально накрутилась девушка, и все насмарку.

– Это вы звонили ему минут пятнадцать назад?

– Я. А что?

– Вы что, будете делать с ним совместный номер?

– Не понимаю. Какой номер? Ничего не понимаю.

– Он мне сказал, что сейчас придете вы, а со мной совместный номер у него, похоже, не получится. И чтобы я вам с ним не мешала и не совала свой нос в ваши разговоры.

– Вот ведь сволочь какая. Пошли обратно. Забирай свои вещишки. Стул я возьму. Будет у вас с этим придурком совместный номер. Обязательно будет!

Они поднялись на лестничную площадку, и он нажал кнопку звонка. Володька открыл дверь и чуть посторонился. Видно было, что он в хорошем настроении. Он пожал руку Сергею и присосался к Наталье:

– Натаха, ну вот такое я говно. Не сердись, маленькая.

За спиной у Володьки во всю стену глянцево блестел баннер с полубнаженной воздушной гимнасткой на трапеции во весь рост, с улыбкой до ушей. Девушка чем-то слегка напоминала Наташу, но была гораздо выше ее ростом, да и, пожалуй, чуточку прекраснее и помоложе.

А может, это просто фотография так была увеличена и отрегулирована.

о. Кижы,
июнь, 2007

БАННЫЙ РАЗЪЕЗД

Рассказ

Борису Щедринскому

Напрочь вышибло из памяти наши летние походы в баню, меня, папы и дедушки. Вышибло, наверное, потому, что медленное шествие слепого с обычной, едва оструганной толстой палкой в руке, которая, впрочем, не выполняла своей роли, так как его поддерживали с одной стороны – явный инвалид, странно высоко поднимавший ноги, а с другой маленький подслеповатый мальчик – мало доставляло удовольствия шествующим. Идти до бани было не так уж и далеко. Всего-то километра два, но мне, быстрому по своей сути, поход этот представлялся величайшим занудством, тем более что тесовые, а точнее дощатые, мостки на поселковых улицах зияли щербинами, и здесь наша компания целиком полагалась на зоркие глаза папы, который мог ходить только очень и очень прямо, казалось, высоко выпячивая грудь, так что все изъяны мостовой он видел далеко вперед. При ходьбе ноги папы высоко поднимались в коленях, как при парадном шаге полностью экипированного воина из некой фантастической армии не менее фантастического государства.

Сейчас я все время пытаюсь ответить на вопрос: почему же я ничего этого не помню и, наверное, что-то пытаюсь придумать. Хотя чего тут придумывать? Особого интереса и радости летние походы в баню мне, маленькому, очевидно не доставля-

ли. А детство свое, как все нормальные люди, я воспринимал, да и сейчас воспринимаю как исключительно интересное и счастливое, несмотря на постоянные болезни (почти каждый Новый год, майские и октябрьские я проводил в постели), потому что люди, которые окружали меня, любили просто так, ничего не требуя взамен. В более зрелом возрасте такая любовь тоже встречается. Но только избранным. Причем избрание это никак не зависит от реальных или мифических заслуг любимого или любимой. Были, конечно, и такие, которые не очень любили. Их было несоизмеримо меньше. Но ведь и я был иногда сам хорош. Вредничал. Впрочем, только так, как мог вредничать любой ребенок, эгоизм которого не отличается особой уникальностью.

И в какое такое время суток мы шли и шли, днем ли, утром ли, вечером, напрочь стерлось в памяти моей навсегда и никогда не проявится.

Зато зимой!

Уже с вечера мама собирала белье, выдвигая по очереди ящики комода: дедушкин, папин, мой, и в три холщовых мешочка распределяла наши рубашки, кальсоны, носки. По дому распространялся приятный аромат от каких-то травок, которыми было проложено белье. Аромат был гораздо приятнее маминых любимых духов «Красная Москва». Позже я узнал, что это была лаванда. Она пахла в комодке много-много лет. Травку прислала одна знакомая из Крыма, с которой мама познакомилась еще до войны. А еще мне нравился тайный запах нашего дома, когда я открывал нижние ящики двойного гардероба. Тотчас же распространялся аромат еще той старой сапожной мастерской. Сейчас этот запах исчез полностью. Как классы. Я имею в виду рабочих, крестьян и старую милую буржуазию. Нижние ящики гардероба были заполнены большими кусками отлично выделанной натуральной свиной кожи: и на низы, и на верхи. Дедушка купил ее перед войной на пошив хорошей обуви для всей семьи. Обувь после войны на заказ никто не шил. Впрочем, никто и не заказывал. Куда уж потом делась эта кожа, я не

знаю, но, когда я оставался дома один, я с упоением вдыхал ее аромат. Один, потому что мне строго-настрого было запрещено открывать ящики и гардероба, и комода. В одном из ящиков комода под бельем были спрятаны фотографии, которые я любил разглядывать в одиночестве. Там были фотографии бабушки и бабушки, дружных, молодых, счастливых на фоне города, который сказочно прозывался Чембаром, и на веранде двухэтажного богатого дома в неких Тарханах у самовара. Рядом с самоваром сидел маленький папа. Таких счастливых дней в году у меня было всего один-два, потому что дома постоянно были дедушка с бабушкой. А если дедушке куда-то было надо, в контору или в парикмахерскую, то с ним обычно ходил я. Потом мама делала клюквенный морс и разливала его каждому по бутылке, которые закупоривались настоящими пористыми пробками от вина. Иногда пробки были из черной резины. С ними не проливалось ни капли. Все три бутылки обертывались мятыми газетами и помещались еще в один мешочек.

Мама говорила:

– Завтра я вас разбужу без пятнадцати шесть. Иван Николаевич придет в начале седьмого.

– Мама, а мы в кофевке поедим?

– Не знаю, есть ли на конобозе сейчас свободные кошовки. Если есть, тогда да. Если нет, то на дровнях.

Я не любил ездить на дровнях. То ли дело в кошовке да рысью. Шик – блеск – красота.

Перед сном я приходил к бабушке, и он обязательно рассказывал мне сказку, которая всегда кончалась счастливо. А если я сомневался в подлинности освещенных событий, то мне выдавалось несколько реальных деталей этого фольклорного, так скажем, пиршества:

– Это он встретил лису, когда прокатился уже километра четыре на Тарханы. Ну там, где дуб столетний грозой еще, помнишь, когда Иван-Царевич стрелу пустил, разбило... И я там был, мед-пиво пил. По усам текло, да в рот не попало.

– Ф кем пил? Ф колобком?

– А с кем еще-то? Конечно, с ним.

От дедушки я уходил в нашу с мамой и папой комнату, ложился в свою кровать под теплое стеганое одеяло, на которое мама накидывала еще тонкое шерстяное корейское, которое из Кореи прислал дядя Миша, где он летал на военных самолетах с 1945 года.

Я капризничал, потому что мне было очень жарко, ночью раскрывался, и мама снова и снова подходила ко мне. Чаще всего это было не лишним, так как вечерний жар от голландки к утру при температуре на улице ниже тридцати бесследно улетучивался, и на блеклых обойных букетах восточной стены проступала легкая панбархатная изморозь.

Утром мама разбудила нас, как и обещала.

Началось бесконечное ожидание. Мы уже оделись, собрали большую хозяйственную сумку, потоптались по комнате (я уже несколько раз выбегал на крыльцо и выглядывал Ивана Николаевича. «Раздетый не бегай») и в одежде и в валенках сели, успокоившись, в ожидании за стол на зачехленные по тогдашней странной моде стулья. Я мечтал про себя, чтобы не только кошовка была, а и лошадь не «монголка» с коротким хвостиком (после войны на конобоз с Дальнего Востока привезли несколько десятков маленьких коренастых лошадок с почему-то подрезанными хвостами; комаров у них там летом поди-ка нет), а настоящий старый битюг Серко, любимец Ивана Николаевича.

Сам же Иван Николаевич ворвался без стука где-то около семи.

– Готовы? Сегодня вы у меня последние. Все уже в бане. Боренька, возьми кусочек хлебушка Серку. Да посыл хорошенько.

– Серко! Серко! В кофевке?

– В кошовке, в кошовке.

Я взял из пластмассовой хлебницы с крупной цифрой «800» кусок, густо посолил его и выбежал на улицу. Со всегдашним легким страхом я подошел к лошади и протянул ей на ладони кусок. Серко улыбнулся, фыркнул, брызнув слюной... у меня дрогнули колени... и нежно, еле касаясь губами ладони, взял хлебушко.

Папа тихонько вывел дедушку и осторожно усадил его в сани. Вот он сел и сам, попросив при этом меня подставить ему плечо, чтобы слегка опереться. Опора была крохотной, но папе ее всегда хватало. И вот папа и дедушка сидят в кошовке, уперевшись спинами в задок, а я не очень уютно, коряво пригнулся у их ног.

Иван Николаевич прикрыл нас попоной, так что у меня была видна только голова, сел на облучок, и ...

– Но-но, милый!

Через сарайный проезд мы выехали на главную улицу. И тут со стороны конобоза чуть ли прямо не в бок нам с мощным тпруканьем как вкопанный остановился ассенизационный обоз из трех ящиков-фур, снабженных черпаками, ломami и лопатами. На первой фуре сидел дядя Матвей Олонкин с вожжами в одной руке и куском краковской колбасы в другой. Остановившись, чтобы пропустить нас, он приветственно потряс над головой колбасиной, доставая другой, отпустив вожжи, откуда-то большую белую булку, явно намереваясь позавтракать. Эта странная манера фриштикать всегда поражала невольных свидетелей олонкинской трапезы.

– У него замашки старого московского извозчика. В одной руке калач, в другой – колбаса. Но ведь тот-то возил пассажиров, а этот – «золото», – говорила о говночисте Зоя Михайловна, папина сослуживица.

Наши хором поприветствовали обоз:

– Матвеем Ивановичем привет.

Пару раз дядя Матвей, вымытый до блеска, с розовой, как тельце у новорожденного поросенка, лысиной, в ситцевой цветастой рубашке, подпоясанный черным с красным крапинками шнурком, благоухающий дурманом тройного одеколona, заходил в гости к дедушке, и они вели разговоры о фэтонах, ландо, кабриолетах, пролетках, каких-то базах с неким дефицитом и о прочих скучных и непонятных для меня вещах.

Дядя Матвей выпивал графинчик водки, закусывая то тресковой печенью, выложенной на широкое старинное блюдо с

красно-синими цветами, то колбасным фаршем, ловко вытолканным из консервной банки, открытой сразу с двух сторон, аппетитно похрустывая соленым огурчиком. Дедушка пил только чай, ну разве что одну, а то и две рюмочки кагора, который постоянно водился у нас в доме.

Мне было вроде бы и неприятно, что дедушка водит знакомство с говночистом, но зато, как говорили, Олонкин огребал такие огромные деньги, каких не имел даже директор лесокombината. Одно слово – «золотарь».

Иван Николаевич хлестнул Серко, и мы весело помчались подалее от олонкинской команды.

Подъехав к длинной одноэтажной громаде бани, единственному каменному дому с горячей водой и батареями в достаточно большом поселке (водяное отопление, правда, было еще в конторе лесокombината), Иван Николаевич слез с облучка и начал громко барабанить в дверь. Дверь открыли, и мы вошли.

Иван Николаевич остался сидеть в кошовке.

В коридоре, обычно переполненном толпой, сейчас стояла гулая тишина. Даже наши валеночные шаги отзывались еле слышным вкрадчивым эхом. Зайдя в предбанник, я, заглядевшись, а скорее недоглядев, запнулся обо что-то и упал. Поднявшись, понял, что запнулся о нижнюю половину Федора Яковлевича. Верхняя отсутствовала. Уже была в бане. Запнулся по очень простой причине: раньше дядя Федя раздевался в глубине ряда банных шкафчиков, а сегодня почему-то с краю. В глубине были видны начальнические галифе в бурках. Рядом стояла массивная трость с металлическими кольцами. Это был низ одного из рыбооповских начальников дяди Леши. У пары шкафчиков на скамейке лежали две руки: одна страшная с железным крюком, иногда снившаяся мне по ночам, – дяди Кости (хорошо, что он здесь уже; поет); вторая нравилась мне гораздо больше – почти телесного цвета, с каждым выделанным пальчиком – рука дяди Гриши, начальника ЖКО.

Жаль, что однорукий любимец детворы дядя Илья Строкин ходил в баню вместе со всеми. Днем. Рука у него была отреза-

на по самое плечо. Мы, малыши, любили смотреть, как он коллет дрова. Легкий взмах топором, подцепит чурку – и на плаху. Хоп!

Чурка попадам.

– Дядя Илья, а эту, огромную, слабо?

Дядя Илья мощным взмахом вонзает топор в огромный чурак и с большим усилием ставит его на плаху.

Мы замерли.

Дядя Илья легко и красиво, тюк-тюк-тюк, начинает колотить чурак по краям, отслаивая ровные смолистые пластины, которые аккуратненько, как карты, ложатся у подножья плахи. До войны дядя Илья был молотобойцем. Теперь же он работал разнорабочим и поэтому в баню по утрам не ходил.

Мы считали его самым сильным человеком в поселке.

Я разделся, положил белье в шкафчик, сунул палец в дырку дверцы, слегка пошевелил им и закрыл внутри деревянную задвижку. Этот фокус из всех наших, да и других тоже, мог проделывать только я со своими тоненькими, но уже достаточно длинными пальцами. Потом я залез на лавку, достал сверху таз и пошел в мыльную. Первое, что бросилось в глаза: на дальней лавке, сидя боком ко мне, дядя Федя наяривал спину сидящего дяди Леши, который издавал столь радостное довольное похрюкивание, что нельзя было не улыбнуться. Я привык к тому, что у них было две ноги на двоих и никакого особого сочувствия или жалости не испытывал, тем более что люди они были по жизни веселые, добродушные, вечно подначивающие друг друга.

– А скажи-ка мне, Федор Яковлевич, у-ф-ф, сосчитал ли ты наконец или нет, сколько раз ты, х-р-р, Ленина-то видел? Ой-ой-ой. Полегче, полегче! До крови ведь натрешь! То я читал в «Беломорской трибуне», что пять, то недавно написали, что семь... Х-р-х... Человек ты грамотный, прочитал «Апрельские тезисы», пересказал своими корявыми словами, вот вроде бы и Ленина видел.

Я, несмотря на свой никакой возраст, уже знал, что Ленин – это самый главный и самый хороший человек, и верил доброму дяде Феде, что он его видел и слышал. А сколько раз, это так

трудно сосчитать.

– Чего ты ко мне пристаешь? Да эти тезисы я еще с броневика слышал, когда нас Керенский на Финляндский отправил Ленина встречать.

– Насмешил! Керенский – Ленина? Солдат? Ты хоть понимаешь, что говоришь-то? Почитай хотя бы историю партии! Там все написано.

Дядя Федя в сердцах бросил мочалку в таз. Багровая спина дяди Леши с темными шрамами предстала во всей красе.

– Да я твою историю... Мало ли что там написано? Служил я тогда в Петрограде! Служил! И мы сразу встали на сторону большевиков. Так что не считал я тогда, сколько раз его видел и слышал. На хрена мне было это считать! Не надо мне это было! Не надо!

– А сейчас понадобилось?

– Вам понадобилось! А мне нет!

Дядя Федя встал и запрыгал к своей лавке.

По утрам каждый из моющихся, кроме нашей семьи (мы все вместе занимали одну лавку), сидел на отдельной лавке, на краю рядом с кранами. Именно здесь можно было, не вставая, набрать таз воды и легонько со скамеечки под кранами, стоявшей на уровне лавки, двинуть его к себе. Днем же в переполненной бане занять место у кранов было весьма и весьма проблематично.

– Да ладно тебе, Яковлевич. Не обижайся. На сердитых воду возят.

– А чего обижаться-то? На дураков не обижаются.

Я хотел расположиться на нашей лавке, но из парной раздалось пение дяди Кости, причем он пел гораздо лучше, чем пели по радио:

*Вдоль по улице метелица метет.
За метелицей мой миленький идет.
Ты постой, постой, красавица моя.
Дай мне наглядеться, радость, на тебя.*

Я, правда, больше любил, когда он пел «Где ж вы, где ж вы, очи

карие, где же ты, мой родимый край...», но тем не менее, я поспешил в парную. Может, споет. Я был уверен, что «Очи карие» сочинил сам дядя Костя, напел Утесову, а тот записал песню на патефонную пластинку. Хоть бы он сегодня ее спел. И, не дожидаясь, пока придут наши, я открыл дверь в парную. Парная мне нравилась еще и потому, что совсем недавно я ходил в баню с мамой и она мыла меня горячей водой, что мне, конечно, не нравилось. А с папой я мылся более прохладной, но здесь обещал ходить ненадолго в парную, сидеть там на полке, если выдержу, и тереть-тереть себя до катышек, а потом – под душ.

В парной стоял густой обжигающий туман, и дядю Костю на полке было только слышно. Я полез к нему. Дядя Костя выдал последнюю руладу и сказал:

– Посиди, а я за водой спущусь.

Он вылил из таза, спустился вниз к кранам, набрал воды и, прижимая таз единственной рукой к животу, снова поднялся на полку.

– Дядя Кофтя, фпойте, повалуйфта, про очи карие... Повалуйфта.

Дядя Костя принял отрешенный вид, сел в позу и...

*Где ж вы, где ж вы, очи карие?
Где ж ты, мой родимый край?
Впереди страна Болгария.
Позади река Дунай.*

Мало того что мне было тепло, даже жарко, снаружи, милое сердцу тепло начало разливаться где-то в самой сути маленького меня. Я боялся только одного: вдруг да не выдержу. Выдержал.

И после песни в какую-то долю секунды сбежал из парной в мыльную. Под душ.

Наши уже сидели на своей лавке и мылись. Папа сидел ближе к кранам, дедушка посередине, а на моем месте с краю уже стоял полный таз.

Я постоял под прохладным душем и пошел плескаться в своем тазу.

– Боренька, не балуйся, а намыль мочалку и мойся сам, а я потом тебе спину потру. Сначала дедушке, а потом тебе.

Все мыслись какое-то время в полном молчании. Только дядя Федя иногда прыгал к душе, рассеивая из-под ноги мелкие брызги, отчего папа брезгливо, но без особой демонстрации, недовольно морщился. Дядя Федя включал только холодную воду и стоял под душем, слегка держась за трубу.

– Здравствуйте, товарищи сержанты и старшины!

Это вошел в мыльную стройный, смуглый до чернявости человек, вместо прически у которого было ну прямо вороново крыло, по-птичьи свисающее набок, – директор школы Соломон Дмитриевич, Соломоша, как обычно называли его школьники.

Дядя Гриша вскочил с лавки, клоунски приложил руку к виску, словно козырьку, а обрубком другой руки сделал вид, что хочет прикрыть свое мужское естество, но естество это никак не хочет прикрываться по вполне понятной и уважительной причине.

– Здравия желаем, товарищ еврей-то!

Позже, уже дома, когда я спросил у папы, почему он так проорал, папа сказал, что дядя Гриша гаркнул «ефрейтор», а «еврей-то» мне только послышалось, так как Соломон Дмитриевич в армии дослужился всего лишь до ефрейтора, а «еврей» – это национальность; вот мы, например, русские, а Соломон Дмитриевич – еврей. В ответ на это дедушка сказал, что нет никого лучше русского человека, на что папа заметил, что и хуже его никого нет.

Соломошу большинство школьников любило, а переростковое меньшинство, которое он время от времени исключал из школы, – нет. Именно оно и называло его евреем. А дядя Гриша почему-то просто не любил Соломона Дмитриевича, и нелюбовь эта так и осталась для меня тайной, разгадывать которую по прошествии времен скучно и бессмысленно. Соломон Дмитриевич дружил с папой и несколько раз приходил к нам в гости. Последний раз он заходил поздно вечером, когда я уже спал. Осенью я должен пойти в школу. Папа и мама, ко-

нечно, волновались за меня-школьника, не выговаривающего все шипящие и свистящие звуки. Соломон Дмитриевич сидел около кровати и грустно смотрел на меня. Я видел это краешком проснувшихся, но полностью не открытых глаз. Когда я их открыл, Соломон Дмитриевич широко улыбнулся и сказал:

– Спи, Боренька, спи. Я не хотел тебя будить.

Скоро, уже совсем скоро меня повезут в Москву, и в красивом доме с колоннами, перед которым стоит печальный, добрый каменный Достоевский, у подножья которого я набрал целый карман маленьких кафельных плиток, похожих на сахар-рафинад, в этом доме мне сделают операцию, чтобы я нормально заговорил... Не получилось... Тогда какое-то время меня будут учить говорить в логопедической лечебнице на Варварке. Мы будем выпендриваться друг перед другом, сидя у огромного зеркала, с веселым иностранным мальчиком Бодей, который вдруг окажется принцем Бодуэном. Но уже придет время ехать домой.

Я уеду с толстой тетрадью фонетических упражнений. Дома я сам себе буду корчить рожи перед зеркалом и заниматься этими самыми упражнениями. И вот незадолго до первого сентября я впервые без всякой шепелявости, сидя перед зеркалом, чисто и внятно произнесу:

– Костя ... сидит... на стуле...

Слома голову выбегу на улицу и, лупя палкой крапивные джунгли, что есть мочи буду орать:

– Костя! Сидит! На стуле!..

В Москву меня повезут по совету Соломона Дмитриевича и одной из папиных сослуживиц. Соломон Дмитриевич, проходя мимо нас, спросил папу, не надо ли ему потереть спину.

– Нет, мы, Соломон, сами. А тебе, если хочешь, я потру.

– Спасибо. Потом.

Соломон Дмитриевич набрал таз и начал мыть голову жидким мылом из красивого флакона. Таким мылом пользовался только он, единственный во всем поселке. Остальные мыли обычным туалетным. Глядя на омовение Соломона Дмитриевича, я невольно вспомнил нелюбимую женскую баню. У

соседки тети Маши были точно такие же волосы и примерно такая же прическа – вороново крыло.

Дядя Федя с дядей Лешей уже ополоснулись и попрыгали к душе, а мы еще намывались.

Папа потер спину Соломону Дмитриевичу, пошоркал меня, осмотрел дедушку, мы ополоснулись, постояли под душем, всполоснули тазы и пошли в предбанник. Там уже появился банщик дядя Володя. Он заглядывал во все шкафчики, наводил порядок, убирал обрывки газет и прочий мусор, которого почти не было, раскладывал просохшие деревянные решетки под ноги.

В дверь забарабанили.

– Это, наверное, Иван Николаевич.

Дядя Володя открыл.

– В таком же порядке... Сначала Федор Яковлевич с Алексеем Николаевичем... Готовы?

– Готовы, готовы.

– ...А потом вы.

– Ждем.

Дядя Федя с дядей Лешей, громко скрипя протезами, пошли к выходу. Дверь открыли с трудом и не очень ловко из нее выскользнули, дядя Володя тотчас же защелкнул задвижку. За дверью слышался недовольный шум толпы, жаждущей помывки.

Мы одевались не торопясь. Пока он их еще доведет. Когда мы уже были почти одеты, папа достал бутылочки с морсом, и мы к ним приложились. Я почувствовал какой-то на редкость приятный терпкий вкус вроде бы хорошо знакомого мне морса и спросил папу:

– Почему сегодня морс такой вкусный?

– А это мама капнула тебе чуть-чуть кагора. Потому и вкусно.

Дедушка тоже выдернул пробку из своей бутылки и, начав пить, посадил себе на белую нижнюю полотняную рубашку с желтыми костяными пуговицами розовое пятно. Папа поправил в его руках бутылку.

– Осторожно.

Перед выходом папа снаружи замотал мою шею так, что за-

крыл рот; мне стало трудно дышать, на что папа сказал:

– Дыши носом. Я не хочу, чтобы ты простудился.

Я закапризничал, потому что дышать носом мне было действительно трудно, и папа разрешил мне опустить со рта шарф.

Дядя Володя приоткрыл дверь, и мы столь же странной вереницей, папа держит за руку дедушку, дедушка меня, вышли в тесно набитый людьми коридор. Протискивались с трудом. Люди ругали дядю Володю (не пускает, а пора) и нас (блатники да еще еле шевелятся). Особенно разорялся рыжий дедка Стос, размахивая веником, который наконец-то дождался своей, хотя и несколько искусственной, осени.

Иван Николаевич спросил папу:

– С ветерком?

– Нет. Спасибо. Легкой рысью. Боюсь, чтобы Боря горло не простудил.

Доехали быстро. Нас уже ждали самовар и вкуснейшее бабушкино печенье из черной муки.

А вечером, когда я уже лег в постель, ко мне пришел дедушка и начал нескончаемые вариации на тему одной из своих немногих сказок. Уже сквозь сон, не раскрывая глаз, я слышал:

– Так это было на коллективном огороде за кирпичным. Знаешь грядку дяди Миши Мишина?... И Жучка... Томка с соской в зубах тоже прибежала... Тетя Дуся... А главная там у них оказалась мышка... Они потом пироги с репкой напекли, напарили ее с толокном, навялили, кулагу с репкой сделали...

... И я там был, мед, пиво пил.

По усам текло, да в рот не попало...

* * *

... И все-таки...

! КОСТЯ! СИДИТ! НА СТУЛЕ!

МАЛАЯ КРОВЬ

Рассказ

Сергею Павловичу Сюнёву,
любимому декану

Лето обещало быть жарким, и торчать в Петрозаводске мне здорово надоело. Залезть бы в речку Повенчанку да и сидеть в ней по горло до сентября. А тут еще целую неделю пахать до экзамена по новейшей истории Востока. Остальное все сдано. Не. Не выдержу. В комнате говорю своим, пойдем, мол, через пару дней досрочно сдадим аспиранточке. Запросто примет. Все дрожат: что ты, да что ты, мы ничего не знаем. А я что? Рыжий? Больше всех знаю? Черт с вами, говорю, один пойду. Мишка Антонков только сказал:

– Васька, и я с тобой.

Пришлось, конечно, пару дней посидеть в библиотеке от и до. Приходим к Валечке Еременко:

– Что такое Гоминдан? Кто такой Чжан Цзо-лин? Зачем японцам понадобилась Манчжоу-Го? А кто такой Акутагава Рюноскэ?

– Ах, ребята, вы все равно его не знаете. Извините. Будет если когда время, возможность и желание, поинтересуйтесь.

Не было. Ни времени, ни возможности, ни желания. До сих пор не знаю, кто такой этот Акутагава. Японец, наверное. Я о нем и думать забыл лет этак на шестьдесят... не, на шестьдесят четыре. Мне ведь сейчас восемьдесят четыре. Вот только сейчас и вспомнил. И чего она его тогда приплела? Но суть не в этом. Мне она

«четверку» поставила, а Мишке «отлично». Так что нам вполне хватало. В субботу уже под вечер это было. А утром мне на «колхозник»¹ до Медгоры, оттуда уже в Повенец к родителям.

Встаю утром. Сколько времени, не знаю. Спят все еще. Подкрутил слегка винтик на тарелке радио, чтобы чуть-чуть только слышно было. Черная такая тарелка, картонная. Будто ваксой смазана. «Рекорд» написано.

У нас ведь всю жизнь одни рекорды. Стаханов – рекорд, телевизор – «Рекорд», доярка 2000 литров надоила – рекорд, зубной порошок был и тот «Рекорд».

«Интернационал» по радио играют. Значит, еще шесть часов только. Ладно. Послушаю, думаю, последние известия. Сижу в трусах. Довольный такой. Все. Завтра бултых в речку. А по радио:

*Мы с чудесным конем
Все поле обойдем.
Обойдем и засеем, и вспашем.
Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим.*

Хорошо. Дальше слушаю.

*Идем, идем, веселые подруги.
Страна, как мать, зовет и любит нас.
Везде нужны заботливые руки
И наш хозяйский теплый женский глаз.*

Подруги спели, снова – трактористы. Трактористы спели, снова – подруги. Вырубил подруг, плюнул на все и пошел по шпалам на вокзал, благо общага рядом с путями была. Купил билет.

Времени у меня еще достаточно оставалось. В буфете чаю с пирожками выпил. Вкусные такие. С капустой и яйцами.

Сижу на лавочке, а из репродуктора на столбе снова:

¹ «Колхозник» – пригородный поезд.

*Ой вы кони, вы кони стальные.
Боевые друзья трактора.*

И опять подруги.

Чего это у них на радио заело?

Наконец в колокол ударили на посадку. Сел в вагон. Народу не очень много. Так себе. Задремал. В Киваче (это Кондопога тогда так называлась «станция Кивач») проснулся от толпы народа, как-то в несколько секунд набившейся в вагон. Все говорят так громко, как все равно что кричат. И главным у всех было: ВОЙНА. Я тогда еще удивился, почему и зачем в Кондопоге такому количеству народа на север понадобилось ехать. При чем здесь война?

В Медгоре на вокзале народу невпроворот. Все чего-то ждут. А я сразу удачно сел в автобус и к себе в Повенец.

Приезжаю – отца дома нет. Оказывается, в лес за дровами поехал, хотя обычно мы заказывали дрова за плату и нам их привозили. Чего тут ему вздумалось. Вечером приехал – все уже знает.

– Вася, а тебе надо обратно в Петрозаводск ехать. Ты же там на учете.

– Вот еще. Только приехал. Никуда не поеду. Надо будет, сами найдут.

– Что, так и будешь дома сидеть и ничего не делать?

– Зачем дома? На речке.

– Так. На речку тебе пару дней. А потом... даже не потом, а завтра – зайди в ФЗО судостроителей.

– Куда-куда?

– В ФЗО. Только что открыли. Так что, может, что-нибудь заработаешь за лето. Деньги, сам понимаешь, очень нужны. Мать лежит парализованная. Врачи говорят, что должно стать лучше. Да вот не становится что-то. А там, глядишь, к осени и война кончится. Мы их, сволочей, на их же территории – малой кровью.

С утра иду в ФЗО. Тут же взяли старшим комендантом. Конечно, не по специальности, как я хотел, но оклад хороший обещали. ФЗО это оказалось одно слово что ФЗО. Ничего нет

еще пока: ни стола, ни стула, ни парты. Каждый день мотаюсь туда-сюда: в Медгору и обратно за мебелью. Привез как-то целую машину столов. Сам все и разгрузил. Иду домой, руки отваливаются, смотрю, впереди женщина молодая с ребенком грудным на руках. Обгоняю. Заглянул в лицо.

– Сима! А в пакете кто?

– Дочка. Оля. Вася, как я рада тебя видеть. Вообще-то, я сегодня всех-всех-всех рада видеть. Любого.

И заплакала.

Я ей говорю:

– Дай дочку подержу.

А она:

– Ты не умеешь.

– Сима, успокойся. Все уже позади.

– А что впереди-то, Вася? Что?

Рядом скамеечка оказалась, мы на нее и сели. Сима немножко успокоилась, сунула Олечке грудь и спросила:

– Что ты про меня слышал?

– Почти ничего. Кроме того, что тебя взяли как врага народа где-то в конце 1940-го. Все так удивились. Даже предположить никто ничего не мог, за что. Я тоже. И до сих пор ничего про тебя не знаю.

– Я и сама ничего не понимала целый месяц, за что сажу. Только собралась в декретный, а меня и забрали, без всяких объяснений. Незадолго до родов (и то спасибо, что в роддом отправили)... следовательно спрашивает:

«Вы сознаетесь в том, что на уроке истории на вопрос ученицы... Ой, Вася, не буду говорить ее фамилию. Уменьшка девочка ведь. Да вот папа у нее... Ну, да Бог с ним, с папой... о том, что может ли быть война с Германией, вы ответили утвердительно?» – «Сознаюсь». – «А сознаетесь ли вы в том, что второй вопрос ученицы: «А как же советско-германский договор о дружбе?» вы проигнорировали и оставили без ответа?» – «Сознаюсь». Только тут до меня дошло. Девочка пришла домой, все рассказала папе, этому чайнику-начальнику... А я-то, честно говоря, как-то и особенного значения этому не придавала. А вчера мне говорят: «Собирайтесь. Вы освобождены за отсутствием состава преступления».

– Здорово! Вот Алеша твой радуется.

Сима снова в слезы.

– Васенька, его неделя уже как забрали. Приходил ко мне в милицию прощаться. Не дай Бог тебе такого прощания.

– Так ты все это время у нас в милиции и сидела?

– А где мне еще сидеть-то, Ва-а-а-сенька?

– Сима, не плачь. Не надо. Теперь тебя снова в школу возьмут.

– Да-а-а... Возьмут... А если не возьмут?

Через неделю Сима уже уехала в эвакуацию. А моя карьера в ФЗО кончилась ровно через месяц. Пригласили в РОНО и предложили вести историю в Повенецкой средней школе. У них историка в армию взяли. Я уже устал в этом ФЗО как верблюд горбатиться. Уже шкафы пошли, а грузчиков-то не дают. Если кого-то попросишь помочь, то плати из своего кармана. Вот тебе и оклад хороший. Стал учительствовать.

Записали в народное ополчение. Ночью на пост выходили. Дорогу патрулировали. Диверсантов все ждали. Выдадут тебе трехлинейку Мосина: стбель-гребень-рукоятка; по пять патронов на брата, винтовку на плечо и ... выхожу один я на дорогу. В своей победе над диверсантами я не сомневался. Иду, голову задрал и на провода смотрю. Они ведь, сволочи, первым делом что сделают? Провода перережут. Связь нарушат. Ну, иногда-то голову опускаю, вдоль кустов зырю. Если они выскочат, я как пальну в воздух, наши на выстрелы тут же прибегут, а я с этими гадами штыком расправляюсь. Мы с ними малой кровью, по-ворошиловски, как маршал недавно говорил, когда в Петрозаводск приезжал. А его друг и соратник Буденный на днях, рассказывали, в Одессе крепко так сказал: «Мы их били, ё... твою мать, и бить будем, ё... твою мать!»

Неделю только и поучительствовал. Школу закрывают и эвакуируют.

Папе повестка пришла. Ушел, говорит:

– Скоро вернусь.

Мама в параличе лежит. Брат в 8-й класс пошел. Сестра третьеклассница. Второй брат в Медгоре на «ЗИС-5» ездит. Газогенераторные грузовики такие были. На березовых чурках

ходили. Сейчас такое чудо по городу пустить, так народ бы собирался, как на крыловского слона глядеть. Едет, так дыму больше, чем от паровоза. Его в эти дни в Пудож перевели. Поработал там несколько дней, приезжает:

– Собирайтесь. Уезжаем в Нёмино. Там уже многие с нашей автобазы.

Мама бедная. Трудно ей в кабине ехать. Брат в напряжении. Да и я в кузове мандражирую. Все время думаю, как там она? Приехали. Учителей, конечно, не хватает. Так что мне история с географией. А дальше что? Петрозаводск уже финнами занят. А у меня там все учетные документы.

Папа письмо написал. На Ругозерском направлении воюет. Финнов сдерживает. К зиме, пишет, приеду.

А меня наконец-то в Челмужи вызывают. Медвежьегорский военкомат туда эвакуировали.

– Все, – говорят, – направляем вас в лыжный истребительный батальон.

Но врач-глазник обнаружил близорукость, выписал очки, и меня домой отправили. Сказали, правда, что скоро снова вызовут.

Ровно через две недели – опять. Ну, значит, думаю, заберут. Собираю амуницию. Телогрейку-безрукавку прихватил, пару шерстяных носков, шапку зимнюю, белье, кружку, ложку, миску – и снова в Челмужи. Та же история.

– Вы направляетесь в лыжный истребительный отряд. А сейчас на медкомиссию.

Весь синий, голенький, к окулисту. Очки еще не успел купить. И снова глазник меня выгнал.

Это уже не смешно становится. Возвращаюсь, а школу закрывают до особого распоряжения. Никто ничего не знает. Дойдут сюда немцы с финнами или не дойдут.

В начале ноября мне уже третий раз повестку приносят. Приезжаю на попутной в Челмужи, военком сразу к себе вызывает. Всего ожидал, только не такого внимания. Удивился страшно. Военком встал из-за стола, пожал мне руку, предложил сесть, и ...

– Лунев, есть приказ товарища Сталина: всех студентов чет-

вертых-пятых курсов в армию не брать, а дать возможность доучиться. Видите, как товарищ Сталин о вас заботится. Так что срочно поезжайте в Сыктывкар. Туда уже эвакуировался ваш Петрозаводский университет. Хорошо, что вещи с собой взяли. Так что прямым путем в Пудож и дальше. Для вас – это приказ.

И началась для меня сплошная география. В Пудоже прихожу в военкомат, там наши студенты-филологи сидят Безруков Ваня да Скворцов Костя. Посадили нас в грузовик и на Каргополь. Не столько ехали, сколько машину толкали. Холодно. Есть постоянно хочется. В Каргополе только накормили-напоили, еле-еле согреться дали, на другой грузовик, и в Няндому, а оттуда поездом уже до станции Айкино. Приезжаем. Речка Вычегда. Вот-вот замерзнет. Спрашиваем.

– Как нам в Сыктывкар попасть?

– Очень просто. Посидите на вокзале дня два-три, речка замерзнет, и пешочком по льду. Всего-то километров сто.

Тут один мужик услышал наш разговор:

– Ты что, тетка, ребят пугаешь! Быстро на причал. Через час последний рейс парохода на Сыктывкар.

Судно – сплошной лед. Палуба как каток. В кубрике душно. У меня кровь носом пошла, вышел наверх, вцепился в какой-то поручень мертвой хваткой. Постою-постою и снова в кубрик. Хорошо, что речка не море. Хоть качки такой нет.

Приехали. Городок маленький. Меньше Петрозаводска. Весь деревянный. Но что интересно. Вместо асфальта или булыжников – торцы. Деревянные такие. Больше я никогда и нигде в жизни не видел. Хотя тогда я слышал, что в Ленинграде еще до войны были такие торцы. Но сам не видел. Так что врать не буду.

Нашли пединститут, где уже наши должны быть. Оказывается, я приехал на свой курс третьим. Но лекции проводились даже с двумя студентами. А остальные двадцать два человека кто где: кто в истребительном батальоне, кто в санитарках.

Поселили в общежитии. Весь курс в одной комнате. Еще и место осталось. Карточки хлебные выдали. По четыреста граммов черного хлеба на день. И талоны на питание в институтской столовой. Каждый день щи из хряпы (это верхние капустные листья), полкартошки и две крупинки перловки в тарелке. На второе картошка или та же перловка. Изредка

пшеничная каша с гулькин нос. И так круглый год. Вроде бы и поел, а все равно есть хочется.

Через неделю письмо получаю из дома. Только я уехал, старшему брату повестка пришла. Ушел, а через два дня похоронка на отца: «Пал смертью храбрых». Через неделю такая же и на брата. Он не успел даже доехать до фронта. Эшелон разбомбили.

Но что удивительно. Больше я такого в жизни не встречал. У мамы от горя отошли и рука, и нога. Паралича как не бывало. Вот ведь как Господь распорядился. Обхаживай детей, женщина. Пишет, что даже дрова сама носит и печку топит. А за водой да на помойку брат ходит. Живут они уже в Пудоже у нашей старой знакомой Ольги Артамоновны. Народ тогда был чувствительный. Сейчас не такой.

Летом окончил четвертый курс. А кто дипломы получил, ребят всех в Сталинград отправили, девушки добровольцами сами пошли. Ни один не вернулся. Там все и полегли. А я остался на каникулы в Сыктывкаре, маму с младшим братом и сестренкой стал в гости ждать. Я-то в общежитии жил, а они на окраине комнату сняли, «в Париже». Потом мама обратилась в горсовет, что муж, мол, убит, сын убит, второй сын – студент, нельзя ли получить какое-либо жилье. Дали одну комнату, на зато большую в двухэтажном доме. А я так и остался в общежитии. Доучился до февраля 1943 года. Сессию сдал, один экзамен да диплом остались. Тут-то меня и мобилизовали. В срочном порядке. Вот и пришлось по речке сто верст пешком до Айкино топать. Было нас человек тридцать. В основном ээки – бытовики и стрелки – вохровцы.¹ Мерзейшие люди. Хамовитые, истеричные, безграмотные. Вохровца от урки ни в жизнь не отличишь. Те ведь тоже на фронт рвались. Хоть есть вволю. Лагерникам еще голоднее, чем нам было.

Мат-перемат по льду катился.

А я ведь никогда в жизни не матерился, сам знаешь. А тут как-то недавно целое лето провел с правнуками на даче... И ты знаешь, помогает.

Шли с ночевками в частных домах. Принимали хорошо. Картошкой кормили, а в одном доме даже рыбой соленой угостили.

¹ Вохр – вооруженная охрана.

Хлеба, конечно, не давали. Доставали свой, если есть. Спали вповалку на полу. Вдруг то ли зэк, то ли вохра как заорет:

– За кого ты меня, курва, кнацаешь?

Чего уж он так заорал, не знаю. А мне вспомнилась эта же фраза или подобная, точно не помню, из повенецкого детства.

Какие у нас места красивые. Ламбушки прямо зеркальные. И тайга благородная. Чистая. В самом красивом месте пионерский лагерь был. Там даже, говорят, Светлана Сталина как-то отдыхала, но под другой фамилией. И совсем рядом другой лагерь – «Белбаллаг». «Путевку в жизнь» видел? Вот и мы тоже видели. По несколько раз смотрели. Беспризорников этих, бывших, к нам в Повенец привозили. Ох, и бежали они оттуда кто как мог. Помнишь, как в «Путевке» Мустафа:

– Во Владимире сидел?

– Сидел.

– В Харькове сидел?

– Бяжал.

Мы с ними встречались в сараях, где они отсыпались, да ночью у костра. Хлеб им давали, пироги, картошку пекли. Карманы у них мне нравились. Они их специально разрывали до самой подкладки. Туда, наверное, килограмм картошки входил и буханка хлеба, если пролезала, конечно.

Вот у костра как-то маленький и сказал Фомке-бугаю:

– А ты от меня не убежишь?

А тот ему... правда, без всякой злобы. Ласково так:

– За кого ж ты меня, курва, кнацаешь?

Ох, и пели они тогда. Мне больше всего нравилась вот эта:

Кыш вы, шкеты, под вагоны.

Кондуктор сцапает вас враз.

Едем мы от пыли черные,

А поезд мчит: Москва – Донбасс,

Сигнал, гудок, стук колес,

Полным ходом летит паровоз.

Мы без дома, без жилья,

Шатья беспризорная.

Эх, судьба, моя судьба,

Ты как кошка черная.

Дальше-то я уже не помню. Но вот что интересно. Лет срок назад я деканом был и в сентябре поехал на поезде в один совхоз – договор заключить с дирекцией; студенты наши туда на картошку выехали в этом же поезде. Слышу, девчата поют что-то знакомое. Вслушиваюсь.

Кыш вы, шкеты, под вагоны.

Кондуктор сцапает вас враз.

Едем мы от пыли черные,

А поезд мчит: Москва – Донбасс,

Сигнал, гудок, стук колес,

Полным ходом летит паровоз.

Мы без дома, без диплома,

Шатья беспризорная.

Эх, судьба, моя судьба,

Ты как кошка черная.

Впереди в вагоне мягком

Едет с дочкою декан.

Эх, как бы нам на остановочке

Повеселиться, братцы, нам.

Я им:

– Девчонки, откуда вы эту песню знаете?

А они:

– Сами не знаем откуда. Ее всю жизнь на нашем факультете поют. Это народное.

О чем это я... Да... Так вот и шли по жуткому морозу пехом. Сопровождающий из военкомата тише воды, ниже травы. Не высывался. Только дошли до Айкино, там патрули, солдаты, сопровождающий начал покрикивать, откуда и голос взялся:

– Быстро! Быстро!

Нас тотчас же в вагоны и повезли. Куда, никто не знает. Приехали на огромную станцию. Прочитали название «Свердловск». Никого из вагонов не отпускают. Вагон по станции туда-сюда дня два катали. Потом опять в путь. Приехали в Шадринск. Встречает нас новый сопровождающий в штатском. В шапке меховой, в бурках, в зубах «казбечина». И он нас толпой такой куда-то повел. Километров пять шли. Приходим в дачный

поселок. Сосновый бор. Дачки аккуратные такие. Прямо дом отдыха. Ну, думаю, отдохнем перед фронтом. Отъедемся. Нас ведут в обход всех этих дачек и приводят к огромной землянке. Прямо метро какое-то: метров так двадцать пять на двадцать пять. Пол земляной. Нары в два этажа из жердей сделаны. Никаких тебе постельных принадлежностей. Даже сена не было.

Сопровождающий собрал нас всех как сельдей в бочку (кроме нас еще народу оказалось достаточно) и сказал речь. Дословно я, конечно, не помню, но только сейчас понял, что попал в войска НКВД.

Человек этот говорил нам о задачах войск НКВД: охрана особо важных предприятий промышленности, конвойные войска и оперативные. Урки, конечно, все зашептались:

– Оперативные, оперативные.

А оперативные выполняли карательные функции, и их на фронт потом посылали. Я и слухом не слыхивал про заградительные отряды. Слава Богу, что я тогда в них не попал. Не знаю, как бы я там себя повел. Скорее всего, стрелял бы в отступающих и бросающих поле боя без приказа трусов. А впрочем, ничего не знаю. Знаю только одно – мое солдатское счастье, что я туда не попал.

Повели в столовую. Те же щи из хряпы и «шрапнель»¹. Да, на такой службе, кажется, не отъешься. На ночь в землянку. Уши у ушанки распустишь, узелком завяжешь, и все вповалку потеснее, чтобы не замерзнуть. Нос только мерз. Ночью проснешься и в кулак его. Так две недели. Чувствую, что третью не выдержу, загнусь. И тут меня вызывает замполит Горячкин:

– Ты грамотный?

– Относительно.

– А как насчет писанины?

– Да вроде бы неплохой почерк.

– Вот тебе лист бумаги и пиши: «Начальнику политчасти майору Петрову. Донесение...» Все. Молодец. Подходишь. Жить теперь будешь с пропагандистами и агитаторами в дачном домике.

Вот где счастье подвалило. Натопим печку, спать ложимся в

¹ «Шрапнель» – перловка.

одном белье, да еще и на кровать настоящую.

Горячкин хорошо ко мне относился. Мы писали донесения наверх, а куда точно, я до сих пор не знаю, потому что «шапку» и подпись я никогда не делал.

Иногда просто чувствовал, что пишу какие-то отрывки из донесений. Помню, диктует Горячкин:

– У такого-то задержание мочи.

Я говорю:

– Нет такого слова «задержание». Наверное, «недержание».

– Дурак! Наоборот, есть «задержание», а «недержание» – такого слова нету.

Так ведь и заставил написать «задержание».

Вскоре нас обучили, и стали мы солдаты войск НКВД. В один прекрасный день нам говорят:

– Завтра за вами приедут покупатели, и вы отчалите отсюда навсегда.

Слава Богу! Хотя чувствую, что фронта мне, кажется, не видать, а будет такая же тягомотина, если не хуже.

Так и есть. Привезли нас в Тулу в полк по охране особо важных предприятий промышленности. Как говорится: «все для фронта – все для победы». Я был приписан к штабной роте в минометный взвод. Обрадовался. Серьезно начали изучать миномет, но пострелять из него так и не дали. Винтовку на плечо и на пост. Те же щи из хряпы да «шрапнель». Как никуда и не уезжал. Правда, жили в казармах. И то хорошо, что не в землянке. В баню возили регулярно.

Мы стали заниматься охраной собственного штаба. И, находясь в этой роте, я понял, что ни на какой фронт я, конечно же, не попаду. Офицеры все старые, корявые, больные. Если даже они стали бы рваться на фронт, их просто спрятали бы куда подальше. Какой им фронт! А во мне уже горит огонь мщения. «Где увидишь его, там и убей!» Папа и старший брат погибли. Младший кончает 10-й класс и пишет, что сразу после школы пойдет на фронт. А я? Маркс говорил об идиотизме деревенской жизни. У меня начался идиотизм солдатской. Да еще и гражданские, с которыми общались, все время нудили: «Что вы здесь киснете, голодаете? Идите в действующую армию. Или грудь в крестах, или голова в кустах». И так

все время зудят, зудят.

Мне уже совсем невмоготу. Пишу рапорт командиру полка с просьбой направить меня в действующую армию.

Вызывает майор:

– Это ваш рапорт, рядовой Лунев?

– Мой.

Лицо у него кровью наливается.

– Вы где служите?

– В войсках НКВД.

Вот-вот удар его может хватить. Физиономия уже почти кирпичная.

– Кто вас сюда направил?

– Да я... Точно не знаю... Направили... Кто-то...

– Не заикайтесь. Не кто-то вас направил, а вся наша страна, весь советский народ. И вы обязаны служить там, куда вас поставило Отечество. И еще... Запомните, никогда не обходите инстанции. Вы должны писать командиру роты, а вы сразу командиру полка. Мне на вас и смотреть-то противно. Кругом! Шагом марш!

Кругом так кругом. Снова та же хренотень. Стоишь на посту при штабе, как тютяка, и все чаще вспоминаешь последний экзамен, незащищенный диплом. Написал в Сыктывкар ректору Митропольскому: «Не могли бы помочь мне сдать и защитить». Приходит бумага из Москвы: «Разрешить рядовому Луневу отпуск на 3 месяца в Сыктывкар для сдачи экзаменов и защиты диплома».

До Айкино я добрался довольно-таки быстро на поездах. А оттуда опять пехом по льду. Теперь уже пара пустяков. Дело привычное. Солдатики все привечают. Спать на печку кладут. О делах на фронте спрашивают. А я же стал перед отъездом политзанятия с солдатами и офицерами вести. Так что политически я был ох какой подкованный...

Это сейчас в армии дедовщина. А тогда не было этого. Не было. Хотя как сказать. По части языком-то болтать я был большой мастер, а вот по огневой да строевой подготовке – не шибко, хотя военное дело мы в университете изучали. Глаза меня всегда подводили. Очки я носил, но какие-то сбои с глазами иногда случались. Так вот. Сержант у меня был с двумя

классами образования (сержанты у нас тогда были все как один из бывшей вохры), так он как скомандует на шагистике:

– Бегом! Марш!

А сам раз, и подножку подставит. Я не сразу это понял. Сообразил с четвертого или пятого раза. Поднимаюсь из грязи, все очки дерьмом заляпаны. А он улыбается и снова:

– Бегом! Марш!

Большой сволочи, чем вся эта вохра бывшая, никогда в жизни не видел. Безумная радость в их глазах светилась, когда они унижить могли кого-то, кто в чем-то был выше их. Но это все-таки не дедовщина, а вохра паршивая.

А вот воровства никогда в части не было. Чего не было, того не было.

Прихожу в Сыктывкаре домой, мама с сестренкой говорят:

– Игорь два дня назад в армию ушел. Школу очень хорошо кончил. Поступать никуда не стал. Проработал немного в леспромхозе и все пороги военкомата обивал. Добился наконец. Письма еще не было.

Повоевал брат гораздо лучше меня. До Берлина дошел. Вся грудь в медалях.

В университете договорился об экзамене. По-быстрому почитал пару учебников и сдал. С дипломом чуть посложнее, но здесь у нас появился прекрасный историк Яков Алексеевич Балагуров, молодой еще был тогда. Он мне порекомендовал тему «Петр I на Севере» и чуть ли не всю библиографию дал. Строчку ударными темпами. Через месяц бумага приходит: «Срочно в часть». Надо же, думаю, никак без меня придурки жить не могут. А нашу роту иначе и не называли как «рота придурков штаба». Митропольский звонит военкому: оставьте еще хотя бы на месяц. Дали еще две недели. Еле-еле успел. В день защиты и диплом выдали. Я его в вещмешок и на лед. Иду и думаю: «Что за срочность? Чего еще мои отцы-командиры придумали?»

Приезжаю в Тулу. Вызывает меня начальник политотдела полковник Моисеенко:

– Поздравляю с окончанием университета, товарищ старший сержант.

Ого! Старшего сержанта присвоили. За что бы это?

– У нас есть для вас должность секретаря многотиражки. Должность офицерская, но вы уже старший сержант, так что и до офицера недалеко. Согласны?

– Так точно, товарищ подполковник. Согласен.

А работа в газете мне была знакома, я еще во время финской войны успел в Петрозаводске поработать корректором многотиражки.

Стало немного повеселее. Немного потому, что о чем ни возмись писать – все военная тайна. Вот и выкручивайся в подборе и размещении материала. Главное, конечно, редактор, но ведь и я не последний человек.

А тут девчат к нам привозят. Тридцать сибирячек из города Осинники. Наиболее грамотных при штабе оставили, а остальных почтамент охранять. Там и жили они.

Нет-нет. Ни одного романа не помню.

Какие романы! За главного у них был младший сержант Колесников. Как зверь девчонок охранял. К ним и не подколешься. В увольнение их отпускали где-то на пару часов, не больше. В гости к ним не приедешь. Пропуск нужен. А пропусков никому из нас не выписывали. Да и как-то, как сейчас вспоминаю, странно все кажется... Как бы сказать... Мы ведь все парни по двадцать лет с небольшим. Должны вроде бы, как кобели, беситься, только почуяв запах женщины. А мы как-то... Да вроде бы и неплохо, если что, а если нет, то не очень-то и хотелось. И не в воспитании дело. Хотя, конечно, воспитание наше в отношении к девушкам было не такое, как теперь.

Сейчас девушка на дискотеку как обязана прийти? Без трусиков. Иначе к ней парень не подойдет.

Мы такое и представить себе не могли.

Так вот что я думаю. Чтобы не было у нас такой страсти половой, нам, наверное, что-то в хряпу подмешивали. Хотя и с самой-то хряпы шибко не разбежишься.

Одна из девушек, Женя, оказалась моей землячкой. В Петрозаводске перед войной жила. Я ее немножко знал когда-то. Встретились на ходу. Обрадовались. Особенно я. Хоть с кем-то поговорить можно. Женя тоже рассчитывала совсем на другую службу. Жаловалась мне, что все они как один, т.е. как одна, добровольцы и всеми правдами и неправдами с трудом

добились возможности пойти на фронт. Как они радовались, что идут в армию. Ведь их в райкоме комсомола секретари как только ни запугивали, отговаривая от фронта. Каких только ужасов не наговорили! Но таких девчат не запугаешь. Все согласились идти только на фронт. И вот тебе, пожалуйста: части НКВД, охрана особо важных объектов. Да что тут охранять! Кому нужна эта почта! Я вслух посочувствовал Жене, а сам подумал: вот уж кому не надо на фронт, так это девчатам. Ну, может, медикам если. Так еще туда-сюда. Тем более – их мобилизовывают. А остальным... Конечно, я ничего Жене об этом не сказал.

Тут у меня командировка намечалась в Москву по типографским делам всяким. Я ей и упомянул об этом. А она мне и говорит:

– У меня там тетка и сестра двоюродная, студентка, так что, чем в какой-нибудь казарме ночевать, поживи у них. От меня привет передашь. Они тебя с радостью примут.

Я, конечно же, согласился.

Приезжаю. Звоню в квартиру. В самом центре, на Сивцевом Вражке. Девушка открывает. Глазастая такая. И остальное все при всем. Приветливая. Улыбчивая. Как будто ждала меня. Почему-то показалось, что она в меня сразу влюбилась.

– Вам кого?

Как это было сказано! Я прямо затрепетал весь. Я с заиканием ей объяснил все, а она еще больше улыбается:

– Проходите.

Квартира невероятно большая. Прихожая похожа на армейский вещевого склад. По набитости, конечно, а не по ассортименту. Всякие буржуйские штучки, да и книг достаточно много в связках. Очень я хотел тогда поразбираться в этих книгах, но не до того оказалось. Да и книги не их были, как позже я понял. Пыли на всей этой куче было пальца в два. Я еще удивился, неужели ее нельзя вытереть.

Мы вошли в комнату, и я обомлел: где же мне тут ночевать-то? Сразу понял, что они живут только в этой одной комнатухе. Как позже мне рассказали, это была комнатуха прислуги. Остальные комнаты были опечатаны, и в них никто не жил. О бывших и будущих жильцах мои новые хозяйки не рас-

пространялись. К вещам в прихожей мне было рекомендовано не прикасаться даже нечаянно.

Тоня училась на втором курсе истфака МГУ. Коллега. Анна Петровна работала экономистом на какой-то крохотной фабричке. На какой, не сказала. Тогда ведь что ни работа, все – военная тайна. Ужин был по тем временам шикарный. Мне в сухой паек банку «второго фронта» дали. Свиную тушенку американскую так называли. Белое, вкусное такое мясо. Прямо курятина. Анна Петровна с картошкой натушила. До сих пор этот вкус помню. Чаю настоящего крепкого заварили. Хлеб повидлом мазали. Ужинаем, а я все думаю, куда меня положат. Стол, два стула, кровать, узенькая такая, и огромный сундук. Ума ни приложу. Поели, Анна Петровна и говорит:

– Вася, ты уж извини, но мы тебя на пол под стол положим, а мы как всегда: я на кровать, а Тоня на своем сундуке. Ты пока выйди, а я тебе постель налажу.

Возвращаюсь, постель готова, дамы в халатиках. Сходили в ванну, в туалет, вернулись – свет выключили, улеглись. В темноте еще долго разговаривали. Они меня все о моих ратных подвигах спрашивают, а я им все о политической обстановке и положении на фронтах докладываю. Долго говорили, а потом – бух – и сразу уснули. Просыпаюсь, Анна Петровна уже на работе, а Тоня проснулась и на своем сундуке ворочается, тихонечко, правда, так, чтобы меня не разбудить. А я смотрю на нее из-под стола и жду, когда она встать соберется, что быхоть одним глазиком на нее неодетую глянуть. Наверно, я в нее тогда влюбился. Лежу, не шевелюсь. Наконец она собирается встать, а я подглядываю. Лучше бы я этого не делал.

Что, что? Фильдекосовые семейные трусы всякую любовь убьют. Накинула халатик, поинтересовалась, как я спал. Позавтракали и разошлись по своим делам. Вечером встретимся и по Москве погуляем. Вечером Тоня повела меня на трофейную выставку, которая была тогда напротив Парка культуры на набережной. Вот наконец-то я и увидел «тигры», «фердинанды», «хейнкели» и «мессершмитты». А с набережной мы забрели на Плющиху. Там зачуханный такой кинотеатрик был. «Кадр» назывался. Кино там шло тогда. «В 6 часов вечера после войны». Тоня-то его уже видела, а я нет. Она мне и говорит:

– Ты что, не видел? Пойдем обязательно. Ты его должен увидеть, а я с удовольствием второй раз посмотрю.

Купили билеты, заходим в зал. Одна шпана московская. Все в тужурках или фуфаячках новых, в сапогах с подогнутыми голенищами, в кепочках с челкой наискось или выпущенным чубом. У многих фиксы. И все семечки щелкают. Весь зал заплевали. Кажется, тогда семечки только появились. Свет погас, и пошел «Марш артиллеристов»:

*Артиллеристы, Сталин дал приказ.
Артиллеристы, зовут отчизна нас.
Из сотни тысяч батарей
За слезы наших матерей!
За нашу Родину – Огонь! Огонь!*

Как пошла вся эта шпана ногами ритм отбивать! Грохот стоял такой, что на улице, наверное, было слышно. А как герой пошел на одной ноге да на костылях по парку, все их шмары разом зарыдали. В конце, правда, и я расчувствовался, когда они встречаются в День Победы на Большом каменном мосту. Победы-то ведь еще не было! Больше такого потрясения от кино я никогда не испытывал. Да еще и девушка красивая под рукой. Опьянел я и от Тони, и от Москвы. Дома всю ночь проворочался. Наверное, так и не уснул. Не знаю.

Назавтра вечером Тоня говорит:

– Вася, тебе здорово повезло. Сегодня у нас салют. Освободили...

Не помню уже что. В Венгрии, кажется, какой-то город. А может, еще где-то. Тогда ведь освободят что-то, и в Москве сразу салют.

И мы пошли, конечно же, на Большой каменный мост. Салюты в Москве были тогда то что надо, а не то что теперь. Из любого конца города видно было. В центре пушки стояли, если не в каждом дворе, то через двор-то уж точно. Как жажнули! А я Тоню хочу поцеловать, как во вчерашнем кино. Так ведь и не решился. Сейчас думаю, что эти три дня в Москве могли бы быть у меня самыми счастливыми. Не стали.

Ранним утром мне уезжать. Прощаюсь с хозяйками. Тоня подала свою руку, я ее держу-держу, отпустить не могу, а она

тоже не убирает:

– Я тебе напишу, Вася.

– Тоня, я тебе тоже буду писать.

Парой писем обменялись. И все. Лет так через тридцать в Москве на какой-то научной конференции встретились. Я кандидат, она кандидатка:

– Какие глупые мы были, Вася.

– Нет, Тоня. Мы были просто тогда очень хорошие.

Почему уж так получилось у меня тогда, не знаю. Не знаю и понять не могу.

А в День Победы мы с другом – лейтенантом из редакции пошли на базар. Талоны офицерские на водку отоварили, огурцов соленых закупили. Только по-быстрому выпили-закусили, народ нас и отловил. Чуть насмерть не задушили да как начали подкидывать. Я быстренько остатки огурцов в карманы положил и летаю вверх-вниз. Меня качают, а я об одном думаю, только бы не разбежались и на землю не бросили. Нет. Докачали. В голове штормить стало. Штаны все мокрые от раздавленных огурцов. Огородами-огородами еле дошел до редакции. И еще целых два года проторчал в этой чертовой газете. Стойко стоял «на страже Родины». Зачем, непонятно. Никак демобилизоваться не мог. Демобилизуют солдат, а у меня должность офицерская, демобилизуют офицеров, а я старший сержант. Ну да это уже другая история.

Награды? Медаль «За победу над Германией». Ни разу ее не надевал. Вот сейчас в День Победы и надену.

*О. Кижиг. – Петрозаводск
август 2004 г.*

РЕГИСТРАЦИЯ БОБИКА

Рассказ

*Памяти моих дорогих друзей
детства Юрия Бутакова
и Германа Тузова*

Н ежно-голубые сумерки скоротечно сменились густо-синими, и лесозавод врубил свет по всем линиям. Нетерпение Ени было удовлетворено, мальчик сел за стол и в десятый, а то и в сотый раз открыл том под названием «Бои в Финляндии».

Он был скрытен, и это уже мешало ему жить. А может, совсем и не это, а неосознанное нечто, что мешает жить большинству людей на земле. А вообще-то, наверное, не на земле, а только в нашей большой и прекрасной коллективной стране, которая гордо и строго зовется Советский Союз и которая разгромила бело-гвардейцев, белофиннов, немцев, японцев и разгромит всех, кто придет к нам с мечом.

Губы мальчика беззвучно шевелились, а глаза, как ни странно, уставились в одну точку, которая была сначала непонятно где, а потом странным образом переместилась на стену. Зачем все это он читает-перечитывает, когда и так все знает. Точнее, не знает, а чувствует и верит.

Командир разведгруппы старший лейтенант Березин очень правильно сказал:

– Чтобы быть хорошим разведчиком, надо иметь железные не-

рвы, волю, находчивость и умение ориентироваться в любой обстановке. Надо иметь хорошую память, быть физически выносливым, знать компас, хорошо владеть всеми видами оружия... А самое главное – быть верным и преданным сыном Родины, не щадить своей жизни для ее блага.

Березин говорит-говорит, а сам зорко так поглядывает на одного бойца и вдруг резко спрашивает его:

– Правильно я говорю?

– Правильно.

– А если правильно, то пойдете ко мне помощником?

– Да я ведь никогда в разведке не работал. Человек сугубо штатский. Боюсь, не справлюсь, товарищ старший лейтенант.

– Дело за вами. Захотите – научитесь. Вот сегодня ночью и пойдём в разведку... Присматривайтесь. Учитесь. Все поняли? Так что собирайтесь. В 23.00 выступаем.

Группа отправилась с наступлением темноты. На опушке леса разведчики залегли, и Березин тихо, но внятно сказал:

– Вон там проволочные заграждения. Не туда смотрите. Левее... Вы должны сделать проходы для наступления пехоты. Значит, что нужно?.. Правильно. Перерезать проволоку. Ну и, само собой, засечь огневые точки противника. Понятно, что они будут стрелять именно по вам. Мало того, тому, кто пойдёт, надо обязательно вернуться живым.

Вдруг рядом раздался какой-то шорох.

Разведчики схватились за наганы.

– Не стреляйте. Свои.

Подползает группа своих же разведчиков. Старший докладывает:

– Товарищ старший лейтенант, задание не выполнено. У самой проволоки оказался финский секрет. Нас обстреляли. Один ранен.

И как бы в подтверждение этих слов совсем близко застрекотал автомат «Суоми».

– Товарищ старший лейтенант, мороз за тридцать. Проволока под ножицами просто звенит. По этому звуку они и шпарят.

Новичок тут и говорит:

– Товарищ старший лейтенант, разрешите мне пойти.

– Точно перережете?

– Иначе не вернусь.

– А надо и перерезать, и вернуться. Поосторожнее. Проволока у них на мушке. Пойдете вдвоем. Вот вам помощник.

– Поползли. Как зовут?

– Павел.

(... Еня ведь Евгений Павлович...)

– Слушай, сколько там этой проволоки? Видишь?

– Семь колов.

– Женат? Семья?

– Да. Похоже, что осенью и ребенок будет.

(... Еня родился в самом начале ноября 1940 года ...)

– Северянин? Вроде бы ты тут как дома.

– Так и есть... Отец, сестра, брат в армии политруком.

(... Тетя Валя уборщицей в школе работает, а дядя Володя, политрук, погиб в июле 1941-го.)

– Комсомолец?

– Да.

– А ты рискованный парень?

– Ого-го!

– А ты случайно не трус?

– Да я тебе сейчас знаешь что сделаю!.. Что ты ко мне пристал! Я в Красной армии служу! В разведке! Ты знаешь, что здесь не полагается лишних слов? Кто у нас старший? Ты! Вот и командуй. Это твоё дело. А мое дело выполнять приказ.

– Ладно, не кипятись. Слушай сюда. Возьмешь чуть правее. Там окопаешься. Да поглубже. И бей что есть силы лопатой по проволоке, делай вид, что ты ее режешь. Финны по тебе огонь откроют. Так ты немного пережди, а потом снова бей. Пусть они думают, что ты проволоку режешь. Ясно?

(... Ясно. Моего папку под огонь, а сам в кустах лежать будет. Зато папка настоящий герой, а его начальник не очень...)

– Куда яснее.

– Двигай!

Папка отполз. Окопался. И вот наконец проволока зазвенела оборванной струной. Тут же застучал пулемет. В это время папкин начальник перерезал колючку совершенно в другом месте и засек, откуда финны ведут огонь. И так несколько раз.

Вдруг наступила тишина, и Павел почувствовал, что его на-

чальник подполз к нему и пожал руку:

– Отходим. По своим же проходам.

Уже на ходу, извиваясь змеями, они слегка задели обрезанную проволоку, свернувшуюся в клубок. И тут же на звук финны открыли огонь трассирующими пулями. Пришлось надолго залечь. И тут папкин начальник увидел, что по канаве к ним ползут финны. И был-то всего один выстрел, но именно он и попал в папку. Павел схватился за бок.

– Тяжело? – спросил начальник.

– Очень.

– Старайся, браток, отползти в нашу сторону, а я постараюсь их задержать.

Павел пополз, оставляя за собой кровавый след. А его начальник подпустил врагов поближе и бросил гранату в самую их гущу.

– Потерпи, браток, сейчас помогу.

Финны наконец-то стали отступать, напуганные гранатой. Папкин начальник подполз к проходу, где лежал Павел. Разведчик приложил ухо к его груди:

– Убили, гады!

А может, он просто через маскхалат, шинель и гимнастерку не расслышал сердце друга. Он взвалил Павла на спину и пополз к своим. Не оставлять же его на растерзание врагам. Березин очень скоро прибежал на помощь и нашел разведчиков в густом лесу.

А Павел, к счастью, оказался живым, и его тут же отправили в госпиталь.

Больше в книжке читать было нечего.

Енин папа Павел Иванович Попов пропал без вести на Финской. Пропал, но, конечно же, не погиб. Он вылез. Вылез. Мама говорила, что в школе у него всегда была «пятерка» по немецкому, и, конечно же, тайно под чужой фамилией он стал учиться в разведывательной школе, а с начала войны оказался в тылу врага, как майор Федотов из «Подвига разведчика». И сейчас он, конечно же, в Германии продолжает выполнять секретное задание. Ну и что из того, что мы победили Германию? Фашисты-то остались. Но говорить об этом нельзя никому. В том числе и родным.

В коридоре у двери грохнула охапка дров, принесенная мамой с работы. Она всегда приходила, неся за спиной перехваченную

ремнем вязанку сухих дров. Свои рейки были почему-то всегда сырыми; хотя, если просушить их летом в костре, а потом сухими сложить в сарай, да там еще они годик полежат... Но такого количества дров у них не было никогда.

– Опять в эту чертову книгу уткнулся! И что ты в ней нашел? Еще хоть раз увижу ее у тебя, в печку выкину, не посмотрю, что библиотечная! Уроки все сделал? Голландку мог бы и затопить к моему приходу. Плиту я сама затоплю.

– Все.

– И то хорошо. Слушай, не водись ты с этим Тимуром хреновым – Эдькой.

– Эдуардом.

– Хорошо, пусть будет Эдуардом. Чего вы в нем нашли? Парню скоро пятнадцать будет, а он все с малолетками в цапки играет. Тимуровскую команду он организовал! Да кто-нибудь из вас читал книжку Гайдара? А кино видел?

– Я читал. А в кино мы все вместе ходили.

– А Эдька?

– Эдуард.

– Хорошо, хорошо. Черт с ним. Эдуард.

– И он читал.

– Ну и что это у вас за команда? Я сейчас иду с работы, а Эдька...

– Эдуард.

– Да заткнись ты. Эдь... Эдуард твой на крыльце ордена и медали в тряпочке перебирает. У него их штук двадцать. Откуда столько? Не от отца же. Его отец и не воевал вовсе. Хотя, наверное, как у начальника пара орденов есть. Но не двадцать же.

– Не знаю.

– А кто должен за вас знать?

Еня судорожно сжал в кармане медаль «За отвагу», которой часа два назад его наградил Эдуард за образцовое выполнение боевого задания. Маленький Еня ползком-ползком, вывалявшись в осенней грязи и замаскировав себя ветками, обнаружил у синих (... Эдуард с командой, конечно же, были красными...) в пещере флаг и с радостью, уже бегом-бегом, принес его Эдуарду.

Конечно, на пионерско-тимуровскую команду их отряд никак не тянул. Нет, сарай, конечно же, у них был. С настоящим штур-

валом с парохода «Поморье», от которого, правда, никуда не тянулись ни веревки, ни проволоки. Просто Эдуард, иногда стоя за штурвалом, обращался к народу.

Сарай был капитальным, с чердаком. Елохиными он никогда не использовался, потому что из всех многочисленных домочадцев в семье оставалась одна старая Елошиха, а все дрова у нее были под окнами, укрытые вечным навесом, на котором Елошиха время от времени меняла толь. Никакого хозяйства бабка не вела и скота не держала. Ребята Эдуарда всегда ночью складывали дрова под елошихин навес, когда ей с завода привозили рейки.

Ене особенно нравилось бывать в командном сарае, когда все они скидывались по несколько копеек и в складчину покупали в леспромхозовской столовой огромную кастрюлю вкуснейших блинов и пожирали их, запивая разливным, неестественно красным морсом, купленным в ларьке неподалеку. За морсом ходил с алюминиевым бидончиком Вовка, а блины чаще всего покупал Еня. Попадали ребята в сарай через лаз, который был ими с трудом выкопан и затыкался огромной охапкой сена. Зимой же – заваливался снегом. Елошиха в сарай не ходила. Незачем. Так что в штабе ребята были полными хозяевами. Команда просто играла в войну, в «десять палочек», «кол-забивало» и делала всякие тайные дела, как позже понял Еня, в общем-то, особо не отличаясь добрые от недобрых. Эдуарду и его команде ничего не стоило летом прийти в обеденный перерыв в порт на каботажную пристань и наполнить все пустые тачки углем, который потом грузчики по узким сходням завозили на борт малых и средних сейнеров, опрокидывая в трюмы кочегарок. Ничего не стоило «эдуардовцам» и аккуратно ночью сложить костры дров из реек, привезенных матерям погибших солдат. Ене сначала было трудно ходить ночами, потому что Бобик начинал подавать голос. Но Еня очень скоро приучил Бобика молчать, давая ему кусочек сахара, колбаски или чаще всего просто хлебушка. И Бобик молча высказывал с Еней. Этим же пацанам ничего не стоило и обрушить по ночам костры тех хозяев, у которых, по мнению Эдуарда, было слишком много дров и вообще они слыли кулаками.

По воскресеньям ребята пробирались на завод в лесопильный цех и загружали пиловочником точно по сортименту несколько

вагонеток, которые в рабочие дни возили и выгружали женщины, в том числе и Люба, Енина мама.

В другой выходной Эдуард, причем, как ни странно, с переростком Витькой, который был его ровесником, а то и старше, но учился еле-еле на тройки в пятом классе, уговорил ребят-малолеток идти на биржу кататься на вагонетках.

– Ну что, салажата, слабо прокатиться? – орал любящий обидеть малышню Витька. Маленькие уже давно подговаривали Эдуарда сделать Витьке «темную», но Эдуард сказал, что делать этого он не будет, так как Витька воспитывает в малышах смелость и мужество. Наверное, сам Витька и был, конечно, смелый и мужественный, потому что круглый год он ходил не только без пальто, но даже без фуфайки, надевая зимой под пиджак длиннющий шарф, который затакивал и заматывал как попало. Тетя Поля, Витькина мать, никак с сыном не управлялась, и ее даже бесполезно было вызывать в школу. Отец Витьки или сидел, или погиб на войне, никто об этом не знал. Во всяком случае отца Витька никогда не вспоминал.

Особой дружбы с Витькой Эдуард не водил, и все считали, что получить по морде Витьке от Эдуарда не мешало бы. Но этого почему-то не происходило. И когда Витька встречался с маленькими членами команды один на один, он всегда щелкал ребят по носу или давал поджоппника. Смелости и мужества в ребятах от этого не прибавлялось. Сейчас же никто не отказывался от предложения прокатиться на вагонетках. Эдуард одобрил замысел, но сам не пошел, отпустив с Витькой человек пять ребят, в том числе и Еню. Ребята попали на территорию завода через подкоп под высоким забором и пробрались в самый верхний лесопильный цех, где и стояли пустые вагонетки. От цеха по высокой эстакаде шла своеобразная узкоколейка с ветками, попасть на которые можно было только переставив стрелку.

– Ну, пацанва, приготовились. Едем по прямой до конца. Енька, умеешь переводить стрелки?

– Умею.

– Вот и иди, переводи, чтобы мы поперли до пятого причала. А мы тебя будем ждать.

Еня прошел по эстакаде до конца, поставил все стрелки и вернулся к ребятам.

– Молодец! Не дрейфить! Все вместе толкаем вагонетку. Наби-

раем разбег. Потом прыгаем все в тачку и едем до того места, где внизу справа и слева есть небольшие стожки сена. По моему сигналу сразу же спрыгиваем. Вы направо, мы налево. Не трусить! Прыгать сразу же! Потом будет поздно.

Кто-то спросил:

– А вагонетка?

Витька щелкнул мальчика по лбу:

– Не твое дело. Дальше вагон идет пустой.

Вдруг он внимательно посмотрел на Еню, цепко схватил его двумя пальцами за нос и спросил:

– А ты не трус?

Еня только что собирался отказаться от поездки, но теперь уже поздно. Извиваясь под пальцами Витьки, он загнулся:

– Я не трус. Я не трус...

Витька отпустил нос:

– Тогда поехали. Толкаем тачку.

Вагонетка медленно набирала скорость.

– Садимся. Едем.

Грохот вагонетки в ушах Ени заглушил все другие звуки, и он с трудом слышал, как Витька заорал:

– Полундра!

Никто не замешкался, и вагонетка, громыхая на стрелках, помчалась дальше, чтобы минут через пять на полном ходу свалиться с обрыва эстакады.

На следующий день мать пришла с работы злая-презлая и начала готовить ужин, швыряя миски-ложки.

– Ты что, мама?

– Что, что! Какие-то паразиты нашу вагонетку спихнули с эстакады. Нам с Нинкой и Люськой пришлось ее наверх пихать. Ты видел наши вагонетки? Целый час промудохались! Лаги из бруса долго искали, чтобы ее наверх затащить. Ты случайно не знаешь, кто это мог бы сделать? Сволочи поганые!

– Не знаю. Откуда.

В следующий раз он отказался от катания. Да и у ребят ничего не вышло. По выходным в лесопилке стали дежурить рабочие.

– Еня, я тебя спрашиваю, откуда у него ордена и медали?

– Откуда я-то знаю.

Конечно же, он знал откуда. Двадцать медалей и два ордена Красной Звезды.

Все было очень просто, Еня оказался вчера внизу у стоявшего на скале «Голубого Дуная» и, открыв рот, смотрел, как пьяные инвалиды срывали со своих пиджаков награды и швыряли их вниз. Дядя Коля Коковин одной рукой еле оторвал с мясом привинченный Орден Красной Звезды, бросил его вниз, погрозил кому-то кулаком вверх и заорал:

– Гады! За что мы кровь проливали! Вы давали мне эту вшивую десятку за оторванную руку, за мой орден, чтобы я мог на эту десятку портвейна выпить. А теперь пожалели. Так заберите свои ордена и медали в задницу. Если вы считаете, что моя рука не стоит пары десятков, то получите!

Со скалы упало несколько медалей. Дядя Коля как всегда душевно затянул свою любимую «Степь да степь кругом». Инвалиды подтянули. Со скалы упало еще несколько медалей.

Еня отдал свой улов Эдуарду.

– Отменили плату за награды. Вот инвалиды и взбесились. Спасибо тебе, Еня. Это будет у нас наградной фонд. Награды свои берегите. Посмотрим, если эти пьяницы очухаются и пожалеют об этом, вернем их ордена. А если нет – то нет, – сказал Эдуард.

Мать глянула на переполненную овсяной кашей миску Бобика.

– А собака где? Второй день где-то болтается. Я тебе говорила, что по поселку рудаковские живодеры с ружьями ходят, собак незарегистрированных отстреливают. Я тебе пять рублей давала на регистрацию Бобика. Где пятерка?

– Я вчера был в поселковом и зарегистрировал. Мне дали ошейник с номером и сказали, чтобы купили или заказали намордник и поводок. Дядя Петя, шорник, обещал намордник сделать.

– На такую собаку намордник! Тьфу на них! Где ошейник с номером?

– А я их сразу на Бобика и надел.

– Что-то я не видела.

– А он как-то сразу убежал.

– Ты по поселку его искал?

– Искал. И сейчас пойду.

Куда он мог подеваться? Мать начала привязываться к Бобику,

которого сначала и видеть не могла. Все грозилась на улицу выгнать. Да как такого красавца выгонишь. Ласковый такой песик, помесь дворняги и карельской лайки. Голову набок склонит и внимательно так тебя слушает. Еня вместе с Бобиком прочитали толстенный том «Боев в Финляндии». Хвост колечком. Никогда не выпрямит.

– Ты Бомбик – военная собака. Держи хвост пистолетом, – говорил Бобику Эдуард.

Он и лаять-то лаял только по делу. Но зато на Витьку лаял безостановочно, и лай этот постепенно переходил в рычание, шерсть становилась дыбом – вот-вот схватит. Витька орал:

– Уйми своего кабздоха, а не то я его на турнике повешу.

– Ты его сначала поймай.

А с Еней Бобик гавкнет раз и внимательно смотрит на мальчика: «Смотри, мол, видишь, что творится. Что ты об этом думаешь?»

Еня сказал матери:

– Сейчас приду, – и вышел на крыльцо.

У крыльца с охником в зубах стоял Витька:

– Стишок знаешь, Поп?.. У попа была... Ну... кто?

– Собака.

– Нет, Поп. Не собака. У Попа была... коза, через жопу тормоза. Поп на ней дрова возил, через жопу тормозил... Глянь вон туда. Мильтон на веревке вроде бы твоего кабздоха волочет.

Действительно, молодой милиционер тащил упирающегося скулящего Бобика. Собака увидела Еню, и скулеж ее заметно повеселел. Бобик имел жалкий вид. Шерсть свалялась, а в двух местах была даже вырвана небольшими клочьями.

Милиционер подошел к ребятам:

– Попов Павел Иванович здесь живет?

Витька в изумлении открыл рот и молча переводил взгляд то на Еню, то на милиционера. Растерянный и похолодевший Еня сказал:

– Пойдемте.

Бобик начал прыгать на Еню, стараясь лизнуть того в лицо.

– Как я вижу, твой. Держи, – милиционер протянул Ене веревку. – Пошли.

Милиционер приосанился, приобрел важный вид человека с порт-

фелем и, зайдя в комнату, где мать, стоя, чистила картошку, спросил:

– Попов Павел Иванович здесь живет?

На лице у матери заиграла широкая счастливая улыбка, сменившаяся после паузы недоуменным взглядом.

Милиционер положил портфель на стол, слегка подвинув картофельные очистки, порывшись в портфеле, достал какую-то бумажку, заглянул в нее, потом снова убрал и опять начал рыться. Наконец достал небольшой квиток, положил его на стол и сказал:

– С него штраф десять рублей. Пускай распишется вот здесь.

Тотчас же мать передернула от страха. Она вдруг завывала с причитаниями, словно на кладбище:

– И на кого ты покинул меня, сокол ясный! Сколько я горевала без тебя. Эти сволочи отняли золотого тебя у меня, несчастной, а теперь даже с мертвого какие-то деньги выколачивают. За что? Ты, счастье мое, жизнь за них отдал, за сволочей этих, а они теперь какую-то жалкую десятку хотят содрать.

Вконец перепуганный милиционер начал успокаивать маму:

– Успокойтесь, гражданка Попова. Успокойтесь. И не думайте ничего такого. В поселковом Совете ваша собака Бобик зарегистрирована за номером 325 на имя Попова Павла Ивановича, поэтому и штраф выписан на его имя.

– Какой штраф? – немного успокоясь и вытирая фартуком глаза, спросила мать.

– Ваш Бобик описал пиде... пьянде... поста... в общем, ту подставку, на которой стоит бюст Ленина у клуба имени Дзержинского. Мы его поймали, составили протокол, задержали и вот... получите и распишитесь.

– Твоя работа, гаденыш? Это все Эдька твой. Такой ничему хорошему не научит. Ты что это такое сотворил? Подлый ты человек. Разве можно на отца собак вешать?

– А на кого? Ты же Бобика на улицу хотела выгнать, а я, говорят, еще маленький

Мать снова заплакала, притянув Еню к себе, и начала гладить его волосы. Бобик, в один присест умяв миску каши, ласково поскуливая, принялся лизать маме и Ене руки, намереваясь допрыгнуть до лица.

– Да отстань ты. Еще деньги за тебя, паразита, платить. Ссышь

куда попало. Где я их возьму? Неделя еще до полочки. Пусть в поселковом, если могут, подождут. Я занесу.

Милиционер попрощался и ушел. Мать поджарила картошку, и они поужинали.

На следующий день на одном из уроков Ене захотелось в уборную. Он поднял руку, и его отпустили. Проходя по коридору, он увидел Витьку, которого за что-то распекала завуч Клавдия Ивановна.

– После того как ты оскорбил Маврикия Петровича, я вынуждена поставить на педсовет вопрос о твоём дальнейшем пребывании в школе.

Еня замедлил шаг.

– Зачем ты это сделал?

– Я не хотел его оскорбить. Просто с нехорошими словами я лучше запоминаю.

– Тебе еще два с половиной года до окончания семилетки. А потом куда?

– Потом... Сейчас в вечернюю пойду и на биржу¹ доски таскать. А потом в Килию на Дунай в школу судовых кочегаров. Поможем кочегарам – дадим стране угля.

– Замолчи! И мать в школу приведи. Впрочем, можешь не приводить. Сам все ей расскажешь.

Еня проскользнул в туалет.

На большой перемене он видел, как Витьку окружала большая толпа.

– Витька, чего Клавдюха-то? За что?

– За то! Я Маврюге «Бородино» прочитал на уроке. Он же ни фига не слышит. А тут еще как услышал.

– Ну и что?

– А то. Я прочитал: «Забил снаряд я в жопу туго и думал: «Угощу Маврюгу»».

Он меня турнул из класса, я вылетел и прямо на Клавдюху, а тут и Маврикий выскочил и начал ей капать.

Тут Витька заметил Еню и грозно погрозил ему кулаком.

– Смотри у меня, Поп. Мы еще встретимся с тобой на узенькой дорожке.

Вечером на этой самой дорожке Еня встретил Витьку.

¹ Витька имеет в виду биржу пиломатериалов.

Тот шел и горланил: «Из-за пары чарующих кос с оборванцем подрался матрос». Упершись грудью в Еню, Витька спросил:

– Таблицу умножения выучил?

Одиножды один – шел гражданин.

Одиножды два – шла его жена.

Одиножды три – в комнату вошли.

Одиножды четыре – свет погасили.

Одиножды пять – легли на кровать.

Одиножды шесть – он ее за шерсть.

И – заехал Ене в ухо.

Еня устоял на ногах и сказал:

– Когда я вырасту, я обязательно найду тебя и убью.

– Ты!.. Ты!.. Твой рот насрал! Слабак ты. Пощупай, какие у меня мускулы. Железо! А когда ты вырастешь, они у меня будут еще больше и крепче. А тебя я и сейчас одной левой.

– А я подкараулю тебя сзади и вот таким длинным ножом в спину. Раз – и прямо в сердце. Возьму дома нож и буду все время с ним ходить.

Тут Витька неожиданно подставил Ене подножку. Тот упал навзничь, больно стукнувшись затылком. Витька в одно мгновение сел своей задницей на лицо Ене, да так, что тому сразу стало нечем дышать. Лицо покрылось испариной, он ощутил струйки пота под мышками и начал задыхаться. Сердце, казалось, вот-вот выскочит из груди. Руки-ноги онемели, и сбросить Витьку не было никаких сил. Витька виртуозно длинно с переливчатыми трелями пукнул и громко со злобой прошипел:

– Нюхай, дружок, хлебный душок... И никогда никому не ври, что у тебя есть отец.

Еня хотел оправдаться, что он никому и никогда не говорил о том, что его отец жив. Он просто-напросто всего-навсего хотел только зарегистрировать Бобика за взрослым, так как детей в поселковом ну никак не хотели считать за хозяев.

Мать, конечно же, не в счет. И у Бобика оставался один хозяин и заступник – отец. Но Еня не мог вымолвить ни слова. Вдоволь напрыгавшись на Енином лице, Витька гордо удалился, громко распевая: «Он шел впереди с автоматом в руках, моряк Черноморского флота».

Долгое время Еня не мог подняться. Ноги не хотели слушаться. В висках пульсировала кровь. Он не плакал, но лицо его было мокрым. Казалось, что он не сможет встать никогда. А вдруг да Витька пойдет сейчас вешать Бобика. На турнике.

И он встал, а по пути домой с наслаждением думал, как он всадит нож в Витькину спину. Завтра же. А если не завтра, то обязательно когда вырастет, лет так, скажем, через десять-двадцать-тридцать. А может, и через все сорок. Да хоть когда-нибудь. Но обязательно.

Но завтра Еня струсил взять с собой из дома большой кухонный нож. Почему-то, непонятно почему, стало жаль маму.

В своей взрослой жизни Евгений Павлович Попов в мечтах по-прежнему убивал многих своих обидчиков. Особенно перед сном. По утру жажда крови исчезала. Появлялись другие не менее завлекательные желания.

А взрослому Витьку он так никогда и не встретил.

Он был скрытен, и это мешало ему жить, а может, вовсе и не это, а ...

*Петрозаводск,
2005 г.*

ПЕЧАЛЬ ДОЛГОЖДАННЫХ ВСТРЕЧ

Рассказ

У

него не было с собой никаких вещей кроме смены белья, мыла и зубной щетки с пастой, которые прекрасно умещались в «дипломате». Поэтому он решил просто прогуляться по собственным памятным местам приморского поселка, чтобы вновь коснуться тех крохотных кусочков земли, где он пережил до сих пор не распутанный сознанием клубок чувств, в котором на сегодня преобладала нежность. Просто нежность. Без определенной направленности. Когда-то здесь случалось и не очень для него хорошее, но у нормального человека детство и юность всегда счастливы. Он вспомнил «Юность» Джозефа Конрада, обрушивающую на читателей шквал морской жути, и безадресно улыбнулся. Юность сама по себе счастье.

Бывшая главная улица была почти разрушена временем и людьми. Еще стояло несколько двухэтажных домов, построенных после войны. Рядом высились скелеты недостроенных пятиэтажек, в трещинах между блоков которых зеленела не только трава, но кое-где пробивались крохотные тополя, родители которых дожили свой век, создавая своей могучей громадой приятную тень и придавая нежную элегичность элементарной разрухе, припахивающей Чернобылем.

Непонятно кому помешали наполовину каменные детские ясли, связанные с той еще добротной официальной советской

архитектурой тридцатых годов без всяких наворотов. Ясельная печаль умирала на пригорке живописными оперными руинами. Его первое детское воспоминание было от того военного года, когда горели эти ясли. Не от немецких бомб, а от простой неосторожности. Дома у окна он прыгал на руках у мамы и, что-то лопоча, показывал ручонкой на огненные сполохи. В тот раз пожар погасили довольно быстро.

Напротив яслей стоял остов бывшего учительского дома, где кроме учительских семей размещалась и школьная библиотека. Он вошел в переполненную солнечным светом просторную комнату, где жаркое лето добивало своими лучами легкий запах гнили.

Тогда комната тоже была наполнена косыми лучами, пронизанными едва видимыми веселыми пылинками. Сегодня же ослепительный свет обрушивался прямо сверху через остатки сгнившего потолка...

– ...бедный мой Леша. Ты так долго ждал меня. Если бы я знала, что ты придешь сегодня менять книги, я бы, честное слово, не опоздала. Ничего не могу с собой поделывать. Опаздываю и опаздываю. Осенью наверное меня за это с работы выгонят. А сейчас, летом, у меня всего-то несколько читателей. Ты, Леша, самый главный. Давай переоформим твою карточку. В четвертый перешел, да? Ты у меня уже все книжки перечитал для своего возраста.

– Ну и что. Я уже три раза читал «Остров сокровищ» и еще возьму.

– Леша, хочешь я тебе принесу из дома сказки Андерсена? У нас есть старое толстое издание.

– Хочу. Я никогда их не читал, кроме «Гадкого утенка» в «Родной речи». Миля, обязательно принеси.

Какие красивые картинки были в Милиной книжке.

«...Позолота вся сотрется, свиная кожа остается...»

Не осталось даже вихрящихся пылинок.

С главной улицы он свернул в сторону порта. На месте портовой конторы, она же вокзал и башенка радиостанции, была разровненная бульдозером пустота, из которой торчком торчали грязные рейки. Рейки, из которых десятки лет искусственно создавалась береговая линия. Коса, идущая к основному пассажирскому причалу и двум грузовым, дыбилась теми же рейками, похоже, взорванных динамитом. Причалов не просматривалось.

Виднелись только сваи. Еще дальше в заливе маячили верхушки каких-то затопленных судов, скорее всего барж. Фашистский десант, не добравшийся до маленького порта во время войны, похоже, дорвался до цели через шестьдесят лет.

Он повернул обратно и пошел к старинному деревянному мосту, за которым высилась громада главного кубического корпуса лесозавода. Лесозавод, вернее его разгромленные останки с провалами квадратных черных глазниц, оказался на месте. Динамита, наверное, не хватило. Зато вместо моста оказалась мощная насыпь, оформленная сверху современным асфальтированным покрытием.

Несмотря на ужасающую разруху, перед входом на территорию завода стояла аккуратненькая пластиковая проходная с бравым охранником в удобно подогнанной форме, явно с западного плеча.

– Можно пройти?

– Зачем?

– Я когда-то сорок лет назад работал здесь. Правда, не на заводе, а в ремонтно-механической мастерской. Да это не имеет никакого значения.

– Абсолютно. Не положено. Да и смотреть нечего. Сорок лет, конечно, многовато. Ну, лет пятнадцать назад еще туда-сюда. А сейчас-то... Нет, нет, не положено...

Их было четверо: добродушный богатырь Владька Лодочкин, запросто управляющийся в одиночку с коробкой передач ЗИЛа, Юрка Котрех, изящный стильный малый, механик со специальным образованием, работающий почему-то слесарем, умеющий находить неполадки сразу по звуку двигателя; остроумный, старомодный, в матросских клешах, и тем не менее очаровательный в любом общении Славка Шестов. И Леша, только-только начинающий «звездеть» на сцене леспромхозовского клуба то в роли конферансье, то в роли Елеси в пьесе Островского. Они были молоды и грязны внешне. Совсем не потому, что им нравилась техническая грязь, а потому, что в ремонтной мастерской не было душа, а соляркой и теплой водой с мылом так сразу ее не отмоешь.

Сегодня они решили пойти с работы через биржу пиломатериалов, которая раскинулась на берегу залива километра на полтора. По обе стороны широкой тесовой мостовой простиралась своеобразная необычная улица из штабелей, вкусно пахнущих

стружкой, смолой и еле уловимым сладким ягодным ароматом северного леса.

У причалов кипела жизнь. Все флаги в гости были к нам.

– А это что за флаг с елкой?

– Елка! Это тебе, Шест, не елка, а ливанский кедр.

– Голову на отсечение даю, что эти чуваки в форменках говорят не на ливанском.

– Ливанцы говорят не на ливанском, а на арабском. Вообще-то, у них суда зафрахтованы и команда чаще всего интернациональная. Так что говорить они могут на каком угодно языке. Вон вчера на танцах к нам парень подошел. Бруно с «Капитана Шерпа». Живет в Триесте, мама русская, паспорт итальянский, а ходит на фээргэшном судне.

– Да, а греки, которые нам на днях новый танец показывали «Сиртаки». Те вообще на мальтийском лесовозе обитают.

– Вера, привет.

– Мальвинка, вечером придешь на танцы?

– А тебе какое дело! Если и приду, то не к вам, стилиаги недоделанные.

– К нам не к нам, а в праздник всегда небось в нашей компании.

– Посторонись! Вы что, оглохли?

Парни шарахнулись в сторону. Мимо на полном ходу с грохотом и визгом мчался финский лесовоз в виде огромной буквы «П» с пакетом «сороковки» в подбрюшнике. Лесовоз резко затормозил.

– Герка, привет. Работы, как видно, хватает.

– Мать-перемать. Десять немцев грузятся. Да еще на рейде пара судов стоит. Держите пачку «Честерфильда».

– С чего это ты такой сегодня добрый?

– С завтрашнего дня работаю стивидором. Считайте, что угощаю.

– Не считаем. «Честерфильдом» не отделаешься. С тебя бутылка.

– Вечером у Юрки.

– Заметано.

Они уже подходили к заводской проходной на выход и, завидя издали пожилую охранницу тетю Шуру с казенным ружьишком, грянули:

*К заводским корпусам тянется дорожка,
И по ней шагаю я, вытимиши немножко.*

Тетя Шура, зная их как облупленных, попыталась посторониться, но не тут-то было.

Славка встал как вкопанный, долго и внимательно посмотрел на охранницу и без тени юмора произнес:

– Тетя Шура, дай пострелять.

Тетку Шуру от нахлынувшей злости прямо перекосило, и она затарахтела:

– И в кого ты такой нахал, неуважительный, уродился? Подлый ты человек! Пакость! Я ведь знаю и мать твою, и бабушку. И отца знала. Никогда не думала, что у них такая грязь родится. Ты, морда чумазая, умываешься когда-нибудь? Руки хотя бы моешь? Пострелять ему захотелось!

– Грязь в нас самих, тетя Шура. В субботу вечером заходи в баню. Убедишься, что я не только умываюсь. А в армии мне всего-то два раза стрельнуть дали. Да и то на похоронах. Ты же знаешь, что я в стройбанде служил. Дай стрельнуть, тетя Шура.

– Я тебе сейчас стрельну.

Тетя Шура схватилась за ружье, похоже намереваясь двинуть Славку прикладом, но тут же охладела и дружелюбно спросила:

– Ты вот что лучше скажи, Шестов: сколько времени? У меня в караулке часы остановились.

Славка наклонился и начал задирать штанину на правой ноге. Задрал. Внимательно посмотрел на голую ногу, опустил штанину, задрал другую.

– Ты что делаешь, пакостник?

– Как что? Смотрю, на какой ноге у меня сегодня часы.

– Разве на ноге часы носят?

– Конечно. Сама говоришь, что руки у меня грязные. Зато ноги всегда чистые. А часы, сегодня, оказывается я дома на рояле забыл.

– Тьфу на тебя! Проходите! Нечего здесь торчать!

Они выскочили через проходную, и Юрка тенорком пропел:

*Тетя Шура, тетя Шура,
Симпатичная фигура...*

– Я сказал: не положено. Возьмите разрешение в администра-

ции поселка, тогда я вас и пропущу.

Он не стал препираться, но пойти за разрешением, разумеется, и не подумал. Отойдя от проходной, он через горку решил сходить посмотреть на свою ремонтную мастерскую.

В районе бывшего футбольного поля возвышались белые пятиэтажки, среди которых несколько выделялись дом культуры, школа и почта. Поступь светлых многоэтажек была направлена в сторону рыбозавода, приткнувшегося к самому берегу залива. Белый город, наверное, отлично смотрелся с другого берега. Урбанистическую идиллию портили несколько недостроенных провинциальных небоскребов, будто кто-то разовой волей прекратил строительство будущего Города солнца.

Дорога к ремонтно-механической мастерской заросла и превратилась в узенькую тропинку, по которой, похоже, мало кто ходил. Вот отсюда его мастерскую когда-то было видно. Сейчас же долгожданному обзору архитектурно-технического пейзажа явно мешала молодая зеленая поросль. Все быстрее и быстрее раздвигая ветки, он пробирался сквозь кусты и обомлел. Впереди гладко перепаханное черное пространство. Пространство это необязательно захватывало и всю видимую часть биржи вплоть до самого берега. Из всех бывших цехов нагло жужжал единственный уцелевший столярный барак с парой гробов и восьмиконечных крестов у ворот.

Дядя Степан, конечно, умер. Дольше ста лет здесь не живут. А остальные в сегодняшней столярке ему неинтересны. Хоть кто там.

Он повернул назад и вошел в белый город. Перед комплексом ослепительно светлых пятиэтажек расположился небольшой торговый центр с довольно просторным, но тихим рынком, где обширные предложения явно преобладали над скромным спросом. Он подошел к прилавку, над которым весело трепыхался лозунг «1000 мелочей за 10 рублей», и с удивлением купил, действительно за десять рублей, перочинный ножик со штопором. Необходимая вещь.

– Вы не скажете, семги можно здесь купить?

– Видите в том углу женщину с грибами и ягодами? Вот у нее и спросите.

Все понятно. Так же, как и сорок лет назад. А вдруг и женщина та же? Нет. Если и подойду, то завтра.

Он поднялся на пригорок и вышел на окраину. Перед ним была

лесная дорога, ведущая к пионерскому лагерю. Он подошел к старому домику, стоявшему почти на опушке леса, и машинально, приблизившись к заднему фасаду, прикоснулся к нему рукой. Рука попала в не особо глубокую нишу, откуда он вытащил истлевший клочок газеты. «Пионерская правда. 196...»

– Леша. Вот и я. Долго ждал?

– Нет. Всего минут пять.

– Слушай, здесь уже рядом мостки. Чего ради я пойду по поселку со своими туфлями на шпильках в руках. Давай я здесь переобуюсь, а эти мои шленды где-нибудь здесь спрячем. А?

Лида развернула лакированные туфельки, завернутые в «Пионерскую правду», переобулась, почти бесплотно одной рукой легко коснувшись Леша, потом быстро завернула свои «шленды» в газету.

– Куда мы их денем?

Леша глянул на дом. Некуда. Он обошел его, увидел под обшивкой небольшую нишу и засунул в нее руку. То что надо.

– Давай сюда.

– Леша, у нас с тобой времени на танцплощадке всего один час. В двенадцать часов в лагере полный отбой. Если заметят, то мне могут воспитательскую практику не поставить. Я полностью доверяюсь тебе.

Она взяла его под локоть, и примерно метров сто они с трудом ковыляли по последнему отрезку лесной дороги. Скоро начнутся мостки, и на нашу парочку уже глянь – залюбуешься. На Лиде цыганская юбка колоколом, правда, несколько укороченная, ножки точеные, рукавчики фонариком. Леша тоже хорош. Черный костюмчик, брюки в меру узкие, носочки беленькие, сегодня галстук-бабочка, завтра шнурочек, а послезавтра темный с яркими пятнами. На танцплощадке они тесно прилипли друг к другу и, не особо обращая внимание на музыку, слегка топтались на одном месте.

Тумба леле, тумба леле оля ля.

Тумба леле, тумба леле оля ля...

Он двинул знакомой лесной дорожкой. Непонятно, подросли или нет огромные сосны. Правда, и тогда некоторые из них на-

считывали больше века, но сейчас лес почему-то стал светлее. Близость невидимого моря слегка касалась губ еле уловимым вкусом беломорских ламинарий и пронизывала ярким солнечным светом достаточно густую сосновую рощу с нежно-охристой корой, которую он только мог охватить взглядом. Дорога была вроде бы та же, покрытая переплетением верховых корней, и вроде бы, что казалось ему странным, несколько наезженной. Он скоро понял чувство этой наезженности. Невдалеке на пригорке раскинулась огромная заброшенная стройка то ли гигантского завода, то ли фешенебельного отеля. Именно с этого места открывался вид на залив, а в хорошую погоду, как сегодня, великолепно просматривалась безбрежная морская даль, не нарушаемая солнечным ветерком, скорее создаваемым, чем ощутимым.

Он постоял несколько минут и пошел дальше, удивляясь, что помнит каждый поворот, каждое дерево, каждый пенек, ничуть не изменившиеся за эти долгие годы. Лесные дали чуть высветлились, и он понял, что подходит к лагерю. Показалась та же самая ограда. Только за оградой вместо наполненных веселой пионерской жизнью барачных корпусов стояло несколько новорусских коттеджей, в которых сквозь якобы столичный шик проглядывалась явно провинциальная нехватка непонятно чего. Прежним было только светлое, спящее глаза море и маленький островок, на который во время отлива так же можно было зайти пешком. Но старого лоцманского домика уже не было. Между двух старых сосен, чтобы увидеть кроны которых, нужно высоко задирать голову, были те же самые качели. Он сел на них.

- Леша, завтра танцев нет. Куда пойдем?
- Здесь рядом в клубе рыбозавода кино «Жажда». Туда и пойдем.
- Леша, раскачай меня высоко-высоко.

Он слез с качелей и раскачал их так, что самому стало страшно за Лиду. Он немножко пригасил качели, подождал, когда они остановятся и сел рядом с девушкой...

Подошел охранник с добродушной не по должности овчаркой.

- Что вы здесь делаете?
- Ничего. Просто я когда-то бывал здесь в пионерском лагере.

Если вы не против, я немножко посижу здесь.

– Только если немножко. Наши отдыхающие уехали в море на рыбалку с инструктором, так что сидите.

- Ловится?
- А не все ли равно. Вы бы заглянули в наш холодильник!
- Народу много бывает?
- Так. Единицы. Так что приезжайте к нам.
- Спасибо. Подумаю.

Он вспомнил, что это место с качелями издавна называлось «Царскими воротами».

Только он остановил качели, как налетела туча комаров. Он снял одного кровопийцу с Лидиной щеки, достал из кармана бумажку и положил туда комара.

- Зачем это?
- Засушу его и буду всю жизнь носить с собой капелечку твоей крови...

*Ночь бывала с ливнями,
И трава в росе.
Про меня: «Счастливая», –
Говорили все.
Все ждала и верила
Сердцу вопреки.
Мы с тобой два берега
У одной реки...*

Он пришел домой и положил комара в первый том Хемингуэя. Через много лет комар куда-то исчез. Улетел, наверное.

Они танцевали всего один месяц.

А потом... Морской пассажирский катер «Рулевой» и... «На пароходе музыка играет...»

*Я помню море голубое.
Волшебный солнечный закат.
А мы прощаемся с тобой,
И вот уже последний взгляд.
А волны плещут за кормою.
Смогу ли вновь тебя обнять.
Где ты, далекий друг синеокий...*

Он никогда больше не видел Лиду и ничего о ней не слышал. Добродушная овчарка обнюхала его ноги, немножко почихала, положила передние лапы на доску и ухитрилась как-то боком

положить голову к нему на колени. Он посидел немного не шевелясь, потом осторожно слез, извинился перед симпатичным животным и побрел в сторону поселка. Скорей бы гостиница.

Обратно идти было гораздо легче, хотя усталость уже начала цепляться за ноги.

Он прошел «белый город», вошел в старый центр, и вновь теплые волны былого коснулись его, сегодняшнего.

Он зашел в дом к Владьке и удивленно обрадовался. Владькина сестра Светка, разбирая на столе почтовую посылку, вытаскивала из ящика коробку конфет «Морские камешки».

– Света, стой! Меняю коробку ассорти на «Морские камешки».
– Согласна. Неси.

Леша помчался в магазин, тотчас же приволок коробку с шоколадным набором и получил «камешки».

Еще вчера Рита Коробкова в клубном буфете упомянула, что ее любимыми конфетами являются именно «Морские камешки», которых она сто лет уже не видела. Рита приехала в поселок несколько месяцев назад и благодаря Леше стала вхожа в их компанию.

Рита была интеллигентной девушкой, товароведом, неброское обаяние которой прямо расцветало при малейшем общении с приятным для нее человеком.

– И чего ты в ней, Леха, нашел?
– Как что? Я красивых таких не видел.
– Ну ты даешь! Две доски сложены, да еще кое-что вложено.
– Заткнись.
– Да ладно тебе. Уже и пошутить нельзя.

Он застал Риту в правлении клуба, где она всегда снимала шубу, валенки и прочие причиндалы, превращаясь из довольно-таки плотной дамы в тоненькую принцессу, на которой надето скромное, но настоящее вечернее платье, единственное в поселке.

– Алеша, спасибо. Это подвиг. Я-то знаю, что, по крайней мере, в течение года «камешков» в наших магазинах не было.

После танцев на крыльце он своим дыханием стал отогревать огромные заиндевшие Ритины ресницы. Ему казалось, что, когда она моргает, раздастся еле слышный хрустальный звон. Отогрел. И они стали целоваться. Алеша попытался растянуть Ритину шубу.

– Алешенька, не надо, ты меня заморозишь. Лучше пойдем ко мне чай пить с «камешками».

– А твоя хозяйка дома?
– Дома.
– Выгони.
– Ты с ума сошел. Пусть с нами посидит.
– Это ты с ума сошла. Знаешь сколько времени?
– Алеша, ну пойдем.
– Рита, давай в следующий раз.
Следующего раза не было. Рита уехала...

«Алеша, я давно собиралась написать тебе эпистола. Собралась. Из поселка я уехала в Москву. Пока просто так. Но хочу осенью попытаться в Плехановский. Еще не знаю, на какой факультет. Наслаждаюсь Москвой. Была в Большом. Смотрела «Жизель» и «Вальпургиеву»! «Жизель» так себе, но «Вальпургиева»! Как обольстительна и чертовски хороша Раиса Стручкова. Я очень хотела почему-то, чтобы ты был рядом. Очень. Не знаю почему. Вы все очень хорошие, но очень уж простые. Что-то я застряла на «очень». Наверное потому, что что-то «очень» было у меня благодаря тебе...»

Перед тем как пойти устраиваться в гостиницу, он зашел за сигаретами в магазинчик с трогательным названием «На камушке». Название было вполне оправдано, так как павильон стоял на широком каменном выступе. В магазинчике было на удивление изобильно, просторно, чисто и светло.

Старый, но вполне крепкий мужчина с красным обветренным лицом и еще более красным носом, напоминающий старого морского волка, ушедшего на покой, расплачивался за фляжку коньяка и блок «Винстона».

А вот этого никак не может быть, потому что быть этого никак не может. Вот уж кого он никак не ожидал встретить. Может, это его младший брат, а то и сын? И он не придумал ничего глупее, чем подойти к человеку и, чувствуя непреодолимый стыд, тем не менее спросить у него фамилию.

– Драчев моя фамилия. Александр Мартынович. А вы кто? Мне кажется, что я вас когда-то видел.

– Александр Мартынович! Дорогой, любимый вы наш начальник. Я Леша Гусев. Если помните, я работал в бригаде слесарей у Филиппыча в конце пятидесятых – начале шестидесятых.

– Ну, насчет любви... Не все, конечно. Вспомнил я тебя, Леша.

Правда, больше не по работе, а по самостоятельности... Не все конечно любили. Кого-то я ведь выгонял. В основном за пьянку. Хотя у некоторых мужиков руки были золотые.

– Еще бы вы меня по самостоятельности не помнили! Как вы тогда нас с Виталием Яковлевичем на репетиции в медницком цехе застукали.

Александр Мартынович весело засмеялся:

– Да, картина на всю жизнь. Прихожу в цех, а Яковлевич перед тобой на коленках ползает. Плачет. Требуется деньги какие-то вернуть, которые ты у него украл. Я в полном недоумении. Вроде бы такой воспитанный, честный парень.

– Вы как посмотрели на меня, нехорошо так, и негромко, но жестко так сказали: «А ну, гад, верни деньги старику». Яковлевич как вскочит да как понесет на вас: «Это начальство долбаное всегда не вовремя подваливает. Не брал он у меня никаких денег. Мы репетировали. Извини, Александр Мартынович. Он Елесю играет, а я Крутицкого. «Не было ни гроша, да вдруг алтын».

– Помню, я рассердился сначала на вас, кажется, сказал, что самостоятельностью в клубе надо заниматься, а не в цехе, а Филиппычу вообще надо лучше за тобой смотреть, а то болтаешься ты, Алексей... забыл ваше отчество... как...

– Да что вы, Александр Мартынович, какое там отчество. Леша я.

– Ладно. А то болтаешься ты, Леша, по чужим цехам, вместо того чтобы быть на своем рабочем месте. А на спектакле вы с Яковлевичем были лучше всех.

– Ага. «Что за неволя мне себя водкою огорчать, коли я перед собой такую сладость вижу».

– И руку ей на талию кладешь, а она у тебя все ниже и ниже оказывается.

И они весело рассмеялись.

– Александр Мартынович, тут рядом где-то Славка Шестов жил. Я чего-то дом забыл. Не помню уже.

– Помни не помни. Нет Славки. Умер. Только на пенсию вышел. Пару лет пожил и умер. Работал бы да работал. А где работать? Леспромхоз разгромили. РММ нашу тоже.

– Я уже видел.

– А от завода что осталось? За год до столетия устроили взрыв старинной паровой машины и котла. Как с иголочки паровичек

был. Одесский. 1903 года рождения.

Он вспомнил школьную экскурсию с физиком «дядей Мишей» в машинный зал завода. «Дядя Миша» говорил тогда: «Как игрушечка! Наверное, единственная осталась в СССР в таком отличном состоянии. Хоть в Политехнический».

– Кто это сделал?

– Ищи-свищи кто. Не без участия последнего директора. Как у того лесовоз где-то в море затерялся, так и сам директор исчез неизвестно куда. Крупный куш хапнул.

– А Риммочка Славкина?

– Как Слава умер, она, говорят, к рюмочке стала прикладываться. Может, зря говорят. Никто ее пьяной никогда не видел. Через год и ее не стало.

– А Валентин, электрик?

– Тот тоже на пенсию вышел, но подрабатывал постоянно. Электрик всем нужен. Глаукому у него обнаружили. Время от времени в Мурманск ездил к врачам. Последний раз поехал и не вернулся. Что-то еще у него там нашли. В общем, получилось, что залечили.

– Об остальных боюсь и спрашивать.

– Спрашивай.

– Герка?

– Остепенился. Не сосчитать, сколько ходок сделал на зону, а поди ж ты, уважаемым человеком стал.

– Так ведь ходки-то его в основном за мелкое хулиганство были, а Геркино хулиганство иной раз, во всяком случае на моей памяти, от резкого неприятия явной подлости или несправедливости. Раз – и в морду.

– Так-то так. Если со стороны. А если тебя? Герка мастер на все руки. Недавно еще у меня работал. Хотя как недавно. Вроде уже больше десяти лет прошло. Без рекламаций работал. Последнее время макеты делал старинных церквей. Норвежцы у него покупали. Дом себе на берегу реки построил. У моста, который сам и рубил когда-то. У самых порогов. Мало того что построил, всю мебель в кузнице выковал. Мне, конечно, шумно было бы на таком месте. А ему хоть бы что.

– Вот к кому я сейчас нагряну. Только устроюсь в гостинице.

– Не нагрянешь.

– Почему?

– И Герки нет. Осенью в Мурманске умер. В больнице.

Александр Мартынович опустил коньяк и сигареты в огромный пакет, уже основательно чем-то набитый.

– Куда это вы собрались?

– В больницу. Плановое обследование. Нет. Вроде бы особо ничего не болит. А здоровья почти нет. Восемьдесят четыре года не шутка. Я ведь ветеран войны. Так что грех жаловаться на внимание и заботу. Жить бы да жить. Только сил становится все меньше и меньше. Больница тут рядом. Проводи, если хочешь.

Он взял у Александра Мартыновича пакет, и они медленно двинулись в сторону больницы. Расстались у дверей приемного покоя.

Встретаться с остальными не было ни желания, ни смысла.

Он взял билет на вечерний автобус и навсегда уехал из своего потерянного рая в страну, которой уже или пока нет.

2006 г.

ПОДЪЕЗД С КАМИНОМ

Рассказ

*Светлой памяти моих друзей
Гали и Славы,
которые остались молодыми
навсегда*

До сих пор не знаю, жалею или не жалею о том, что не подошел к ней тогда после экскурсии и не поблагодарил. Трудно переваривать все это, когда тебе дурными голосами вдалбливают, что в доме-комоде жил и кашлял Чехов, что в Пушгорах именно на этом месте похмельный Довлатов читал «Ты еще жива, моя старушка», а здесь, на Мойке-2, все затмевает неизвестная многим морошка, которая стала его последним желанием, и кое-кто начинает сразу перешептываться, «что это такое, морошка», и у одной-двух, чаще всего пожилых, женщин при этой, да пропади она пропадом, морошке вдруг непроизвольно увлажняются глаза. И экскурсовод-то, малопривлекательная худенькая дама средних лет принадлежит ко всей этой обычно-обыденной музейной атрибутике, но вот, поди ты, она, постепенно разжигала и разжигала меня какой-то едва уловимой пушкинской обезьянистостью и совершенно невероятным, почти монотонным способом донесения смысла и духа достаточно сложного пушкинского стиха. Конечно же, она тут совсем ни при чем. Все это Пушкин. Конечно, Пушкин. Но почему же тогда волосы ее так курчавятся и, попадая изредка под луч настенной лампы, иссиня отливают негритянской чернотой. Да и ненаманикюрные ногти поблескивают с намеком на синь. По-

хоже, что она еврейка. Конечно, евреям легко переключаться на Пушкина. Они такие черненькие. Я почувствовал, что мои щеки стали красными. Тронул тыльной стороной ладони. Так и есть, горят от стыда. Как я не сразу почувствовал, что все, что касается Пушкина, причем Пушкина именно этой квартиры, странно переселилось в душу этого, как мне кажется, не всем раскрывающегося экскурсовода. Это редкие взмахи рукой. Мощнейший скрытый порыв пушкинского движения. Любого движения. Души и тела.

Вдруг разом все кончилось. Наваждение исчезло. Конечно же, у этой дамы нет ничего общего с поэтом. Тем более что она заканчивает свою экскурсию этакой тенденциозной фразой, из которой следует, что она и дирекция музея, а может, только она, слишком много о себе воображают.

– Я даже не знаю, как здесь будет лет через пять-семь... (Как-как. Как было, так и будет.) ...потому что мы на днях закрываемся на капитальный ремонт. (Не вы, а музей-квартира Пушкина.) Я по натуре пессимистка. Поэтому думаю, что ремонт затянется лет на десять, не меньше. (Чего тут ремонтировать-то! Десять лет!) Мне очень хочется, чтобы здесь сохранился тот пушкинский дух, которым пропитан весь наш дом, весь наш дворик, вся наша частица старинного Петербурга. И мне заранее очень жаль, что пропадет нечто совершенно незримое, которое, как бы мы этого ни хотели, воплощается в нечто материальное, то материальное, что мы вроде бы видим, но не замечаем, воспринимая как вполне естественное и не особо значимое. Дай Бог, чтобы именно это все и сохранилось. Так что лет через десять приглашаю вас на следующую встречу с поэтом.

Не знаю уж почему, но у меня мелькнула злорадная мысль: «Мы-то придем, а вот вы уже к тому времени будете на пенсии».

До сих пор не могу объяснить себе этого секундного злорадства, из-за которого я, скорее всего, и не подошел к ней.

Появился в Питере я года через три и сразу же пошел на постой к своему давнему другу и земляку Славке Маслову, недавно получившему жилье на Халтурина. Славку со свежими булками из соседней булочной я встретил у подъезда. Мы заш-

ли в просторный, неустанно громимый многими поколениями ленинградцев, но все еще до конца не разгромленный, аристократический вестибюль с ажурными узорами лестничных ограждений и шахты лифта, которого, похоже, здесь никогда и не было, в доме, построенном в самый канун Великой революции. В вестибюле был даже камин, на угольях которого слегка дрогнул пепел от каких-то, похоже, недавно сожженных бумаг. Я уставился как замороженный. Камин в подъезде не имел ни один из моих знакомых.

Маслов быстро, сбивчиво и, как всегда, невнятно и негромко начал, как бы продолжая:

– Вот он здесь и начал жечь свои бумаги и документы, какие при нем были, а велосипед у дома бросил. Во дворе, наверное. Он через двор хотел на Дворцовую выбежать, а там уже чекисты.

– Славка, какие чекисты, какие бумаги, какой велосипед?

– А, да... Ты ведь ничего не знаешь. Леню Канегиссера взяли у этого камин.

– Это тот, что ли, который Урицкого кокнул в августе 18-го? Молодой поэт?

– Угу. Так что видишь, в каком доме я живу. Это еще не все. Зайдешь в квартиру, ахнешь. А Ленины стихи я тебе дам почитать.

– Он что, издавался?

– Один-единственный раз. Эмигранты издали.

– Слушай, я не совсем уверен, но мне кажется, что и Урицкий писал стихи.

– Ни фиги себе! Творческое состязание. Но стихов Моисея Соломоновича не держу.

Маслов открыл дверь, и мы вошли, точнее, взошли, по ступенькам в длинную узкую прихожую, одна из дверей которой вела в просторную кухню, другая в маленькую комнату, а за третьей простиралось, похоже, огромное светлое пространство, сравнимое в масштабах масловской квартиры разве что с космодромом.

Мы прошли на кухню. Славка поставил чайник и сказал:

– Теперь приготовься.

Он залез в холодильник и с возгласом: «Вдруг откуда ни

возьмись маленький фуфырик», – поставил на стол чекушку.

– Чтобы помочь тебе распить маленькую, мне совсем не надо готовиться.

– Ты должен подготовиться совсем к другому, – сказал он и разлил водку по стопкам.

Выпили, закусили. Маслов спросил:

– Ну, как ты, силен?

– Я силен, к чему скрывать, я пятаки могу ломать, вот недавно головой быка убил...

– Тогда пошли.

И он ввел меня в огромнейшую комнату, где сиротливо был выделен их супружеский с Жанной уголок. А одну, самую большую из стен занимало гигантское полотно в простой деревянной раме. По грандиозности габаритов и замысла его можно было сравнить разве что с «Последним днем Помпеи» или «Явлением Мессии народу». На полотне было изображено нечто, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Я восхищенно выматерился.

– И это говорит каждый, кто приходит ко мне на встречу с прекрасным. Самое главное, что первое выражение у зрителей одно и то же. Смею думать, что этим выражением друзья единодушно одобряют мой выбор.

Я снова выматерился и понял, что вдруг как-то неожиданно лишился других слов, означающих восхищение подобного рода.

– Что это? И откуда?

– Боб, мы еще выпьем и потом разберемся. У тебя есть знакомые реставраторы?

– Есть. В Русском музее. Хороший реставратор. Барышня. Ее Галей зовут. У нее здесь, рядом на Плехашке, мастерская. Мы можем взять что-нибудь с собой и пойти к ней. Я думаю, что Галка поддержит компанию. Только, – я несколько замялся, – она барышня интеллигентная, тонкая, хотя и не лишена своеобразия. Я боюсь, что при виде этого она лишится...

Чего уж может лишиться Галка, я так и не успел сформулировать. Во всяком случае, не своеобразия. Мы заели алкоголь мускатным орехом и пошли по своим делам, договорившись встретиться через несколько часов в «Сайгоне».

Славка уже бегал там от одной компании к другой, а когда он подошел ко мне с двумя чашками кофе, какого в те времена, пожалуй, не было нигде, и мы встали за свободный столик, члены этих компаний начали бегать к нам. Тут-то я понял, что мой друг если и не был по нынешним меркам тогдашним «авторитетом», то все равно жители города Ленина, похоже, вряд ли выжили бы без него в описываемое историческое мгновение.

– Еще бы по чашечке.

– Ща. Принесу. Никого не пускай за столик и ни с кем не разговаривай.

Тут же какой-то хмырь попытался со мной заговорить, но, к моему изумлению Славка вернулся с кофе буквально через несколько секунд и глянул на хмыря. Хмырь испарился.

– Все. Освежились и пошли звонить твоей барышне.

– У нее в мастерской нет телефона.

– Тогда прогуляемся. Погода хорошая.

А погода и впрямь была хороша. Легкий морозец сменил тихий снегопад из крупных причудливых снежинок, фантастические очертания которых можно было при желании увидеть, взяв щепотку снега, а нагромождение сказочных снежинок на козырьках питерских подъездов напоминало мне несколько прилепнутые цилиндры. Я имею в виду те цилиндры, которые когда-то водружались на голову. Чудо белого Петербурга сохраняло свой феномен только в том случае, если вы шли, задравши голову, что, естественно, долго вынести было нельзя; иногда все-таки приходилось смотреть и под ноги, где серый скользкий недоубранный Ленинград мог подставить подножку освежившемуся человеку.

– Славик, только давай сначала без деловых предложений. Просто пригласи Галю посмотреть работу.

Я заметил, что сказал эту фразу с некоторой дрожью и заиканием.

– Ты что? Замерз? Сейчас зайдём в «Золотой улей» и что-нибудь возьмем. Что барышня предпочитает?

– Да, наверное, что-нибудь легкое.

– Из всех легких напитков предпочитала коньяк... Не боись. Там есть «Токай».

– Пойдет.

– Подожди на улице. Я щас.

Он вынырнул из битком набитого людми подвала через несколько секунд с двумя бутылками «Токая».

Через пару минут мы были у Гали в мастерской. Мы не виделись с ней примерно год, и она явно была рада мне. Галя была привлекательной стройной женщиной, которую отличало своеобразие во всем. Это был океан своеобразия. Причем самой главной чертой Гали была естественность. Естественность и то, что и мы теперь называем внутренней свободой. Галя была свободна во всем. В ней не было ни капли наигрыша, выпендрежа, дешевки. Галя имела достаточно ограниченный круг знакомых, к которым она очень тепло относилась, но тем не менее всех их называла на «вы». Некоторым, в том числе и мне, разрешалось говорить ей «ты». Остальных людей Галя деликатно и вежливо не замечала. В Гале чувствовались порода, отдающая русскостью, и странноватое для нашего времени хорошее воспитание, которое, очевидно, генетически досталось ей от предков-дворян, безвозмездно передавших все свое состояние пролетариату, как говаривала Галя.

Она умела красиво одеваться, но делала это исключительно редко. Чаще всего Галя надевала на себя то, что в данный момент считала удобным. Как-то в Москве в командировке ее постоянно останавливала милиция и требовала документы. Галя щеголяла по столице в своем любимом зимнем наряде – деревенском полушубке, подпоясанном пеньковой веревкой, который при всем желании никак не назовешь дубленкой, серых валенках и темной шерстяной шали.

Нас она встретила в ярком халатике с еще более яркими заплатками и в валенках на босу ногу. Я представил ей Маслова. Он сразу же водрузил на стол «Токай» и самым деликатнейшим образом спросил даму, когда ей будет удобно посмотреть у него на дому одну работу. На что Галя сказала, что ей это будет удобно после того, как она снимет компресс с картины, ковырнет ее скальпелем, выпьет с нами «Токай» и переоденется. Тут Галя слегка запнулась. Кажется, в мастерской никакой одежды не было. Галя взяла скальпель, сделала пробное

окошечко, показала его нам со Славкой, а потом принесла стаканы, блюдечко с крохотными черными сухариками и шоколадный батончик, разделив его на три части. Чай у нее был заварен. Быстро покончив с «Токаем», Галя ушла за ширму.

Через мгновение она явилась перед наши очи в своем классическом московско-командировочном обличье. Маслов и глазом не моргнул. Но в этом его неморгании явно сквозила некоторая искусственность.

– Боря и Слава, давайте зайдём по пути в какую-нибудь бутербродную.

– Никогда. Закусывать будем только у меня. Исключительно семгой. Так что не будем портить аппетит.

Семга у Славки водилась всегда, так как он уже не первое лето и осень сидел на тоне в качестве бригадира рыбаков на Терском берегу Белого моря.

И все бы ничего. Но угораздило нас проходить мимо ресторана «Висла». Маслов оживился.

– Давайте слегка освежимся.

Я глянул на Галю. Никакой реакции.

– Там прямо у входа бар. Так что и раздеваться не надо. Сидишь на качели перед стойкой, и, в общем-то, никто тебя не видит.

На качели. Это что-то новенькое.

Мы подошли к стеклянной двери ресторана, где белела неснимаемая надпись «Мест нет». Маслов вытащил железный рубль и забарабанил им по стеклу. Седобородый швейцар добобострастно открыл нам дверь. Мы начали взбираться на юркие качели, так и норовящие ускользнуть из-под наших задов, с двух сторон подсаживая Галю. Уселись с трудом. Славка подал Гале меню.

– Слава, мне, пожалуйста, какой-нибудь легкий коктейль и бутерброд с сыром, а остальное на ваш вкус.

– Один бутерброд с сыром, коктейль «Направо мост – налево мост» и два по сто.

Бармен, смешивая коктейль, сказал:

– Извините. Бутерброд будет чуть позже. Минут через десять. Он поставил на стойку наполненный бокал с соломинкой,

две стопки с водкой и бутылку «Полюстрова». Я огляделся. Главным элементом бара были веревки. Много веревок.

– Висельники, – промолвила Галя, слегка пригубив «Мостов», – а что за работа у вас?

– Работа такая, что не знаю, как и сказать.

– А по объему?

– И работа, и объем такие, что закачаешься!

С этими словами Маслов как-то ловко ухитрился раскатать качели.

Галя только успела сказать: «Интригуете», как мы оказались на полу, больно ударившись о стойку. Мне еще краем доски задело и голову. Я почувствовал, что на голове у меня зреет хорошая шишка. У нашей барышни слегка распахнулась шубейка, и она, картинно лежа на полу, проговорила:

– У меня порвалась веревка, а я без нее не могу.

Славка, вставая с легким побряхтыванием, произнес:

– Линяйте отсюда. Быстро. Я расплачусь.

Нас не пришлось уговаривать. Швейцар с выпученными глазами боязливо посторонился. Мы стояли у ресторана, привалившись к стеночке. Я прикладывал снежок к незрелой шишке, а Галя являла собой целомудренную нимфу, придерживающую ниспадающие одежды.

Маслов, как всегда, появился через несколько секунд с огромным куском веревки, поблескивая лезвием финки. Галя бросила на него любовный взгляд и быстро подпоясалась.

– Не мешало бы мне на минутку домой зайти, – проговорила она.

– Какое домой! Тут совсем рядом «Новая Голландия», а Боб ее никогда не видел.

– Слава, а вам не кажется, что там что-то военное?

Только этой очередной Славкиной авантюры нам не хватало. Мы с Галкой решительно отказались и двинулись на Халтурина. Галя жалобно поглядывала на двери бутербродных и котлетных, которые, как назло, были уже закрыты или закрывались при нашем появлении. Мы уже были хороши... Маслов без конца цитировал Пушкина вперемешку с Ахматовой, а у кинотеатра «Баррикады» начал бубнить о купцах Елисеевых и Дворце искусств. Он ничуть не подавлял нас своим интел-

лектром, так как в его монологах в основном звучала тема, а вариации и детали были недоступными из-за невнятного бормотания. У меня начала болеть голова: то ли от ушиба, то ли от алкоголя. А наша дама загадочно и, по-моему, совершенно беспричинно постоянно молча улыбалась.

До Халтурина мы плелись довольно-таки долго. Кажется, уже было достаточно поздно. Мы, не раздеваясь, прошли в комнату с шедевром. Жанна, очевидно, была в ванной.

Галя подошла к картине:

– Ой, Пушкин! Какой кудрявенький, – и прильнула щекой к поэту.

– Ой, а здесь-то! Кюхельбекер! Какой носатенький!

К нему она тоже прильнула.

Потом Галя отошла от картины, сразу помрачнела и спросила меня:

– Боря, вы умеете материться?

На что Славка сказал:

– Он тут уже с утра наматерился.

– Ну, пожалуйста.

Я выматерился.

– Спасибо.

Пришла Жанна в халате, ошеломленно посмотрела на нашу компанию и молча улеглась в постель.

– Жанна, это реставратор. Ее зовут Галя. А это Боб.

Жанна скрылась с головой под одеялом. Мне показалось, что она представляла себе реставраторов несколько иначе.

Наступила долгая зловещая пауза, во время которой Галя вымученно, но широко улыбалась. Наконец из-под одеяла показались лицо Жанны и ее обнаженная рука, что-то искавшая под кроватью. Рука с силой швырнула нам деревенское лохмотное одеяло.

– Вот здесь все трое и спите на полу. Реставрировать будете после того, как проспите, – сказала она и выключила свет. Мы расстелили одеяло под шедевром и начали стесняться. Запахло предчувствием некоей оргии через стекло. Терять было нечего одной Галке, и она решительно единым махом скинула с себя тудупчик. Я ахнул. На ней было надето только черное

облегающее трико. Фотографию манекенщицы Наоми Кемпбелл (без ничего) я увидел намного позже. Здесь было то же самое. Только Галкины формы были круглее и завлекательнее. Мы с Масловым не решились раздеться и улеглись так. Я оказался, конечно, в середине. Башка болела, кровь в остальных местах бурлила. Я вертелся как ерш на сковородке, изредка нечаянно обжигаясь Галкиным телом. Наконец-то на несколько минут успокоился и забылся. Очнувшись, почувствовал, что Галка сидит, обхватив руками колени, и силится увидеть что-нибудь на картине.

– Нет, с такими мужиками спать невозможно. Сейчас встанем, пописаем – и домой. – Галя встала и пошла в туалет. Раздался голос Жанны:

– Славик, я уже устала это терпеть. Если вы все пропили, то я тебе дам двадцать рублей, а ты срочно вызови такси и увези ее туда, откуда взяли.

Когда Галя вернулась, Маслов уже вызвал машину. Галка начала попадать ногой в валенок, который все время падал, а я размышлял, кого попридержать: валенок или Галку. Пока я думал, Галя уже была в шубейке, и Славка сказал, что мы можем выходить.

Доехали без приключений, проводили Галю до двери и договорились, что она завтра обязательно позвонит Славке. Вернувшись, рухнули, не раздеваясь, у подножия живописного монумента.

Галя позвонила вечером и сказала, что будет через полчаса. Славка расстарался. Нарезал, даже не нарезал, а напахал, нежнейшей семги. С килограмм. На что Жанна с укором сказала:

– Славик, ну куда столько?

Тот совершенно справедливо ответил:

– Барышня вчера явно мало закусила.

Галя пришла в длинном модном черном пальто и шляпе. Под пальто оказались глухой черный свитер, черная юбка, которую можно было даже посчитать мини, и роскошные длинные сапоги с раструбами. Галя никогда не красилась, но на этот раз она четко подвела губы.

Мы поставили стол с семгой и чекушку рядом с картиной,

все четверо, как истинные ленинградцы того времени, закурили «Беломор» фабрики имени того же Моисея Соломоновича, и синклит начался.

После некоторого напряжения Галя рассмеялась и сказала:

– Я придумала игру. Я отворачиваюсь от картины и наугад говорю, что там должно быть изображено, а вы находите эти детали или, наоборот, не находите. По-моему, тут есть все.

Галя отвернулась, и мы начали.

– Оковы тяжкие.

– На Кюхельбекере.

– Бал.

– В окне одного из домов танцующие пары.

– Сквозь строй.

– Пожалуйста. Солдата порют.

– Зима. Крестьянин, торжествуя...

– Пожалуйста. Хотя дело было в конце октября, но у них тут то ли осень, то ли снег.

– Возмущение крестьянства.

– Во. Мужики в лаптях что-то доказывают какому-то толстопузому.

– Несжатая полоса.

– Ты уже на Некрасова переходишь. Ага, вот и она.

– Дуэль.

– Дуэль... Дуэль... Дуэль. Боб, глянь вот здесь. Очень мелко. Кажется, они стреляются.

– Ага.

– Станционный смотритель.

– Этого можно было и не говорить. Они же на почтовой станции встретились.

Мне захотелось сказать, что, кроме всего прочего, картина была написана, очевидно, году в 1939–1940 во время дружбы с геноссе фюрером, так как позы классиков очень уж напоминают свастику, но я почувствовал, что мой исторический интеллект будет неуместен, и сказал:

– А не пора ли тебе, Славка, расколоться и рассказать нам что это, откуда и зачем тебе все это надо?

– И правда, пора. Галя, вернитесь к семге, и давайте есть ее

так, как едят у нас на Белом море. С картошечкой отварной.

Откуда, откуда. С помойки на Мойке. Сейчас на Мойке-12 – ремонт. Все разворочено. И вот иду я как-то вечером мимо, а там мусорный бак поставили прямо у арки. Гляжу, холст свернутый лежит и дождик его мочит. Я и взял. Принес домой. Развернул. Картина художника Трескина «Встреча Пушкина с Кюхельбекером». Вот и...

– И?

– Что «и»? Картину надо слегка отреставрировать и продать! Галя как-то болезненно поморщилась, а я захохотал.

– Ну, ты даешь, Маслов! Да кто тебе заплатит хоть копейку за этого монстра? Таких людей нет.

– Есть такие люди!

– Кто?

– Эгейченко из Пушкинской усадьбы.

– По-моему, ты оскорбляешь этим серьезного пушкиниста, создателя атмосферы того времени. Что ты хочешь ему предложить?

– То, что он купит! Хочешь на спор?.. Жанка, разбивай! Атмосфера!.. Еще ауру вспомни. Вы пижон, Боря, и дети ваши будут пижонами.

Не знаю уж, что меня остановило, но спорить я не стал. Маслов начал уговаривать Галю. Папироса в руке у Гали задрожала, и она медленно, с трудом произнесла:

– Слава, мне очень понравилась семга, и я надеюсь, что вы с Жанной еще когда-нибудь пригласите меня в гости... Но без всякой деловой основы.

Мы вдоволь наелись и чуть ли не молча разошлись.

Появился у Маслова я года через два. От камина в подъезде не осталось и следа. Его заложили. Славка сразу же повел меня на космодром, где на белой стене выделялась пустая рама. Я сразу впрыгнул в нее, растопырив руки и ноги. Маслов запрыгнул с другой стороны и тоже растопырил.

– Встреча Пушкина с Кюхельбекером! – заорали мы как последние идиоты.

– Где? – спросил я

– Купил, купил, купил! – прыгал Славка.

– Кто?

– Эгейченко, Эгейченко, Эгейченко! – заливался Маслов.

Вдруг он кончил прыгать и вкрадчиво-задумчиво произнес:

– Я вот что думаю. В холодильнике семга есть. Свежепротертая. А на углу Запорожского «Токай»...

А?!

Я набрал номер Галкиного рабочего телефона.

*Петрозаводск,
2002 г.*

КАНУН ТЫСЯЧА ВТОРОЙ НОЧИ

Быль

Так как жена ничего не просила, я купил огромный апельсин и отправился к роддому. Ее палата была на первом этаже рядом с одной из двух мощных венерических красавиц, фланкировавших главный вход в родовспомогательное заведение. В открытое окно заглядывала ветка сирени, охмурающая пахучесть которой, к счастью, ни у кого из лежавших не вызывала аллергии, а наоборот, навевала самые приятные ностальгические чувства, почему-то слегка окрашенные легкой и светлой печалью. Как только моя голова показалась в окне, тотчас же к нему почти легко, пытаясь безуспешно лечь круглыми пузиками на широкий подоконник, подскочили три бывшие девушки. Моей среди них не было. Словно выстроившись во фронт с прямыми спинами, они сообщили:

- А Виола час назад родила девочку. Поздравляем.
- Спасибо.
- Как назовете?
- Как, как. Откуда я знаю. Наша студенческая группа решила дать имя дочке на собрании.
- А у самих фантазии не хватает?
- Хватает. Даже слишком. Виола вам, наверное, говорила,

что она хочет назвать дочь Элиной в честь своей любимой актрисы Быстрицкой.

- Ой, какое красивое имя!
- Только, если я и люблю Быстрицкую, но не настолько же.
- А как бы ты назвал?
- Виолой.

Девушки захлопали в ладошки, а одна из них сказала:

— Говорят, это к несчастью. Нельзя называть детей именами матери и отца.

— Вот и не будем. Держите апельсин и скажите, как найти сестру?

— Зайди с парадного и позвони.

Вообще-то, можно было и не искать. Сестра поздравила, сказала вес дочки, который я тут же забыл и потом, как говорили знакомые женщины, называл им совершенно жуткие цифры. Ни маму, ни дочку в ближайшие часы увидеть было нельзя.

— Приходите завтра. У них все в порядке.

Я вспомнил вчерашний вечер и похолодел. А если бы это вчера и случилось?

Мы за месяц взяли билеты в филармонию на вечер Сурена Кочаряна. Поперек афиши висела наклейка с восклицательными знаками:

«! Программа вечера будет объявлена особо!»

Вчера и случился тот самый вечер. Виола уже была в роддоме. Ее взяли на сохранение за несколько дней до предполагаемых родов. Я приходил под ее окно вечерами. Вчера я заявился в свадебном еще костюме, купленном в комиссионке, и при галстукке.

— Ты что это так вырядился? Пока рано.

- Не рано. В самый раз.
- Ой, ты ведь на Кочаряна идешь! Да?
- Ага.

— С кем?

— Ни с кем. Хотя это идея. Сейчас Лорке позвоню.

— Никаких Лорок. Стой здесь и жди.

Жена отошла от окна и засуетилась около своей тумбочки. Потом она посоветовалась о чем-то с товарками по счастью и подошла к окну.

— У нас есть минут десять?

— Ты что? С ума сошла! Вот так в халате?
— Конечно, нет. Сейчас с помощью девочек я приоденусь. Часов до десяти никто из сестер в палату не заглянет. Тем более из врачей.
— А если заметят?
— Выгонят досрочно.
— А если этим рожать припрет?
— Девочки, вы до одиннадцати потерпите?
— Потерпим. А лишнего билетика у вас нет?
Тут юмор меня покинул. Вдруг да еще эта мелочь пузатая увяжется. Физиономия моя стала совсем кислой.
— Я пошутила.
Жена собралась. Облачилась в какой-то просторный минибалахон и подошла к окну.
— Девочки, помогите.
Виола взобралась на подоконник, осторожно села на него и спустила ноги на улицу.
— Я обхватчу тебя за шею. А ты держи меня. Крепче держи.
Я удержал с трудом. Хорошо, что вовремя отцепилась. Еще секунда, и мы упали бы.
Девушки в окне с завистью смотрели на нас.
Хоть бы никого знакомых не встретить.
Не встретили.
У самой филармонии мы остолбенели в полном счастье. Виола кинулась мне на шею. Она, конечно же, никак не могла пропустить этот вечер.
— Слушай, кончай висеть на мне. Сейчас упадем.
На афише огромными буквами было написано:
«СУРЕН КОЧАРЯН. ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
Несколько месяцев назад, еще зимой, мы ездили ко мне на родину в Умбу, что на Белом море. Я уже намеревался жить постоянно в Петрозаводске и хотел перевезти свою достаточно большую библиотеку, где-то более тысячи книг. Транспорт был возможен сначала только один — самолет Ан-2 до Кировска, а там по железной дороге. В аэропорту, прикинув вес груза, мне назвали примерную стоимость перевозки. Получалось так, что я должен был заплатить за перевозку полную стоимость книг. Таких денег у нас не было. Мы с Виолой соста-

вили список и пошли в районную библиотеку. К счастью, у нас там купили чуть ли не все. Незадолго до этого в библиотеке произошел пожар, и мои книги оказались как нельзя кстати. А перед этим жена, листая красиво изданный восьмитомник «Тысяча и одной ночи», сказала:
— Вот это-то мы и оставим. Каждый вечер перед сном ты будешь читать мне по одной «ночи», дорогой Шахерезад, мой повелитель.
Я фыркнул. На повелителя я не тянул.
В Петрозаводск мы приехали с восьмитомником и огромной сёмжиной, которой долго еще угощали своих знакомых.
А с чтением на ночь все как-то не получалось.
Я пришел в трехкомнатную квартиру одиннадцатым жильцом, и поздно вечером или домочадцы с соседями не спят, или они уже громко храпят, или же вообще жена говорит, что она устала согласно сложившейся советской традиции. Так что осталось только желание. И вот оно — странное это осуществление. Как говорил один из наших любимых героев: «Сбылась мечта идиота».
СУРЕН КОЧАРЯН. «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ»
В крохотном зале деревянной избяной филармонии знакомых, слава Богу, не оказалось.
На сцене стояло удобное, спокойное, огромное, выдавшее виды кресло. Никакой красы в нем не было. В глубине сцены стоял рояль.
Погас свет, и на сцену вышел пожилой полноватый мужчина, на вид добрый, умный и по-восточному несколько сладковатый. Раздались аплодисменты. Артист поклонился, удобно разместился в кресле, закрыл глаза и, похоже, уснул. Поза и настроение его явственно говорили, что перед нами сладко отдыхающий, почти дремлющий человек. Вдруг губы его разжались, и он словно спросонок начал:
— Ла, илаха, илла-ла,
Алла, бесмилла, илла-ла...
И уже серьезнее, тверже, но со сладинкой:
— Нет Бога, кроме Аллаха,
И Магомет пророк его...
И понеслось. Тончайшее искусство словесных модуляций,

какой-то особенный, необычный характер скупых жестов. И вот перед нами сказочный сад с виноградом разных цветов; лимонами цвета, подобного золоту, яркими апельсинами и разноцветными яблоками. «И были в этом саду всякие плоды, цветы и зелень, и благовонные растения — жасмин, бирючина, перец, лаванда и роза, и баранья трава, и мирта, и все цветы полностью, всех сортов. И это был сад несравненный, и казался он смотрящему уголкем райских садов. А соловьи и дрозды нам щебетали в нем как влюбленные».

Артист снова закрыл глаза и вновь словно задремал. К роялю подошел музыкант, и полились чудные звуки «Шахерезады» Римского-Корсакова. Пианист был достоин чародея-чтеца. Жаль, что на афише не была указана его фамилия.

Актер, очевидно, отдохнул, и тембр его голоса, внутренняя окраска и мелодия постепенно таинственно и загадочно полностью слушались внутренних мотивов арабских сказок. Это было именно то, что мы хотели еще в Умбе, нечто пряное, на редкость прекрасное, совсем не наше, нереальное, находящееся между сном и явью. Слегка приторная восточная сладость куда-то исчезла, и огромное богатство эмоциональных оттенков нигде не переходило ни в актерскую напыщенность, ни в мелодекламацию. Рефреном звучала фраза: «И царь отказался от убийства своего сына». И каждый раз она звучала по-новому.

Все слушали Кочаряна с легкой приятной улыбкой, потому что все-таки это сказки и в них попадают иногда забавные герои, особенно ученые мужи, вызывающие искренний смех, но смех этот ничуть не преувеличен, а несколько деликатен, интеллигентен, что ли.

И вот к героям сказок Шахрияру и Шахрезаде пришли Разрушительница наслаждений и Разрушительница собраний. Все кончилось. А мы готовы были слушать Кочаряна хоть всю ночь. Хотя, это, пожалуй, слишком. Надо возвращаться.

— А ты говорил мне: «Лорка. Лорка». Какая Лорка, если это теперь на всю жизнь!

Я молчал и со страхом думал: а вдруг да в заведении уже обнаружили пропажу?

— Ты быстрее можешь?

— Нет, только так.

Целую вечность мы добирались до роддома, хотя был он совсем недалеко.

Наконец пришли. И новая проблема. Как Виоле залезть в окно. Хотя палата и на первом этаже, подоконник примерно на уровне моей шеи.

Все дамы подошли к окну и сообщили, что нам несказанно повезло: никто из них не разродился и к ним никто не заходил. Проблема только в одном — как Виолу затащить в окно.

— А ты встань на четвереньки головой к стенке, а Виола к тебе на спину, и ты постепенно и медленно выпрямайся, а мы хватаем ее за руки и подмышки, — сказала нам самая веселая и находчивая.

Так мы и сделали. Акробатический этюд прошел на «ура». Напряжение у меня спало, и я немножко расслабился. А довольной Виоле казалось все было по фигу. Она переделась и подошла к окну. Прямо сцена у балкона из «Ромео и Джульетты». Тут-то и явилась медсестра:

— Быстро закрыть окно. Оставить только форточку. Всем спать. А вам (т. е. мне) домой.

Я ушел с чувством отлично исполненного... сам не знаю чего.

Это было вчера.

А сегодня...

Я пришел домой. Меня уже ждал Юра, Виолин брат, студент.

— Юра, собирайся.

— Кто?

— Дочка.

— Куда?

— В «Северный».

— Идем. Только мне через полчаса нужно позвонить Вале.

— Оттуда и позвонишь. Из автомата на крыльце.

Эта таинственная Валя... Мы с Виолой знали, что она существует, но пока еще не видели.

В ресторане было относительно свободно, и мы сели за свободный столик на четверых.

Подошла официантка. Принесла толстенное меню. Мы с удовольствием его почитали и без особых разногласий заказали по мясному ассорти, по отбивной, немного коньячку, шампанского и кофе.

Официантка спросила:

— Вы не торопитесь?

— Что вы. У меня дочка прямо вот сейчас родилась. Так что посидим.

— Поздравляю. Сколько весит?

Я назвал какую-то несусветную цифру.

— Сколько, сколько? Да что вы!

— Ой, я, наверное, что-то перепутал.

— Скорее всего, да. Отдыхайте.

Мы посидели, поговорили о наших с Виолой перспективах, которых пока не было, и тут Юра вспомнил о звонке.

— Ты пригласи Валю сюда. С ней и отметим.

— Нет. Она сегодня занята. Точно не придет.

— А ты хорошенько ее попроси.

— Попробую.

Юра ушел. Время тянулось. Ресторан постепенно заполнялся посетителями. Юра не появлялся. Зал был уже полон. Пошла официантка.

— Где же ваш друг?

— Ушел звонить из автомата. Как подойдет, так и несите.

— Хорошо. Только я хочу сказать, что администратор просит посадить за ваш столик двух летчиков. Вот они ждут у входа.

— А к нам, может, еще девушка придет.

— Тогда я вам еще стул принесу. Хорошо?

— Хорошо. Сажайте.

За столик сели два молоденьких лейтенанта.

Официантка довольно быстро заставила столик их заказом, а я сидел и недоумевал, что с Юрой. Человек он совершенно неконфликтный, вежливый, весь из себя манерный, к тому же лауреат конкурса балльных танцев. Непонятно. Сколько можно звонить Вале, тем более что телефон совсем рядом. На крыльце ресторана.

О, радость! Наконец он появился. Но вид у него какой-то странноватый: возбужденный и расхристанный. Такое впечатление, что его только что побили или, наоборот, он кого-то уделал. Галстук на боку. Да и пиджачок сидит как-то боком. Юра поприветствовал летунов, несколько успокоился, сел и

привел себя в порядок.

— Ты где был?

— Вале звонил. Уговаривал.

— Похоже, что не уговорил девушку.

— Ни ее, ни дядю Сашу, швейцара.

— А этот-то при чем? Мы, когда заходили, его вроде и не было.

— Зато потом стало. Я довольно-таки долго с Валею говорил.

Позвонил — и в ресторан. А в дверях дядя Саша руки растопырил: «Мест нет». Я ему говорю, что мы с другом там уже полчаса, наверное, сидим. А он: «Не ври. Я тебя здесь не видел». Я начал с ним объясняться. Прошу тебя позвать. В очках такой, с бородой. Один за столиком сидит. А он: «Что ты мне лепишь? Все места за столиками заняты давно уже. Так что отваливай!»

— А ты?

— Что я? Я его отодвинул и сюда.

— А он?

— А он как-то споткнулся и упал. Башкой о барьер еще стукнулся.

— Ну, ты даешь.

— Молодец парень, — восхищенно сказали лейтенанты.

Официантка принесла закуски и шампанское.

— Открыть?

— Открывайте.

На эстраду, вместо задника которой был открытый выход на веранду, вышел оркестр, и бодрый атлетически сложенный певец, начал зажигать пламенеющую публику.

Раз, два, туфли надень-ка!

Как тебе не стыдно спать.

Добрая, старая, смешная "Енька"

Нас приглашает танцевать.

Моментально образовалась змейка «летки-енки», которая все втягивала и втягивала в себя отдыхающих. Впереди всех прыгал наш знакомый Жора. «Вот кого надо пригласить за наш столик», — подумал я.

В бокалах оседало шампанское, а я рассказывал летунам о нашем поводе. И вот тут-то произошло явление. В дверях воз-

ник милиционер с помятым дядей Сашей. Они растерянно озирались по сторонам, не зная пока, где же им искать дяди Сашиного обидчика.

— Юрка, беги.

Бежать было некуда. Змейка «летки-енки» полностью загородила дорогу к спасительной веранде. Лауреат не растерялся. Он пристроился в хвост «змеи» и запрыгал вместе со всеми. Поравнявшись с эстрадой, он мощным прыжком рванул на нее, а оттуда в одно мгновение перемахнул через балюстраду.

Раздался милицейский свисток. У «змеи» наступило легкое замешательство, и она на какой-то короткий миг распалась. Но певец-молодец не подкачал, и воскресшая «летка-енка» как ни в чем не бывало запрыгала снова.

Мильтон со швейцаром и официанткой подходят к нашему столику.

— Пройдемте со мной в отделение, — сразу же пригласил милиционер.

— Этого я вообще первый раз вижу, — сказал помятый дядя Саша.

— Тот был вместе с ним, — подсказала официантка. — Давайте рассчитаемся.

— Горячего мы не ели, к закуске не притронулись да и шампанского даже не пригубили.

— Это уже ваше дело. Шампанское давно уже открыто. Ассорти на столе. Отбивные уже стоят у меня на раздаче. Куда я их теперь дену? Больше их никто не заказывал. Кофе могу в счет не включать.

Да. Гульнуди. Я мрачно осознал, что мне никак не выкрутиться, рассчитался и сказал лейтенантам:

— Ребята, выпейте хорошенько и закусите за здоровье моих доченьки и жены. Отбивные им и принесете.

Мы вышли. Спускаясь с крыльца, увидели, как милиционеры сажают Юру в «воронок».

— От нас не спрячься. Пьяный дебош с рукоприкладством... Рассказывай.

— Что рассказывать? Сами видели, что мы ни грамма не успели выпить.

— А друг-то твой? Он не пьяный пришел?

Я собрался и начал подробно рассказывать о рождении дочери, о звонке Вале, о внезапно появившемся дяде Саше...

— Тот еще провокатор. И чего твой друг с ним связался? Никогда с ним не связывайтесь. Заложит... Значит, так. Сейчас пойдешь в отделение, обратишься к Коле, дежурному.

— Какой он мне Коля!

— Тоже верно. К Николаю Васильевичу. Расскажешь ему все, что мне рассказал. Пусть проверит твоего друга на алкоголь. А если он ни грамма не выпил, как ты говоришь, то об чем речь. Дядю Сашу все знают.

Я чуть ли не бегом рванул в милицию.

— Здравствуй, Николай Васильевич.

Старший лейтенант долго и молча разглядывал меня. Но без всякой агрессии. Почти дружелюбно.

— Говорите.

— К вам сейчас привезли моего родственника Юру...

Дежурный заглянул в журнал.

— Есть такой. Пьяный дебош с рукоприкладством в ресторане «Северный».

Я чуть ли не обрадованно подтвердил.

— И что вы хотите?

Я вновь связно и словно заученно повторил всю нашу одиссею.

— Поздравляю. Все-таки от меня-то что вы хотите?

— Проверьте, пожалуйста, моего шурина на алкоголь.

— Это можно.

Он нажал кнопку и попросил привести Юру. Через пару минут сержант привел моего элегантного родственника, который, правда, уже источал легкий запах «обезьянника». Увидев меня и трубку на столе дежурного, Юра все понял и заулыбался.

— Ну-ка, подуй сюда... Еще сильнее... Еще.

Трубка не реагировала.

— Сержант свободен. А этого я беру на себя.

Милиционер ушел, и дежурный обратился к нам:

— И вы свободны. Чтобы я здесь вас не видел.

Мы вышли на улицу.

— Скорее бы домой. Эх, и наедемся.

— Не наедемся.

— Это почему?

— Дома хоть шаром покати. Я должен был все купить. А теперь уже все магазины закрыты.

— Да. Погуляли.

И вдруг на наше счастье впереди замаячил ларек. Пожилая продавщица уже собиралась закрывать ставни. Мы поспешили.

Я, остолбенев, уставился на витрину. За окном возвышалась груда только появившихся тогда килограммовых банок сгущенки.

— Мальчики, я закрываюсь. Ничего не продам. Касса уже снята.

Я зачарованно молчал, проглотивши язык.

Всего три года назад в археологической экспедиции мы молча сидели с Виолой у ночного костра. Виола безуспешно большой ложкой пыталась выскрести что-то из давно опустевшей банки сгущенки. Красноватые отблески играли на ложке даже тогда, когда девушка вытаскивала ее из банки, перед тем как отправить в рот. «Пора загадывать», — решил я. И загадал: «Если она еще хоть раз залезет ложкой в пустую банку, то обязательно будет моей женой...»

— Нам ничего не надо. Только одну банку сгущенки.

— Хорошо. Только если без сдачи.

Я подал деньги.

— Держите.

Юра взял банку, и мы пошли в сторону дома. Но судьба не собиралась выпускать нас из своих цепких лап.

На пустынной площади Ленина вдали показалась двигающаяся навстречу нам фигура, в которой мы, хотя и не сразу, узнали...

— Это же надо. Смотри. Дядя Саша. Собственной персоной. Юра, извиниться не хочешь?

— Я еще буду извиняться! Пусть он извиняется... А впрочем, пожалуй, надо. Ты, наверное, прав. — Юра слегка обогнал меня и пошел навстречу швейцару.

Я застыл. Сюжет, достойный кисти Айвазовского. Красноармеец с гранатой идет навстречу вражескому танку.

Юра крепко зажал в руке сгущенку и остановился. Дядя Саша тоже. Все его внимание было приковано к банке. Юра набычился и начал что-то тихо говорить. Слова до меня не долетали.

Дальше произошло нечто невероятное. Дядя Саша нелепо, но высоко подпрыгнул по какой-то странной кривой траектории, сравнительно мягко упал на асфальт и задергался. Я подбежал к беседующим и понял, что у нашего оппонента эпилептический припадок.

— Юра, бежим.

— Слушай, может, ему «скорую» вызвать?

— А в «легавку» не хочешь? У него припадок. У одного моего знакомого точно такие же. Очухается и пойдет дальше.

Мы забежали в подъезд ближайшего дома и пережидали какое-то время. Когда мы вышли, вперив глаза в то самое место на площади, и следов дяди Саши не было.

Придя домой, мы рухнули не солоно хлебавши. Назавтра я узнал, что нашу доченьку зовут Юля. Так единогласно решила вся наша группа. Я шел по улице почти счастливый, потому что где-то в глубине моей души скреблись какие-то кошки.

Я свернул к ресторану. И тут наконец лицо мое расплылось в счастливой глупой улыбке. На крыльце ресторана в позолоченной ливрее, монументально возвышаясь над улицей Энгельса, красовался блистательный дядя Саша, и на его физиономии ярко горел и переливался всеми цветами радуги мощный подглазник.

Петрозаводск,
1998 г.

А МОЯ МАРФУТА УПАЛА С ПАРАШЮТА

Вечерний теплоход с туристами запаздывал, и все островные экскурсоводы, сидя у музейной проходной, лениво перекидывались друг с другом просто словами. Жара под 30 градусов и не думала спадать, но о том, чтобы выкупаться, не могло быть и речи. По радиации передали, что теплоход будет с минуты на минуту, а купаться идти аж на другой берег.

Голова была горячей и пустой. Юра уже провел свои три экскурсии и сидел на лавочке с отключившимся сознанием, надеясь, что четвертую он проведет «на автопилоте». Не обязан он вести ее, да больше некому. Только бы не как в прошлый раз. Выйдя из богатого крестьянского дома через сарай, он снова завел группу в дом через крыльцо и уже в сенях опомнился, что они заходят туда во второй раз. Ну да ладно. По-быстрому напел всяких баек. Так сказать, закрепили увиденное.

Сквозь липкую дрему Юра услышал нечто, заставившее слегка включить внимание.

– Ой, девчонки, что со мной было... (девчонки, потому что в расслабленном состоянии на лавочке сидели шестеро девиц в легких нарядах и кемарил молодой человек).

... Подходит начальственный теплоходик, и оттуда выкатываются пятеро американцев. Муза Ивановна представляет им Ленку, та: «Гуд монинг. Плиз, леди энд джентльмены» и отваливает с ними. А я, как умная Маша с вымытой шеей, жду

своих «новых русских». Сходят. Деньги Музе сразу отдают. Она меня представляет: «Люда». Я чего-то начала лопотать, а самый толстый Музе: «Обижаешь, мать» Та захохотала, что да как, да почему. А тот ей: «Почему тем на английском, а нам на русском?» – «Так вы ведь английского не понимаете». – «Ну и что? У нас переводчик есть».

Скорее всего, приснилось ему это. Про «новых русских» даже и анекдотов таких нет. Леня даже Людку переспросить.

Загудел теплоход. Через пять минут причалит. Сполоснуть в озере лицо, пока тот не пришвартовался, не мешает. Сполоснул. Приготовился.

– Ваш экскурсовод Юрий Иванович. Можно просто Юра. Мы будем общаться с вами примерно два с половиной часа.

Все начало повторяться. В основном эти дурацкие вопросы об их быте, особенно зимнем. Опять не перепутать бы свои клишированные ответы на столь же штампованные вопросы.

– А вы зимой здесь живете?

– Нет, зимой в городе. Но эту зиму я собираюсь остаться на острове и поработать в плотницкой бригаде.

– А вам здесь не скучно? – раздался приятный девичий голосок.

Юра после актерски заполненной паузы выдал девице одну из своих коронных реплик:

– А что вы можете предложить?

В ответ на это должно было последовать девичье смущение и хихиканье остальных. Юра победно обернулся и столкнулся с совершенно неожиданным. Девушка, слегка смутившись, с налетом едва видимого наигрыша, доверчиво и серьезно произнесла:

– Я пока еще не знаю. Но подумаю. Можно? У нас еще есть время.

Время у нее есть. Всего-то два часа, за которые он, как кот ученый, должен говорить какие-то сказки.

Юра сначала так и шел со свернутой шеей и лицом, обращенным к маленькой изящной блондинке в полосатеньких лосинах, которые только что вошли в моду. Хотя выходить вот так на экскурсию, пожалуй, было дурным вкусом. Но они ей так шли. Да с такой попкой что угодно надень. Все будет к лицу, правда это не лицо. Но все равно красиво.

Он начал просыпаться и в нарушение всяческих инструкций и методичек слегка отстал, взял девушку под руку, и они уже вдвоем, слегка оторвавшись, пошли впереди группы. Юра почувствовал, что остров принял их, и если он сейчас что-то вынужден будет говорить, то это никак не будет высшим автопилотажем.

Все, что есть на острове, люди увидят и без него. Но ему вдруг стало почему-то ясно, правда непонятно зачем, что этим людям, а может, совсем и не им, а только беленькой необычной девчонке он должен сказать о том, как здесь жили русские крестьяне. Жили в ладу со стихиями, и лад этот часто бывал красив и гармоничен внешне, но внутренне физически и психологически страшно изнурял их до изнеможения; а крестьянин, несмотря на свой консерватизм и заскорузлость, был человеком творческим, освоившим огромный разнообразный мир, чуждый «идиотизму деревенской жизни». Мир этот, которого уже давно нет, был просто красив, и рожден он был в повседневном труде, в постоянной связи с полем, лесом, озером, родной избой и запахом своей деревни. Он попытается рассказать им об этом, они, может быть, полюбят Остров, а она полюбит остров и за него.

Девушка вдруг порывисто и нежно обняла Юру, заставив остановиться. В этом движении чувствовалось что-то животное... Прямо перед ними переползала дорогу здоровая гадюка.

– Я их так боюсь... Хотя, кажется, вижу в первый раз... Меня Аленой зовут.

Кажется, все насмарку. Они не успеют полюбить Остров, а только запомнят экскурсовода, который обжимал девицу с их теплохода.

Он встал напротив часовни, обернулся к группе и продолжил рассказ, даже не рассказ, а просто свои мысли о русском крестьянстве, к которому вдруг почувствовал странную нежность, незнакомую доселе.

Он понял, откуда это исходит, бросив взгляд на Алену, которая перешла за спины туристов, чтобы не смущать его.

Какое там.

Ему был виден только крохотный кусочек ее лица с одним глазом, но глаз этот генерировал в его сторону нечто теплое и, может, даже приятно прохладное, во всяком случае пока не

известное его душе. И это незнакомое распаяло его любовь ко всему живому, что составляло сиюминутную жизнь.

Она снова пошла рядом с ним молча, обжигая его своим присутствием. На лице ее блуждала полуулыбка, которая никому не предназначалась, а просто была, наверное, ее естественным состоянием. Ей не нужна была речь, и поэтому он тихонько спросил ее:

– Вы студентка или работаете где?

– На телевидении. Я только начала работать. Наверное, вот вот буду редактором. У меня первый отпуск. А учусь я заочно на филфаке, – и замолчала.

Они не сказали больше ни слова друг другу и всю экскурсию и проходили рядышком, чуть прижавшись друг к другу.

А в конце его четвертой экскурсии, критически оценить которую ему просто не дано, раздалась аплодисменты.

Через двадцать минут теплоход уже отчалит. Он идет провожать Алену и не может ей сказать ни слова, потому что своими крестьянами завел публику и вся группа идет рядом и задает умные вопросы, а он вынужден только отбивать мячи. Они подошли к причалу за десять минут до отхода теплохода и ощутили время, которое бросило их в объятия.

– Как снег на голову, как снег на голову, – шептала Алена.

– Нет, это ты как снег.

– Ленчик, кончай эмоции. Я уже соскучился, – раздался голос из параллельного мира, а конкретно со второй палубы.

Юру внутри обьял холод, и он с трудом спросил:

– Кто это?

– Никто... Три часа назад он считался моим приятелем... Ты не ревнуй меня, пожалуйста... Если очень хочешь, то можешь ревновать только к самому себе.

– Убрать трап. Отдать швартовы, – раздался голос капитана. Радист, перед тем как поставить отходную музыку, зачем-то бродил по эфиру и на мгновение задержался на частушке:

– Девушки где вы?

– Тута, тута.

– А моей Марфуты нету тута?

– А твоя Марфута упала с парашюта.

Наконец Ван Клиберн ударил по клавишам отходняк.

– Алена, быстрее, – вахтенный подал ей руку.

Алена запрыгнула на теплоход, который под Первый концерт для фортепиано с оркестром медленно двинул в сторону города. Юра провожал его взглядом до тех пор, пока он совсем не скрылся. Алена на палубе так и не появилась. И тут он понял, что не знает ни фамилии, ни города, где живет его, кажется ставшая единственной, женщина.

* * *

Запрыгнув на теплоход, Алена сразу же подошла к стойке бортпроводницы и попросила перевести ее из двухместной каюты в трехместную – к двум пожилым женщинам, с которыми она успела подружиться.

Проблем по переводу не возникло.

* * *

Зимой Юру обуяли тоска и томление. Попытки вытравить из сердца Алену, в основном водкой и куревом, ничем не завершились. С водкой он расстался без сожаления, а курить курил, стараясь делать это пореже. Не пить было трудно, так как по пятницам вся плотницкая артель откровенно надиралась. И хотя в общежитии у него была своя комнатка на одного, желающих с ним пообщаться, когда выпьют, было предостаточно. Он специально старался изнурять себя работой и всегда подставлял свое плечо под комель бревна. Болели руки, спина, но со снегом боль уменьшилась и кровавые мозоли на ладонях затянулись грубой шершавой кожей.

– Чего суетишься? Приглядывайся ко мне. Я на работу как на отдых хожу, достаточно того, что дома от пуза намудохаться, – как-то сказал ему Платоньч. Старый плотник вроде бы работал замедленно, основательно, но топором махал с двух рук и в итоге за день выдавал самую большую выработку.

Юра присмотрелся, и ему действительно стало немножко легче физически.

Только зачем?

Сегодня пятница, и впереди опять два мучительно томи-

тельных дня. Юре захотелось зайти ненадолго к мужикам.

Бригада получила деньги и опять пьет. Среди них не было ни одного, кроме Юры, кто не оттянул бы срок. Все как один они были тихие, неразговорчивые и обед готовили каждый себе отдельно, чаще всего просто разогревая на плите рыбные тефтели или кашу с мясом прямо в банке и заваривая в кружке чифир, чаинки из которого потом сушились на газете повторно. На тумбочках у всех висели замки. Но после получки дверцы тумбочек открывались настежь, что-то начинало шкворчать в огромной сковороде, и все начинали делать какие-то салаты, весело подначивая друг друга. Это веселье продолжалось после принятия минут двадцать, а дальше разговор часто шел на повышенных, иногда приближаясь к истерике. На них нападала тоска, о которой сказал поэт:

*Мы тосковали по-мужичьи
На грубом нашем языке,
О снежной белизне постели,
О верхней вздернутой губе,
О гибком и красивом теле,
На пытку отданном тебе.*

Вот и сегодня у печки на корточках сидит уже набравшийся Платоньч и бубнит свой бесконечный монолог о давно прошедших днях. Мужики говорят про это, а телевизор включен, и в нем сидит Алена с каким-то черным парнем, который плотоядно скалится на нее. И говорит Алена о том, что экологическая редакция начинает цикл передач «Земля – вода – воздух» и через неделю будет передача о парашютном десанте на Остров «Цветное небо».

Экран с Аленой вдруг задержался, и по нему пошли косина и мелькание. Но Юра ухитрился услышать:

– Остров. До встречи.

Он подошел к телевизору и шандарахнул по нему кулаком. Мелькание не прекращалось. Он налил себе полстакана водки, выпил ее одним махом и пошел к себе спать и ждать Алену.

А через неделю он вышел на крыльцо. Тишина стояла такая, что собаки не лаяли и за двадцать километров. И вдруг Юра ощутил в своем сознании некие странные звуки, которые при

взгляде на небо начали приобретать аранжировку вагнеровского «Полета валькирий». Перед глазами возник кадр из фильма Френсиса Коппола «Апокалипсис сегодня»: масса разноцветных вертолетов подлетала к острову.

Но обуянная тоска настолько въелась в Юрино сознание, что он даже ощутил не радость, а лишь какое-то печальное внутреннее ликование.

* * *

Вечно блуждающая улыбка на лице задумчивой Алены приобрела явно психиатрический окрас. Зубы, клацая, выбивали какую-то попсу. Вообще-то, они просто клацали, но надо же это как-то упорядочить.

К черту попсу!

И Алена почувствовала, что зубы начали выбивать то, что надо.

*Вечный покой сердце вряд ли обрадует.
Вечный покой для седых пирамид.
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг.*

Обалденной красы двухметровый чернокожий Джим, к которому она была прикована двухместной системой стальных карабинов и мягких ремней, обнажив невероятное количество зубов, говорил ей что-то, что она не в силах была услышать. Джим, конечно, не подведет, он там за бугром один из лучших парашютистов-тандемщиков, но зубы все равно клацают.

Мужские кальсоны и антарктические пуховые брюки с подогревом, казалось, не грели, холодно было внизу живота, хотя, если разобраться, то настоящий холод должен был бы касаться только части лица, не закрытого шлемофоном с очками. Или ей кажется, или на самом деле, но шлемофон вроде великоват: левый глаз мерз чего-то, да и ухо тоже. А может, это нервный тик? Ну уж тик-то она бы наверняка обнаружила, по выражению Джима. Хотя это невозможно. Ведь она его не видит. Это только он видит ее затылок.

Да не боится она совсем. Не боится. От холода все это, а не от страха.

И ничего удивительного. Ведь дверной проем открыт не так, как его открывают для пассажиров, а как при погрузке бог знает кого, коров, что ли, или оленей рогатых.

А почему тогда правый не мерзнет? Все понятно. Да потому, что на дверь косится только левый.

И пусть улыбка блуждает постоянно на ее лице. Так. На всякий случай. Ведь парашютисты говорят мало, но якобы смешно.

– Что за жизнь! Каждый день – день открытых дверей.

– Ваня, ты бы лучше, чем дверь открывать, форточку распахнул бы: и теплее, и девушке воздуха хватило бы, а то цвет лица у нее как-то изменился.

Остряк. Так он и видит цвет ее лица..

Внизу – минус пять градусов, а здесь – все минус двадцать пять.

Да еще сидеть около открытой двери. Конечно, специально их тут посадили, в случае чего так выпихнуть по-быстрому.

Нет, они все сделают как учили. Хоть бы ребята этот момент сняли с другого вертолета. Здорово потом все это озвучить бы под «Свадебный марш» Мендельсона. Надеюсь, Юрка не обидится.

В дверном проеме рядышком беленькая маленькая Алена и эффектный черный Джим. Они так стоят-стоят, а потом солдатами сгибают вниз. В цвете это будет – закачаешься!

Подлетел вертолет с оператором и пошел вровень с нашим, дверь в дверь, на самом малом расстоянии. Лешка уже наготове. Сейчас камеру включит.

На высоте уже две тысячи метров.

Алена взглянула вниз, и у нее перехватило дыхание. Но уже не от страха, а от красоты, хотя красота островных храмов показалась с высоты какой-то игрушечной и четко геометризованной. «Алгеброй гармонию проверить... изъять... разъять».

Жаль, что снег не такой чистый, как хотелось бы. Машины, что ли, у них на острове ходят? Но вроде бы их вышвырнут на большое белое пространство озера. Тогда все это будет достаточно красивенько. Кажется, опять церковь в кадр не войдет. Ну да теперь это уже не ее забота.

Алена ощутила на локте условное прикосновение Джима. И вот они уже стоят в проеме... Шаг вниз. Джим с левой ноги. Алена с правой.

– Юрка, лови... Джим, не бойсь... Ура!

Она попыталась расставить в сторону руки так, как ее инстинктивно расставил Джим, и вдруг почувствовала, что происходит что-то незапланированное. Ее вместе с прикованным Джимом начало мотать из стороны в сторону. Какой-то краткий период они даже летели параллельно земле. Она сообразила, что их накрыла мощная воздушная волна от вертолета, с которого этот идиот Лешка снимает их позор.

Наконец болтанка кончилась, и они полетели вниз разноцветными камешками. Джим повел себя вдруг как-то беспокойно, внутренне задергался и с чувством начал произносить какие-то непонятные ей английские слова. Если бы она услышала в такой интонации русскую речь, сказала бы:

– Можно без мата?

А материться ему есть, кажется, с чего. С других вертолетов два тандема прыгнули позже их, а уже парашюты раскрыты, и Валентина летит – от удовольствия ножками дрыгает.

Говорят, что, когда к человеку приходит смерть, перед его глазами мелькают картины прошедшей жизни. А тут ничего не мелькает. Какое-то спокойствие. Ни одной мысли. Значит, отмахнемся. А может, это другое, незнакомое доселе чувство...

...нет, одна мелькнула. Если что случится, то дай бог, чтобы это покрасивее как-то, что ли, произошло. Хотя чего уж тут красивого. А у этого паразитины Лешки камера только на них и нацелена. Нечего теперь жаловаться. Сама наставляла его именно так снимать.

Алена всю шею до боли извертела, чтобы увидеть глаза Джима и понять, что все-таки произошло. Не получилось. По ее подсчету, прошло уже тридцать секунд их обвала, а парашют, который должен был раскрыться на счете «двадцать», тью-тью.

Тут только до нее дошло, что Джим совсем не матерится, а почему-то наизусть шпарит на английском цитаты из инструкции. Наконец он перешел на русский, но радости от этого не возникло.

– Алена, когда я скажу, нажми кнопку запасного.

На что нажать? Откуда она знает? До этого ей никто и ничего не говорил о запасном парашюте, все были настолько уверены, что методика тандема проверена, безопасна и полностью

зависит от парашютиста-профессионала, и поэтому каждое лишнее слово будет только обременять ведомого.

– Стропы перекрутились, и я никак не могу нащупать кнопку. Две минуты у нас еще сесть.

Алена сочла, что гораздо меньше. И в этот момент она ощутила сильный толчок, отозвавшийся во всех ремешках ее парашютной сбруи.

Резким рывком, как в мультфильме, в одну секунду долгожданным фантастическим цветком за спиной у Джима раскрылся купол.

Алена вошла в доселе неведомое ей состояние новой жизни.

Единственная мысль – покрасивее шлепнуться, тотчас же покинула сознание. И вновь ее обволокли все земные заботы, облагороженные впервые переживаемым чувством элевации – жизни в полете.

Недаром, чтобы ощутить это состояние, американские дамочки платят по восемьдесят долларов за прыжок. Джим на днях там у себя прыгал с восьмидесятипятилетней бабусей, которая после полета сказала, что только теперь она осознала, что недаром прожила свою жизнь.

То, что сейчас происходит с Аленой, пожалуй, единственно приятное слияние со стихией, которое человек может осознать своим развитым мозгом.

Ожоги, падения, удушье, возможность захлебнуться – вот что уготовили нам стихии, с которыми мы всегда стремимся воссоединиться. Оболочка, будь то «Катти Сарк», «Наутилус» или «Боинг», дарят нам только чувство надутых парусов, хорошо вымытых иллюминаторов или надраенной до блеска меди. Оболочка дарит нам комфорт, пахнущий железом, а стихии за бортом остаются устрашающими и безрадостно всепроникающими.

Алене всегда хотелось проверить на себе периную мягкость облака. И вот она медленно вошла в раздерганную белесую вату маленького облачка. Уж этого она никак не ожидала. Повевало свежестью только что выкопанной могилы. Похолодевший влажный ветер коснулся ее лица как-то по-другому. Наконец-то промелькнула если не вся жизнь, то пленка как бы прокрутилась на тридцать секунд назад, и она снова, но уже

только холодным умом, пережила случившееся.

А сейчас перед ней лежал если не разноцветный, то, безупречно, блистающий мир, весь залитый мартовским светом.

– ... А что вы можете предложить?..

Алена не знала, что будет у нее с Юрой и будет ли вообще что-то. Но то, что она предложила этому засыпающему на ходу экскурсоводу – еще не предлагала ни одна женщина. В этом у нее не было никаких сомнений.

Выйдя из облачка, она уже четко видела беготню и спокойное любопытство внизу людей, среди которых, дай бог, есть Юра.

Алена осознала, что после этих трех минут она будет смотреть на всех людей как на детей-несмышленишек и с парашютом прыгать больше никогда не будет. Есть другая жизнь, к которой она прикоснулась, жизнь в блистающем мире, но ее мир совсем иной, он на земле, пропитанной людскими страданиями, и страдания эти непонятно как, но связаны с ней.

– Алена, ноги, – тихо и заботливо проговорил ей на ухо Джим.

Она согнула ноги в коленках. Потом выпрямила их под углом вперед и приготовилась.

Легкий толчок, и ее ласково встретила никогда доселе так не любимая ею земля.

Внезапный порыв ветра навзничь опрокинул ее. К счастью, упала она легко и не больно.

* * *

Когда Юра подошел к свалившимся с неба, он увидел пытающегося подняться здорового чернокожего парня. А под ним барахталась Алена, из синих глаз которой снежным комом на Юру накатывало невообразимое счастье, и нахальное счастье это громко орало:

– А твоя Марфута упала с парашюта.

Петрозаводск,
1998 год

ЖИВОЕ

Рассказ

Лиля была деревенской девушкой с высшим образованием. Университет всего-навсего совершил странно милую огранку природных любознательности, естественности и доверчивости девушки. Правда, доверчивость стала теперь чуть-чуть настороже. Лилю переполняло счастье. Прошло всего два месяца после диплома, а она уже работала в детской экскурсионной фирме: водила экскурсии, много читала и открывала для себя, а потом и для детей, этот старинный с рабочим названием город, который за время учебы стал для нее любимым и единственным. Нет, деревню она не забудет и на весь свой первый отпуск поедет к маме на Водлу, но постоянно жить там уже никогда не будет. И все-таки деревня всегда будет с ней.

На окраине в районе Петуховки Лиля присмотрела домик, ну прямо копия водлинского, и сняла там задешево небольшую комнатку с печкой-голландкой и плитой на крохотной кухонке. Дров в капитальном, на вид несгораемом, сарае хватит наверное года на три. Лиля любила сухое тепло и все пять лет жизни в батарежном уюте общежития больше всего тосковала по живому огню русской печки, да хотя бы просто, но весело потрескивающим поленьям любой печки. С водой на новой квартире особых проблем не было. Колонка была прямо у дома.

Ради бога не подумайте, что Лиля стала почему-то браться деревни. Все эти годы она честно готовилась стать сельской учительницей, покупая непонятно на какие гроши множество книг, которые пригодятся в деревне. Вся ее комнатка набита классикой, пособиями по литературе, русскому и английскому. В случае чего Лилия могла вести и английский. Университетским образованием был предусмотрен такой случай. Но деревня исчезла. Вдруг. Неожиданно и бесповоротно. Лиле предложили очень хорошую работу. И все тут. Домик подвернулся тотчас же. Как в сказке.

Лилия обычно ходила пешком, почти бежала по главной улице Петуховки и только-только успевала к началу работы. Подробно ознакомиться с окрестностями своего нового местожительства у нее не было времени. До сегодняшнего дня. А сегодня у нее выходной, и ей просто хочется пройтись по заросшей сиренью окраине, где на огородах запоздало поторапливаются с посевной цыгане, еще со времен царя Гороха почему-то облюбовавшие эту часть города. Во многих дворах хрюкали энергичные, многодеятельные свиньи, которых в тушеном виде, с картошечкой, очень обожали петуховцы. Под этот хрюк Лилия почувствовала себя странно виноватой. Деревня деревней, а она, пожалуй, не смогла бы там у себя забить, скажем, свинью. Хотя забить-то, предположим, мог бы сосед, которого многие приглашали по такому случаю. Училке делать такое вообще не пристало. Хорошо. Забил. А дальше-то? Снимать шкуру, разбираться с кишками да с ливером. Нетнет. Лилия честно хотела научиться всему этому и вполне понимала маму, которая все обещала да обещала пригласить соседа дядю Мишу, чтобы он показал, как это делается. Обещала да обещала. Лилия на это обещание уже и внимание-то перестала обращать. Но вот в один прекрасный день, Лилия тогда еще в десятом классе училась, мама, выйдя из чулана, сказала:

– Солонина кончилась. Дядю Мишу звать надо. Пусть овечку зарежет. Ты мясо разберешь, а я все основное сделаю.

На следующий день пришел дядя Миша. Степенно поговорив с мамой о деле, сказал Лиле:

– Ну, пойдем, деушка. Кружку возьми с собой. И таз, само

собой разумеется. Еще лучше два.

Странно. Зачем брать с собой какую-то кружку? Лилия взяла самую красивую. Белую-пребелую, с кувшинкой в тихой заводи.

Они пошли на сарай. Дядя Миша спустился в хлев и приволок дрожащую, упирающуюся овечку. Та и мекнуть не успела, как дядя Миша, зажав ее между ног, двумя движениями вытащил нож из голенища и перерезал ей горло. Овечка особо и не трепыхалась.

– Кружку! Быстрее! Да что с тобой? Пошевеливайся, деушка.

Лилия в недоумении протянула забойщику кружку. Дядя Миша одной рукой как-то слегка расширил рану, другой поставил кружку:

– Хочешь?

Лилия в ужасе отшатнулась.

– А зря. Вкуснее свежей кровушки ничего на свете нет.

И, аппетитно жмурясь, даже, как показалось Лиле, урча, он со вкусом выпил всю кружку. Лилия старалась не смотреть на дядю Мишу, а только слушала, что он говорит, не глядя.

А вообще-то, ничего здесь нет интересного. На этой старой Петуховке. Не на чем глазу остановиться. Вот жили бы здесь новые русские, таких особняков наворочали – приходи глядеть. А так живут в основном пожилые, достаточно зажиточные цыгане, старомодные и в домах, и в одежде. Хромовые сапоги да костюмы-тройки. Про женщин и говорить нечего. Как только выйдут замуж, так нарядятся так, как и сто лет назад ходили. Только что зубы у всех золотые. А молодые ребята и девчонки такие же, как все. Те, кто выбрал ПЕПСИ. Только, кажется, к труду больше привычные, как у нас в деревне раньше было. На огородах сегодня все возрасты. А может, и не надо ей было в городе оставаться? Как бы она вела свой класс в деревне с пятого по одиннадцатый. А здесь... И все-таки какие чудные ребята приезжают на экскурсии. Особенно маленькие. Вцепятся своими ручонками в нее, так и ходят день-два-три. Путевки обычно трехдневные. Так жалко потом с ними расставаться. Лилия помнит всех своих детей. Особенно маленьких.

Девушка подошла к небольшому пустырю, где стоял огромный мусорный бак с крышкой. Рядом было некое подобие свалки, которую с остервенением разгребали наглые вороны. При виде Лили они моментально разлетелись с хриплым недовольным карканьем. Наступила относительная тишина.

Не хотела она смотреть на дядю Мишу, но как-то так получилось, что совсем нечаянно глянула, увидела кровь на его бо- роде и снова отвернулась.

– Помогай, помогай, деушка. Чего стоишь? Держи ее здесь, за ногу.

Дядя Миша перевернул овечку. Лиля осторожно прикосну- лась к ноге.

– Крепче! Даже двумя руками прижми!

Лиля со всей силой вцепилась в овечью ногу, а дядя Миша аккуратно сделал надрез и начал ловко снимать шкуру.

– Чего-то я не то делаю. Давай-ка таз, деушка.

Он оставил ногу, перевернул овцу на бок, полоснул ножом по овечьему животу, ловко повернул пару раз, из живота вы- валилась серая дымящаяся масса. Еще пара движений, и все это бухнуло в таз. Дядя Миша удовлетворенно посмотрел на свою работу и сказал:

– Я всегда себе забираю почки и печень. Вытащи-ка мне их, деушка, из таза.

Лиля вытащила и потом больше месяца не могла есть ника- кого мяса, хотя вегетарианкой не стала.

Девушка не торопясь проходила мимо бака и вдруг остано- вилась. Из бака явственно доносились какие-то звуки: то ли стон, то ли писк. Лиля прислушалась. Тишина. И снова кто-то застонал.

Оцепеневшая Лиля не могла двинуть ни рукой, ни ногой.

Мимо проходили двое мужчин. В Лилином сознании отраз- ились только как две шевелящиеся смазанные фигуры.

– Помогите, – произнесла Лиля без всякого выражения.

– Девушка, что с вами?

– Там кто-то стонет.

– Где?

– Там.

Мужчины начали недоуменно оглядываться.

– Где там?

– В мусорном баке.

Мужчины посмотрели на Лилю, потом на бак, потом снова на Лилю. От наступившей недоброй тишины у девушки зазве- nello в ушах.

Похоже, на мужчин напало такое же оцепенение. Три ка- менных изваяния странновато слушали идеальную для город- ских окраин тишину.

– Ну, ладно. Хватит! Нарожают детей, а растить не хотят! Бросают куда попало! Пошли отсюда, Иван. А ты сама разби- райся со своим подкидышем.

Подспудно эта мысль, конечно же, с самого начала сидела в Лилином мозгу, но как-то очень глубоко и зыбко. Укрепиться она не могла по очень простой причине. Стон был вроде бы вовсе и не человеческий. Впрочем, определить это было невоз- можно. Ясно было одно. Издавало звуки – ЖИВОЕ. И сейчас оно почему-то затихло. Лиля насторожилась. Ни стопа, ни писка.

Уйти с этого места. Не медля. Раздалось негромкое робкое шуршание. Скорее всего, это просто крысы. Шарят в поисках съестного. Но крысы наверняка устроили бы более наглый шум. Лиля совсем потеряла голову и, не соображая, испы- тывает она страх или нет, сомнамбулически подошла к баку. Лиля ощутила горячее пульсирование крови где-то у виска, которое становилось все чаще и чувствительнее, и поняла, что лучше уйти и не делать этого.

Руки начали действовать в полном разладе с головой. Они, не дрогнув, взяли и приподняли крышку. Ничего страшного. Ни- каких крыс. Только на самом верху лежал полиэтиленовый па- кет с веселой надписью на финском языке: «*Oho! Mitkä hinnat*» («Ого! Какие цены»). Пакет был чем-то наполнен и перевязан почтовым шпагатом. В баке ничего не шевелилось и не издавало никаких звуков. Пакет если и привлекал внимание, то исклю- чительно своей веселостью. Окружение пакета не вызывало ни- какого интереса своей мусорной обыденностью.

Только Лиля хотела с грохотом опустить крышку, как па-

кет слегка задрожал, и дрожь эта странным образом пошла по поверхности «*Oh! Mitkä hinnat!*». Отступить было поздно. Лиля прикоснулась к пакету. Там было что-то теплое и мягкое. Лиля легко развязала шпагат. Он был завязан бантиком. Пакет сбоку был разорван по всей длине и сразу обнажился. Внутри, тесно прижавшись друг к другу, единым теплом, дрожали и поскуливали шестеро крохотных щеночков. Точнее, не шестеро, а всего четверо. Двое были мертвы. У щенят уже просматривалась масть, открылись глаза, и этими беспомощными карими глазами они жалобно просяще смотрели на Лилю. Девушка отшатнулась. Она не знала, что делать. Неужели брать домой всех четырех. А если знакомые не возьмут трех оставшихся?

Лиля тихонько закрыла бак и долго стояла, ничего не принимая. В душе наступила страшная растерянность и невозможность что-то сделать. Голова стала тяжелой, и никакой возможности избавиться от этой тяжести не предвиделось. Лиля вспомнила, что она собиралась сегодня зайти в гости к тете Фисе, и медленно пошла дальше, постепенно убыстряя шаг до своего обычного, почти что бега.

Тете Фисе повезло. Она вышла на пенсию в год полного развала фабрики, где она проработала полжизни. Повезло, потому что почти все ее товарки в одночасье оказались безработными, а она получила пенсию, да еще по рабочему максимуму. Конечно, мало. Но тетя Фиса ухитрялась жить скромно и достойно. Даже с пирогами. По воскресеньям. Вот и сейчас она доставала из электродуховки любимые Лилины пирожки с яйцами и зеленым луком.

– Садись, садись, Лилюшка. Рассказывай. Чайку. Сколько лет уже пью из этого электросамовара, но так и не могу привыкнуть. Из настоящего-то вкуснее намного. К себе в Водлу приезжаю, так сразу самовар выпиваю.

Лиля не могла ни пить, ни есть и с трудом рассказала тетке о щенках.

– И зачем только люди университеты кончают! Живешь ведь рядом. Взяла ведро воды. Принесла. Бух! И все тут.

Лиля заплакала и убежала. Домой она шла уже другой дорогой.

Сегодня приехали новые дети. Лиля встречала их на вокзале, и сразу же две маленькие девочки-близняшки, лет по семь, вцепились в нее. Просто крепко схватились за джинсы. Лиля заглянула в их карие доверчивые глаза и хотела улыбнуться. Улыбка почему-то не получилась. Серьезная Лиля взяла девочек за руки и увидела на их лицах милую, несколько смущенную улыбку, в которой светилось полное доверие к ней, Лиле, да и, наверное, ко всему живому, что они видят в этом мире.

о. Кижы,
2005 г.

ЗА ГРЯДОЙ

Рассказ

*Я поеду туда, где тепло и в сезон дождей,
Где на улицах пальмы и лавры, а в садах апельсины.
На автобусной остановке торговец в бумажный кулек
Мне насыплет с жаровни горячих блестящих каштанов.*

*Запах жухлых иголок и шишек, нападвших с пиний,
Горько-сладкий, смешается с запахом поздних цветов.
Желтый луч фонаря, разогнав черноту, в лиловое небо упрет
Громаду античных руин – и так остановится время.*

Юлия Генделева

Ее опять замучила совесть. Просто совесть. Без всякой примеси патриотизма. Во всяком случае совесть эта совсем не талдычила, мол, будь патриоткой, Валентина. Угораздило же ее влюбиться в чужую страну. Не она первая. Вспомнился Илья Эренбург с его Францией. А у нее вот Италия. И с чего это у русской Маши? Точнее, у Вали.

Ехать ей сейчас в комфортном поезде от Флоренции до Пизы всего час, а там почти сразу же самолетом в Мюнхен, оттуда «Люфтганза» доставит ее в Москву, дальше поездом на север к своей давней подруге Оле. Они были знакомы с детства. Родители Валентины Николаевны приехали на север за большим рублем, и Валя там в северном поселке училась вместе с Олей с первого по седьмой класс. Рубль оказался большим, но не очень, и семья вернулась в родной город. Подруги тяжело переживали разлуку. После окончания школы они списались и договорились вместе поступать в Ленинградский (очень скоро ставший Петербургским) герценовский пединститут на филфак. Поступили и пять лет счастливо жили в

одной общежитской комнате. После института Ольга уехала домой и стала преподавать в родной школе. Валентина тоже уехала к себе домой, и ей, как тогда показалось, несказанно повезло. Подвернулось место завлита в областном театре. С Ольгой они постоянно переписывались, но, как ни странно, почти двадцать лет не виделись. Посылали друг другу фотографии. На последней Ольга с мужем и двумя взрослыми сыновьями. В письме Ольга выругала Валентину всеми возможными цензурными словами, приказала приехать в гости и предаться сладостным воспоминаниям. Ольга всячески клеймила Италию, один раз даже нецензурно, справедливо считая, что страна макарон и пиццы отнимает у нее лучшую подругу. Валентина послушалась и решила... Но все-таки после Италии.

За окном проплывали разноцветные холмы Тосканы. Холмы эти были покрыты серебристой зеленью оливковых рощ с уже созревшими плодами, темной прохладой дубовых лесочков, пятнистыми виноградниками, краснотой черепичных крыш многочисленных ферм и коричневыми, чуть ли не бордовыми, пятнами немногочисленных убранных полей, с которых какие-то фермеры поторопились убрать какой-то урожай. А вообще-то настоящая итальянская уборочная будет несколько позже.

Горизонт Тосканы твердо и тонко ограничен уходящими одна за одной грядками. И гряды эти полностью окультурены человеком. Валентина Николаевна, не будучи воцерковленной, все-таки чувствовала, что и до человека здесь все было не менее прекрасно, потому что все это создал Бог и созданное даровал людям. Эти холмы, эти рощи, эти виноградники – родина великих художников. Невеликих здесь и не могло родиться.

Она начала клевать носом и в дремоте вспомнила первое ощущение от Италии. Свобода. Так, дома (наверное с годами она становится все мнительнее и мнительнее) она почему-то всем мешански интересна. Всех все о ней интересуется. Здесь же до нее никому нет дела. А если что-то случится, то помочь ей готов каждый. Ей вспомнилось, как она впервые попала во Фло-

ренцию. Таксист довез ее до квартала со страшно узкими улочками, высадил, и она со своим чемоданом на колесиках начала плутать по старинному кварталу, где на домах стояли невообразимые двойные номера. (А может, двойные номера ей вспомнились венецианские.) Во всяком случае, нужного номера она не находила.

К ней обратилась девушка:

– Синьоре нужна помощь?

Валентина протянула ей бумажку с адресом. Девушка начала недоуменно оглядываться и вдруг истошно заорала:

– Джованни!

Из окна высунулся молодой человек приятной наружности.

Девушка энергично попросила, нет, скорее заставила его, спуститься.

Молодой человек глянул на адрес, и начался длинный, не в меру эмоциональный спор, в котором, как ни странно, главенствовало имя Данте. Спорщики, казалось, забыли о существовании Валентины Николаевны. Наконец они замолчали, тяжело дыша, и мило улыбнулись. Джованни взял ее чемодан и пригласил следовать за ним. Вот он дом, № 11 по Борго деи Альбицци.

Валентина нажала кнопку домофона и сказала, что она в отель, где у нее заказан номер. Дверь открылась, и они вошли в вестибюль, где их встретил памятник Данте. В полный рост. Человек, прошедший ад и рай, был облачен в длинный сюрко до щиколоток, и у ног его стояло множество велосипедов. Подбери подол сюрко и садись величайший из величайших на велосипед. Из энергичного монолога Джованни Валентина поняла, что в этом доме родилась Джемма Донати, будущая жена Данте. После монолога Валентина Николаевна вежливо и с благодарностью простилась с провожатым, мучительно соображая, надо ли дать ему на чай. Рука не поднялась. Наверное, правильно. Джованни, прощаясь, наговорил кучу каких-то приятных слов.

Отель «Локанда Орхидея» состоял из семикомнатной квартиры, холла со стойкой портье, уголка отдыха с общим телевизором и двух ванн комнат на всех (правда, один номер, очевидно «люкс» по-русски, был со своей ванной). Всюду полно безделушек, сухих букетов, путеводителей, книжек в

красивых переплетах и какой-то почти незаметной, но многочисленной мелочевки, создающей домашний уют. В крохотном номере всего одно окно. Зато со старинными ставнями. Огромная кровать, тумбочка, сундук с бельем и маленькая раковина. Туалет не в номере, но рядом. Стоит только выйти. Валентина нашла эту гостиницу через Интернет и была вполне счастлива. По сравнению с предыдущей эта поездка обойдется ей дешевле в полтора раза. Номер понравился. Тем более что до Соборной площади (пiazza дель Дуомо) идти минут пять. И ты у собора Санта-Мария дель Фьоре. Цвет собора более чем смелый – зелено-розово-белый с красным куполом. И все это на фоне чистого синего неба. Чистота и яркость красок Италии сначала поразили Валентину, но потом она привыкла к нерусскому цвету страны.

После осмотра «лошадиных» фресок Паоло Уччелло¹ и Андреа дель Кастаньо² – самое время подняться на купол гениального творения Брунеллески³. Крутые узкие ступени зажаты стенами. Чем выше – тем теснее. Валентина Николаевна поднималась вслед за группой школьников в разномастных футболках со всякими надписями. Было что почитать. У одного на спине красовалось «Bravo, Brunelleski!». Остановившись перевести дух на первой смотровой площадке с узкими стрельчатыми окнами (какое счастье, что они без стекол!), дети хором заорали:

– Bravo, Брунеллески!

И правда, « bravo »! Наконец-то галерея на самом верху. Вся Флоренция перед ней. Оказывается, она ее неплохо знает. Заочно.

Вчера она перед отъездом снова залезла на верх Санта-Мария дель Фьоре и вновь увидела ставший родным город.

¹ Паоло Уччелло (1397 – 1475) – итальянский живописец, сочетавший в своем творчестве жизненность наблюдений со сказочностью и наивностью образов.

² Андреа дель Кастаньо (1421 – 1457) – живописец, представитель флорентийской школы Раннего Возрождения.

³ Филиппо Брунеллески (1377 – 1446) – архитектор, скульптор, ученый. Один из создателей архитектуры Возрождения и теории научной перспективы. Новаторски использовал античные традиции. Его произведения отличаются особым совершенством.

Она почти заснула, но вдруг резко пробудилась и попыталась сесть поудобнее.

За окном проплывали, похоже естественные, кипарисовые аллеи, а вдали как бы нехотя еле-еле тосканские сосны-пинии с зонтиками своих верхушек.

Удобная поза снова повергла ее в дрему приятных воспоминаний, которые начали приобретать форму телевизионного клипа.

Снова узкая лесенка в две ступни с протоптанными ямами в мраморных ступенях. А наверху ветер рвет и полощет пизанский красный флаг с белым крестом. Да, она наверху той самой пизанской башни. Вдали темнеют холмы, а внизу на ступеньках собора сидит женщина и правой рукой делает какие-то мерные движения. Чуть позже Валентина увидела, что женщина просто-напросто вышивает.

Валентине Николаевне нравилось чудное и необычное слияние всяческих рынков, притулившихся у подножия храмов. Здесь, в Италии, почти любое весьма неожиданное соседство почему-то всегда эстетически оправдано. Мозаика из лимонов и апельсинов, колонны из пармезана и моцареллы, пирамиды из яиц, роскошь огородной зелени – все это свежее и сегодняшнее сочеталось с великим и вечным.

Брунеллески не отпускал ее из Флоренции. В свое время он проектировал, но не достроил площадь Сантиссима-Аннунциата. Достроили другие. Так, как он задумал. С трех сторон – дома с портиками, с четвертой между двумя палаццо вид на пьядца дель Дуомо с его Санта-Мария дель Фьоре.

Разыгравшийся аппетит погнал Валентину в крохотный бар на Сантиссима-Аннунциата. Бар оказался то что надо. На полутора квадратных метрах пять столиков. На стенах букеты, плакаты, старинные меню, куклы, безделушки. Под ногами корзины с вином. Станным образом уместилась даже пара бочонков. В витринах подсвеченная вкусная еда. Пожилая странноватая хозяйка в чем-то сиреневом с седыми косами, румяная, веселая, подскочила к ней, и Валентина сказала, что она очень сильно голодна.

– Дьяболо! – вскричала хозяйка и как-то нелепо ускакала.

На Валентину нашло некоторое недоумение. Минут черз

пять хозяйка выскочила с каким-то тележным колесом на подносе. Колесо оказалось пиццей под названием «Дьяболо».

Голод утих. Пришел страх: как же это осилить. Хозяйка почувствовала ее испуг, села напротив и начала быстро-быстро уговаривать ее съесть хотя бы кусочек.

– Белиссимо!

Пицца оказалась невообразимо вкусной. Вроде бы и набор не более чем обычный: салями, помидоры, моцарелла, что-то еще непонятное (это, наверно, и есть самое вкусное) и обязательный ореган. Как ни странно, но под дружелюбный ита-ло-английский рассказ хозяйки о своей многотрудной жизни Валентина без труда уничтожила колесо и вместо «грацио» произнесла:

– Дьяболо!

Хозяйка захохотала, захлопала в ладоши и пошла за стойку.

В этот момент заведение заполнила толпа военных. Хотя десять человек для этого бара уже толпа.

Валентине показалось, что она мгновенно стала героиней какой-то оперетты. Скажем, «Веселой вдовы». Военные были в касках, форменных фуражках и легкомысленных беретах с перьями. Все они вежливо поздоровались с хозяйкой и с Валентиной, скромно сидевшей за дальним от милитаристов столиком. Тем не менее ей было уделено максимальное внимание. Кажется, каждое слово, произнесенное офицерами, было рассчитано именно на нее. Еще более расходившейся хозяйке военные, разумеется тоже уделяли внимание. Но в этом внимании преобладала вежливость. Героиней была несомненно Валентина. Отвернувшись от гарнизона, она тайно глянула на себя в зеркальце. А и правда хороша. Загадочно улыбаясь, она просидела до конца офицерской трапезы, и ей было как-то странно хорошо и покойно. Легкое замирание сердца ничуть этому не мешало. Офицеры прощались с хозяйкой дружески, а с ней, как с прекрасной незнакомкой, прикладывая руки к груди.

Она снова взглянула на себя в зеркальце, боясь потерять улыбку. Улыбка осталась. Но какая-то грустноватая, что ли.

С этой улыбкой Валентина Николаевна снова очнулась от дремы.

Поезд подходил к Пизе...

II

Ранним утром проводница тихонько разбудила ее:

- Подъезжаем.
- Поезд долго стоит?
- Двадцать минут. Так что успеете.

Валентина Николаевна вышла на перрон и глянула на вокзал. Интересно, что же это за архитектура такая? Кировская (Мурманская) железная дорога построена в 1916 году. На железнодорожный стиль того времени не похоже. Чуть-чуть припахивает неоготикой. Есть какая-то легкость и чёткость в силуэте. Чувствуется капитальность в каменном цокольном этаже. Она вспомнила, что когда они уезжали из этих мест, то заходили в буфет-ресторан, бывший в цоколе. Нет, все-таки, кажется, над ним. Что-то есть и от сталинской архитектуры. Когда же построен этот вокзал? Загадка.

Выйдя на площадь, она увидела несколько такси. Шоферы сразу же стали предлагать свои услуги.

- Сколько?
- Четыреста.

Она прикинула оставшиеся деньги и села в машину.

- Вы не знаете случайно, когда построен этот вокзал?
- Знаю. В 1937 году.
- А кто архитектор?
- Вот этого не знаю.

Ехать было светло и радостно. По одну сторону возникало море, по другую голубые сопки и стройные корабельные сосны. К поселку подъехали через час с небольшим. Таксист подкатил к подъезду огромного пятиэтажного дома, словно стесняющегося своих неприличных для крохотного городка размеров и свернувшегося на вместительном пригорке этаким недоделанным пентхаузом. Валентина расплатилась, таксист вытащил из багажника сумку, чемодан на колесиках и тут же уехал. Она подумала, что надо было попросить его помочь занести все это на четвертый этаж, но что уж теперь поделаешь. На ее счастье, сверху спускался молодой человек, с виду десятиклассник. Он вежливо поздоровался и предложил свою помощь. Валентина Николаевна подумала, что это один из сыновей Ольги, но парень спросил:

– Вам в какую квартиру?

На Ольгиной площадке она поблагодарила юношу и стала искать звонок. Похоже, что его тут никогда и не было.

Юноша широко улыбнулся:

– Да вы открывайте. У нас в поселке двери нигде и никогда не закрываются.

Удивленная Валентина толкнула дверь, которая тут же открылась. Пахнуло пирогами. В прихожую высочила Ольга Васильевна, бросилась на шею Валентине и запричитала:

– Я даже не подумала, что ты так рано приедешь. На такси? Да? А я привыкла всегда на рейсовом. Думаю, пойду на остановку через пару часов и встречу. Валечка, ты нисколько не изменилась. Ну, может быть, лицо почему-то строже стало. Это у меня оно строже должно стать с моими хулиганами в школе. А у тебя-то с чего? Нет, вру, наверное. Лицо у тебя просто повзрослело. А я-то страшилаще. Пополнела здорово? Да?

– Хорошо, Оля, что мы все-таки узнаваемы. Ведь двадцать лет прошло.

Ольга, конечно, была узнаваема с трудом. Она действительно пополнела и, как бы это деликатно сказать, внешне стала гораздо проще той романтической ленинградской студентки.

– А где муж?

– Объялся груш. Не переживай. Мы будем наслаждаться исключительно нашим обществом. Он на неделю уехал в Питер к родственникам. Сыновья, сама знаешь, оба учатся: один в Мурманске, второй в Кировске. Супруга моего увидишь. Он дней через пять обещал приехать. Очень с тобой хочет познакомиться.

Валентина Николаевна не знала, хочет ли она познакомиться с Артемом. Он был из местных. Рабочий. Их ровесник. Но в детстве они почему-то не были с ним знакомы. Сейчас Артем, мастер на все руки, работал на одного буржуя, как выразилась Ольга; занимался печными работами. («То, что он делает у этого оглоуда достойно работы скульптора, а не печника».)

– Как ты-то?

– Работаю с текстами, веду переписку с авторами...

– С Шекспиром?

– И без него хватает. ... Составляю пресс-релизы, общаюсь

с журналистами. Вроде бы интересно. А с другой стороны... Мне скучно, бес...

– Что делать, Фауст?

– Мне не с кем поговорить в нашем городе.

– О чем?

– О Карпаччо¹.

– Вот у нас-то в поселке ты и наговоришься о нем до отрыжки.

Начинай. Я тебя слушаю.

– Да кончай ты, Ольга.

И они расхохотались.

– Валя, садись за стол. Чувствуешь, как рыбник пахнет? Я вот такую семжину купила к твоему приезду. Уху сварила. Хочешь сейчас? А карпаччо это вроде и еда такая есть?

– Ухи, наверное, в обед поедим. Карпаччо. У них и правда есть такое блюдо. Вроде вашей северной строганины.

– Рыбник испекла и тебе еще огромный кусок засолила. С собой возмешь.

– Надорвусь таскать. У меня книг в Италии накоплено!

– Нашей семгой не надорвешься! Коллег угостишь. Давай за стол.

– Оля, спасибо, но ты мне сначала покажи, где я у тебя жить буду. Разберусь с вещами, помоюсь. Нет, хотя бы умоюсь... А потом за стол.

Комнатка оказалась крохотной с непропорционально большим окном. То, что надо. Полное, достаточно комфортное погружение непонятно во что, новое или старое. И это чувство вызвало у Валентины Николаевны интерес, странно щемящий сердце.

– Водки выпьешь? Или кьянти, спуманте, амаретто?

– А у тебя и это есть?

– Ты что! Шутка. Я всю жизнь предпочитаю водку. Амаретовка, правда, есть.

– Наливай! Водку, конечно.

– Под такую закусь, Валечка, ничего больше не пойдет.

¹ Витторио Карпаччо (ок. 1455 – ок. 1526) – итальянский живописец. Представитель венецианской школы Раннего Возрождения. Трактует библейские события как сцены современной жизни, достигал увлекательности повествования и свежести бытовых деталей. (Цикл из жизни св. Урсулы.)

Ольга жестом фокусника сдернула полотенце с еще горячего рыбника. Рядом стояла тарелка со свежепросоленной семгой, украшенной зеленью и ломтиками лимона. В овальном блюде лежали куски жареной рыбы. Наверное, треска. В хрустальном судочке аппетитно разместились маринованные грибочки. Ольга поставила на стол чугунок с картошкой и начала подрезать корку рыбника.

– А? Запах-то какой? Наливаю.

Она достала из холодильника бутылку «Кристалла» и разлила по рюмкам.

– За нас любимых!

Водочка легко пошла под рыбничек.

– По второй?

– По второй.

Вторая пошла еще легче.

– Теперь, Оля, рассказывай.

– Что рассказывать. Сама увидишь.

– И что я увижу?

– Леспромхоз с лесозаводом... Которые уже не работают с незапамятных времен. И в том виде, в каком они когда-то были, не заработают никогда. Полный разгром... Такой же разгром и на пищекомбинате.

– Кому помешали самые вкусные в мире пряники, мармелад и желе? А агар-агаровый цех? Помнишь, нам в школе говорили, что агар-агар используют в космонавтике?

– Это ты, подруга, не у меня спрашивай, а у тех, которые выше... Рыбозавода и рыбразвода нет.

– А что есть?

– Муниципальные и районные службы. Куча чиновников и чиновниц. Милиция. Торговля. Школы. Куча безработных. Людей оболванивают. Да и самооболванивание у нас на высоте. Пьянство. Нет, это даже пьянством нельзя назвать. Это алкоголизм. Ой, да не хочу я об этом. Давай лучше ещё по маленькой, и про себя расскажи. Почему не замужем? Ведь вокруг тебя полно мужиков и многие из них красавцы. Чего ты по этим италиям все время болтаешься?

– Давай... По маленькой... Сама не знаю, что, как и почему. А вокруг меня в основном такие же чиновники, только не муни-

ципальные, а театральные. Помнишь, Чехов где-то сказал: «Не нужный, как театральный чиновник»?

– А артисты-то?

– Ты знаешь, они ведь работают по системе Станиславского.

– Не поняла.

– Чего тут понимать. Выходит он в образе на сцену – идеальный мужик, а сошел со сцены... Ну, не везет, наверное, мне. В общем-то они хорошие люди. Я имею в виду актеров.

– Это тебя Италия портит.

– А ведь ты, Оля, наверное права. Я об этом как-то так философски никогда не задумывалась, но после рюмки можно.

– После трех.

– Тем более... Мне кажется, что там, в Италии, повышается самооценка любой женщины, которая туда приезжает.

– Да ну!

– Вот тебе и «да ну»! В этих итальянских мужчинах, несмотря на их чернявость, суетную живость и тэ дэ, есть какое-то врожденное, древнее, преддревнее величие и уважительное внимание к нам. Даже при вождельных взглядах. У наших мужиков это полностью отсутствует.

– Хочу в Италию!

– Давай поедем вместе. Следующим летом. А муж отпустит?

– Пусть только попробует не отпустить!

– У тебя с ним все в порядке?

– Представления не имею.

– ?

– Он меня, кажется, любит. Чуть ли не на руках носит...

Валентина улынулась, представляя Артема с грузной Ольгой на руках.

– ...исполняет любое мое желание. Не пьет, не курит. Но... мне кажется, что он ездит в Питер к любовнице.

– С чего ты взяла?

– Ни с чего. Так. Кажется.

Валентина начала успокаивать размякшую, погрузневшую Ольгу и решила, что пора переходить на чай.

После чая Валентина Николаевна сказала, что ей после дороги хочется отдохнуть, и пошла в свою комнату.

Проснувшись, она долго чистила зубы и особо тщательно на-

водила марафет на показавшемся слишком заспанном лице. Навела, приоделась и вышла в кухню, где Ольга, похоже, совершала очередной кулинарный подвиг. Пахло каким-то незнакомым тушеным мясом.

– Жаркое будет из зайчатины. Артемов друг, охотник, угостил. А ты куда это вырядилась?

– Как куда? По поселку хочу пройти.

– Без меня?

– Без тебя. Инкогнито. Тебя ведь все знают. А с тобой завтра.

– Завтра не получится. Я целый день в школе.

– Тогда послезавтра. Аривидерчи!

– Как знаешь.

Поселок, скорее городок, за почти тридцать лет, конечно, изменился. Асфальт на главных улицах. Пятиэтажки. Стандартные. Но ландшафтной прелести старого поселка кажется невозможно испортить ничем. Два залива с плоским островом между ними и зелеными грядами на других берегах с амфитеатром из частных домиков. Главная улица утопает в зелени разросшихся тополей, которые только-только начинают желтеть. Некоторые отяжелевшие ветки чуть ли не касаются земли. На горушке, застроенной многоэтажными домами, оставлены большие куски старого леса, в котором прыгают приставучие белки. И все же чувствуется если не запустение, то его начало. Ряд каменных домов не достроен. На главных улицах пустые старые деревянные дома не снесены: догнивают и заваливаются. Но все равно в поселке есть неповторимая прелесть, которая у хороших хозяев могла бы стать основой для нового северного курорта. Может, когда-нибудь и будет. А пока руины разрушенного лесозавода и загаженного, теперь уже никому не нужного порта, особого оптимизма не вызывали. Печальная красота начавшегося тления.

Валентина Николаевна не ощутила на себе ни одного мужского взгляда. Мужчины, идущие навстречу, были блеклые, печально озабоченные, с опущенными головами. Встречались, правда реже, и другие, в противовес первым гордые, энергичные, при галстуках, менажерского типа, но энергия их была направлена исключительно внутрь своей какой-то деятельности и, похоже, не позволяла никаких контактов, во вся-

ком случае видимых, с окружающей действительностью. Зато женские взгляды сразу отмечали чужую, и взгляды эти изучали настороженное любопытство. Если вид старого поселка навевал легкую грусть и какие-то смутные воспоминания, то вид сегодняшних жителей настораживал явным преобладанием женщин всех возрастов, среди которых было достаточно внешне привлекательных и интеллигентных.

Дети, в том числе и подростки, действительно здоровались. Приятный деревенский атавизм. Валентина Николаевна с улыбкой слегка кланялась им.

По дороге домой она зашла в то ли торговый центр, то ли открытый рынок купить орешков, если они там есть, конечно, чтобы завтра угостить белочек. Рынок-центр удивил изобилием товара и продавцов, среди которых выделялись «лица кавказской национальности». И если все итальянские рынки волей-неволей вписывались в памятники старины, как бы дополняя их, то здесь об искусстве не могло быть и речи. Чистая функция. Хотя Валентина Николаевна слишком строга к торговцам. Все-таки в раскладке товаров можно было уловить своеобразную эстетику.

Она подошла к продавщице явно кавказского типа, увидела на витрине пакеты с пиццей и попыталась прочесть, где же она сделана, эта пицца. Продавщица с легким, как показалось Валентине, азербайджанским акцентом спросила:

– Берешь пиццу?

Валентине Николаевне почему-то вдруг захотелось слегка отличаться перед азербайджанкой, и она спросила:

– Азербайджан?

– Нет, мы даргинцы. Дагестан... Завернуть?

– Спасибо, нет. Пиццу я люблю теперь только «Диаболо». Причем большую. С тележное колесо.

– Это вкусно?

– Очень.

Продавщица протянула Валентине листок бумаги и ручку:

– Пиши.

– Что писать?

– Где этот пицца делают? «Диаболо» пиши.

– Зачем? Это в Италии. Сиена. Флоренция.

– Вот и пиши.

– Не понимаю. Какой смысл?

Продавщица разгорячилась:

– Она не понимает! Твоя бумажка я отдаю Магомеду Алиевичу. Он привозит тебе «Диаболо», и ты через месяц ее кушаешь.

– Меня через месяц здесь уже не будет.

– Ты здесь командировка или гости?

– В гостях.

– У кого?

– У Ольги Васильевны.

– Через месяц твой Ольга Васильевна идет ко мне и будет кушать «Диаболо»... Пиши!

Валентина Николаевна написала координаты любимой пиццы и, кажется, полностью реабилитировала в своем сознании кавказских торговцев.

Дома уже была готова зайчатина, и как Валентина ни отказывалась от рюмки, пришлось сдаться. Под такую-то закуску! Но на сей раз больше ни-ни. Дальнейший вечер прошел в перелистывании страниц студенческой жизни. А перед сном Ольга поставила на проигрыватель диск любимой ими еще со студенчества Елены Камбуровой. После «Девушки из таверны» они, миленькие, разошлись по своим комнатам.

Вот любовь так любовь. Только завидовать не хочется.

III

Она проснулась от яркого солнечного света, скорее июльского, чем сентябрьского. Свет этот коснулся ее легким, едва ощутимым теплом. И свет, и тепло ласково предлагали встать и подойти к окну. Она потянулась, улыбаясь радостному утру, встала, сделала несколько упражнений, мельком глянула в окно, отошла от него, продолжая делать зарядку, и вдруг застыла в непонятном удивлении. Кажется, там, за окном, ей увиделось нечто настолько чудесное, что она не могла сразу понять, в чем же заключается это чудесное, и чудесное ли это, или, наоборот, столь обычное, что она просто никогда не обращала внимание на это обычное как не достойное любого проявления ее внимания.

Валентина подошла к окну. Оно было закрыто только сни-

зу. Шпингалет поддался с большим трудом, но она победила, больно досадив палец. Валентина Николаевна высунулась в распахнутое окно и глянула вправо. Там за светлым деревянным узеньким мостиком, по которому с трудом могли пройти только легковые машины, в небе бесновалась крохотная тучка с проливным точечным дождичком, создававшим на заливе небольшой круг черной ряби. Прямо какой-то странноватый для севера московский дождь, когда идешь, скажем, по сухому Арбату и ясно видишь, как со Смоленской тебе навстречу бегут вымокшие люди. Остальное за окном было вроде бы как всегда. Напротив, совсем рядом, на берегу, стоял длинный трехэтажный дом, который совсем не мешал обзору залива, на противоположном берегу которого необычайно ярко смотрелись невысокие дома. Тот берег поднимался уступом зеленой гряды, за которой виднелась верхушка вышки-ретранслятора. Гряда полностью закрывала бурлящую порожистую реку, на другом берегу которой раскинулась старинная поморская деревня с приятно серебристыми для глаза избами в такую вот солнечную погоду. Валентина просто знала, что там, за грядой. Лет тридцать назад, девчонкой-пионеркой, она ходила туда в поход всем классом. Ребята дошли даже до устья реки, где на островке было старинное кладбище. Во время отлива туда можно было пройти пешком. Но вожатая не рискнула, сказав, что там можно остаться надолго, если прозеваешь начавшийся прилив.

Вдруг Валентина Николаевна ойкнула и закричала:

– Оля, Оля, просыпайся и иди скорее сюда.

Тотчас появилась недовольная заспанная Ольга в длинной ночной рубашке:

– Валька, чего орешь, с ума сходишь?

– Оля, смотри в окно. Налево. Скорее! Шевелись!

– Ну и что? Смотрю. Чего орать-то было?

Вдруг она то ли восхищенно, то ли испуганно вскрикнула:

– Ой! Валя! Неужели это и вправду видно? Как это так?

Действительно. Как это так? Все на месте... Губа. Дома. Зеленая гряда. Ретранслятор... Но...

Перед их глазами за грядой бушевали пороги, а на другом берегу реки раскинулась та самая деревня с домами на высоких подклетах «фонарями» - мезонинами на фасадах. На деревен-

ской площади Валя даже увидела дом, где жила их одноклассница Светка Подурникова.

– Светка здесь?

– Ты что! Она школу тогда кончила, пару лет поработала в клубе, вышла замуж и уехала куда-то.

Налево за самой длинной деревенской улицей явственно проглядывалась тропинка. Валентина то ли разглядела, то ли, непонятно как, почувствовала тот коварный выступ на тропке, где она тогда, споткнувшись, ушибла колено. Чуть дрожащий безветренный прозрачный воздух ясно проявлял каждый листик, каждую иголочку деревьев, стоящих по краю тропинки. В зелени леса точками выделялись гроздья рябин и отдельные успевшие пожелтеть ветки берез.

Если столь любимая Валентиной итальянская природа нежила глаз и все остальные чувства, то покой русского северного пейзажа был для нее не менее приятен, хотя покой этот непонятно почему всегда назывался суровостью. Валентина и Ольга, не сговариваясь, высунулись из окна, мешая друг другу.

– Оля, смотри, смотри. Насколько это удивительно. Каждый крест на кладбище... Смотри, такое впечатление, что надписи на крестах можно прочитать... А море какое ласковое и прозрачное. Приглядеться, так, наверное, даже медуз можно увидеть.

– Приглядись.

Медуз она, конечно, не увидела, но заметила, что кладбище выглядит чистым, хотя все усыпано старыми сосновыми иголками. Вместо привычных памятников кресты и какие-то странные резные столбики под крохотными двускатными крышами. Дальше от островного кладбища простирались нежная голубизна Белого моря, а по берегу застыли корабельные сосны с нежно-охристыми, наверное теплыми на ощупь, стволами. Морская голубизна полностью сливалась с небесной. Удивительно было то, что вся эта реальная картина существующего не занимала части неба, а являла невероятное, вопреки всем законам физики, продолжение обычно невидимого за горизонтом земного пространства. Земля, казалось, выпрямилась для них. Обычное пахло чудом. Это чудо ощутили Валентина с Ольгой и молча, с непонятным замиранием сердца, смотрели и смотрели в открывшиеся их взорам ласко-

вые и, кажется, чуточку зловещие голубые дали.

Вдруг вся эта невероятная картина начала медленно таять. С самых дальних далей.

Валентина Николаевна обратила внимание, что все это происходило как в немом кино. За весь сеанс не было ни звука. Не шумели пороги. Машины ходили беззвучно. Экскаватор молча поднимал свой ковш. И вот зеленая гряда снова заслонила видимое, и они услышали шум экскаватора, работающего за гудбой прямо напротив их дома.

Все стало так, как и прежде.

После некоторого напряженного молчания Ольга сказала:

– Кажется, мы стали одними из немногих... Пошли пить кофе.

Завтракали долго и молча. Ольга достала бутылку «Амаретто» и налила Валентине рюмку.

– А себе?

– Ты что! У меня уроки.

Позавтракав, Ольга, взяв в сумку кучу альбомов и пластинок, пошла в школу, уже на пороге сказав Валентине:

– Ты сегодня целый день свободна. Я приду поздно.

– А чего ты пластинки таскаешь? Тяжесть такую? Диски ведь легче, и звук лучше.

– Вот такой я консерватор. Есть все у нас в школе. Но я привыкла к своему старому стереопроектору. Бах и Чайковский на нем звучат ничуть не хуже. А ты, Валя, подумай, что скажешь моим десятиклассникам об Италии.

Ольга уже собралась захлопнуть дверь.

– Стой! А картинки? Мне ведь еще фотографии надо сделать.

– Ты думаешь, что в деревню приехала? Сходи в наш «Кодак». Там тебе все сделают. Во всяком случае должны сделать. В альбомах моих поройся. Вон на стеллажах стоят. Да и районная библиотека рядом. Тоже можешь зайти. Пока.

Озадачила подруга. Правда, особого желания делиться своими впечатлениями с незнакомыми старшеклассниками у Валентины Николаевны не было. Тем не менее она взялась за альбомы. Флоренции и Пизы почти не было. Зато много Рима. Она же не могла забыть холмов Тосканы. Придется идти в библиотеку.

Целый день Валентина рылась в книгах и с удовольствием бездельничала. Даже поспала, после того как поковырялась в семужьем рыбнике. Особых откровений в Ольгиных книжках она не нашла, но поняла, что для преподавателя мировой художественной культуры в школе подбор книг неплохой. Есть скелет, а остальное зависит от культуртрегера и потребителя этой самой культуры. В Ольге она была уверена, хотя, если судить внешне, Ольга, на ее взгляд, конечно же огрубела по сравнению с той тургеневской девушкой, которая была рядом с ней в золотые годы ленинградского студенчества.

В библиотеку Валентина Николаевна собралась только с начала сумерек. Сказав, что в детстве жила в этом городке, она стала чуть ли не подругой библиотекарей. Она быстро нашла пейзажи Тосканы, Пизу и Флоренцию. Ей тотчас же сделали ксерокс, и после долгого чая с разговорами о театре она собралась домой.

Уже стемнело, но горели фонари и то, что происходит на улице, было хорошо видно. Но пока ничего не происходило.

Вдруг из-за угла, чуть ли не столкнувшись с Валентиной Николаевной, появились трое пьяных качающихся подростков. Двое поддерживали под руки упившегося слюнявого парня, который ни с того ни с сего вдруг начал матерно ругаться. Нет, не в адрес Валентины Николаевны, а достаточно абстрактно. Ее охватил непреходящий ужас. Совсем неожиданно она услышала буханье большого оркестрового барабана, и до нее не сразу дошло, что так забилося сердце. В орущем мальчишке она узнала вчерашнего вежливого подростка с пятого этажа. Она резко шарахнулась в сторону и с трудом, запыхавшись, перешла на быстрый шаг, почти бег. Он ее, конечно же, узнать не успел.

Поднимаясь на свой этаж, ей пришлось сделать остановку на третьем. Она отдышалась и только после этого открыла дверь. Ольга была дома.

– Все нашла?

– Да.

– Садись чай пить.

– Не хочу. В библиотеке напилась. Извини, я страшно устала и хочу одно – спать.

– Ну, смотри. Тогда утром договоримся.

Валентина Николаевна прошла к себе в комнату, закрыла дверь, взяла несколько листов бумаги, ручку и села за стол. Положив бумагу на стол и подперев руками голову, она глубоко задумалась. Потом решительно начала писать. Решительность быстро исчезла. Валентина Николаевна смяла начатую эпистола, долго с ожесточением превращала ее в мягкий бумажный комок, затем разорвала его в мелкие клочки, аккуратно собрала на край стола и взяла чистый лист. Задумалась. И вновь возникли уже раз рожденные и убитые строки:

«Президенту Итальянской республики г-ну Берлускони.

Глубокоуважаемый господин Президент. Я, гражданка Российской Федерации Угольникова Валентина Николаевна, прошу эстетического убежища в Вашей прекрасной стране...»

В этот миг перед глазами встали почему-то не пинии и глицинии столь любимой Тосканы, а стройные и темные от солнечного ветерка сосны и березки, на которых ясно просматривались каждая веточка, каждая иголочка, каждый листочек. Не четкая, но вполне видимая зелень чистого островного кладбища ничуть не печалила светлое видение.

Я не была там почти тридцать лет. Завтра встану, уговорю Ольгу, и мы пойдем туда – к устью. По радио обещают солнце.

Она с печальной улыбкой уставилась на послание, потом медленно разорвала его на несколько клочков и положила их на край стола.

В голове поселилась невообразимая, казалось, непреодолимая тяжесть. Валентина Николаевна уронила голову на руки и уснула. Непроходящая усталость вроде бы начала сдавать свои позиции. По миллиметру.

К ней хотело вернуться время.

Примерно через полчаса она в состоянии полусна сняла халатик и бухнулась в постель.

Утром сразу же подошла к окну. Было солнце, но зеленая грядда, как всегда, заслоняла вчерашнюю реальность.

Совершив утренний туалет, Валентина Николаевна вышла на кухню. Ольга Васильевна уже включила кофеварку, издававшую приятное сопение.

– Оля, как ты думаешь, что мы вчера видели?

– Это невероятно. Невозможно. Но мы, Валечка, вчера видели мираж.

– Разве в городах бывают миражи? Ну, допустим, что мы не в городе, а в рабочем поселке.

– В городе, Валечка, в городе. Уже три года, как мы стали городом.

– Тем более. Здесь же сплошные пятиэтажки. Это ведь не море, не пустыня.

– Вообще-то, на Белом море бывают миражи.

– А ты их видела?

– Никогда. До вчерашнего дня.

– Ты сказала: «на море», а здесь узкая губа, грядда, река, дальше деревня. До моря еще шагать и шагать. Кстати, давай сходим сегодня к устью, куда мы в поход ходили тогда... Мираж... Какой же мираж? Если мы видели не какие-то призрачные пальмы или сказки Шахерезады, а реальную картину! Мираж!

– Реальную?! Не пойдем мы с тобой, Валюша, туда.

– Почему? Мне кажется, что я нигде такой красоты не видела. Нас встретит старинное кладбище на загадочном острове, овеваемом морским бризом.

– Нас встретят колючая проволока и матрос с автоматом. Там давным-давно уже что-то военно-морское. Никакого кладбища и никакой зелени. Сплошь какие-то склады и железные бочки повсюду. Дошло наконец до тебя, что это был мираж?

Дошло не дошло, а Валентина Николаевна в эту минуту твердо решила, что, будучи в Москве, она первым делом пойдет в итальянское посольство.

А вежливый десятиклассник завтра будет скромно сидеть в классе, с удовольствием слушать Валентину Николаевну, задавать ей вопросы о бывшем великом народе, и она с удивлением обнаружит, что этот парень неплохо знает гоголевский «Рим». Этот парень заставит ее задуматься: почему у Гоголя Россия печально карикатурна, а Рим велик и вечен, и почему в Риме Гоголь писал «Мертвые души», а в России «Рим». А вот

скучали Гоголь по чичиковской России – большой вопрос.

Через месяц она получит телеграмму от Ольгиного мужа:
«Не стало нашей любимой Оли».

На похороны она не поедет и отплачется дома.

Ответа на открытку: «Ну как тебе пицца «Диаболо»?» она
не получит.

*Петрозаводск,
июль 2010 г.*

*Автор благодарит Ю.Д. Генделеву
за возможность ознакомиться с рукописью
ее путевых заметок
«Флоренция, или Город Не-сверни-себе-шею».*

ПЬЕБЫ



МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ

Мелодрама в 2-х действиях

Действующие лица:

Олег Львович	<i>слегка за 30, хирург стационара</i>
Лазарь Яковлевич	<i>под 60, зав.хирургическим отделением</i>
Сергей Петрович	<i>под 40, хирург стационара</i>
Елена	<i>слегка за 30</i>
Варя	<i>20 лет</i>
Леся	<i>25 лет</i>
Стас	<i>под 30</i>

медсёстры

263
Пьесы

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ

Мелодрама в 2-х действиях

Пролог

*На сцене стоят, взявшись за руки,
молодой человек и девушка.*

Леся: А если бы мы не оказались случайно за одним столиком в кафе?

Олег Львович: Наверное, тогда моя жизнь оказалась бы пустой и бессмысленной.

Леся: Чаще всего так и бывает. Человек просто живет и не подозревает, что его жизнь пуста и бессмысленна.

Олег Львович: Ты поступишь в институт, уедешь на месяц к себе домой, я тебе буду писать каждый день. А потом мы обязательно встретимся.

Леся: Насчет поступить, это еще нужно выдержать конкурс.

Олег Львович: Будем надеяться.

Леся: Ты умеешь рисовать?

Олег Львович: Нет.

Леля: Жаль. Я хотела, чтобы ты на каждом конверте рисовал картинку. Можно цветочек.

Олег Львович: Ну, цветочек еще туда-сюда... Слушай, а что если я тебе буду на конверте не рисовать картинку, а писать стишок?

Леля: Сам?

Олег Львович: Конечно. Не Пушкин же.

Леля: Хочу экспромт.

Олег Львович: С ходу?

Леля: С ходу.

Олег Львович: Я знаю: жребий мой измерен.
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Леля: Жаль, что не ты. Но все равно хорошо.

Танец Лели и Олега. Слышен визг тормозов подъехавшей машины. Появляются трое подвыпивших молодых людей.

Один из молодых людей (Леле, не замечая Олега Львовича): О! Вчерашняя телка. Едем с нами на дискотеку. Туда же. В молодежный центр, где ты вчера прыгала.

Леля: По-моему, вы меня с кем-то путаете. Я вчера нигде не прыгала и ехать с вами никуда не поеду.

Один из молодых людей: Ты сейчас пожалеешь об этом, девочка.

Олег Львович: Ребята, отстаньте от девушки.

Один из молодых людей: Тю! А кто у нас такой красивый? Ути-ути-ути.

Олег Львович: Я вас просил. (Ударяет одного из парней.)

Завязывается драка. Один из парней достает нож и идет на Олега.

Леля: Олег! (Ударяет парня по руке. Тот переключается на Лелю. Олег Львович приемами карате укладывает всех троих.)

Леля: Олег! Бежим!

Олег Львович задумчиво смотрит на поверженных. Замечает кровь на руке у Лели.

Олег Львович: У тебя кровь. Давай перевяжу.

Леля: Потом, потом! А сейчас бежим!

Убегают.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

1-я картина

Часть сцены изображает ординаторскую в больнице. Стерильная чистота. Светлые стены. Мебель. Рабочие столы. На одном из них телефон. Два удобных дивана. Микроволновая печь. Большое окно занавешено шторой. Другая часть сцены являет собой больничный коридор со стойкой дежурной медсестры, по которому могут ходить врачи, медсестры и больные по всяким своим делам.

В ординаторскую входит Лазарь Яковлевич в белом халате, шапочке, бахилах. Открывает шкаф, начинает переодеваться.

Телефонный звонок.

Лазарь Яковлевич (приветливо, прямо как Эдуард Успенский в радиопередаче «В нашу гавань заходили корабли»): Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте... Поймать меня, конечно, трудно. И сейчас я оказался здесь совершенно случайно. Обычно в это время уже дежурный врач... Конечно, конечно. Вы забываемы. А теперь внимание. Напомните, пожалуйста, зачем вы нам нужны... Нет, дорогой, совсем не нужны... Теперь, с вашего позволения, я напому: как появятся денежки, милости просим к нам в стационар... Ах, ваше новообразование не нравится вашей приятельнице. Не с чего ей нравиться. Не с чего. Да еще на таком месте. Привет ей от меня горячий и разъяснение, что подобные операции приказом министра здравоохранения отнесены к разряду косметических, а соответственно платных... Ну что вы, что вы, в любом случае жить

вы будете достаточно долго. В любом случае... И все-таки. Я буду рад видеть вас в стационаре именно с той суммой, о которой мы говорили. Здоровья вам. До свидания.

Лазарь Яковлевич одевается и собирается уходить. Вдруг что-то вспоминает, быстро подходит к своему столу, забирает одну из историй болезней, оглядывается, кладет ее к себе во внутренний карман и уходит.

Сцена некоторое время пустует. Затем в ординаторскую входят дежурный врач Олег Львович с медсестрой Еленой, очень модной особой. Елена снимает халатик. Под ним невообразимого покроя платье, столь же невообразимой расцветки. Елена медленно, явно любясь собой, начинает надевать столь же моднящий плащ.

Елена: А вот следить за больными я не обязана. Режим они знают? Знают. На процедуры ходят? Ходят. Перевязки я делаю? Делаю. А вот Ольга ваша, наверное, ушла в парк. Покурить.

Олег Львович: Она не курит. А самое главное, что уже отбой.

Елена: Не курит она! Просто вы не знаете.

Олег Львович: Знаю.

Елена: Никуда она не денется. Да хоть бы и делась. Не подарок девица эта. Ох, и попортит она нам нервов. Сердцем чувствую. Так что не волнуйтесь вы за нее. Ну, я пошла.

Олег Львович: Я и не волнуюсь. Просто отбой. До свидания.

Елена уходит. Телефонный звонок.

Олег Львович: Добрый вечер... Пока ничего конкретного. Нужны дополнительные анализы... И я надеюсь, что у нее все в порядке... Ни о какой выписке не может быть и речи. Я должен не надеяться, а быть уверенным... Нет, видел только во время обхода... Передам... А от кого? (Кладет трубку. Чувствуется, что ему не ответили.)

Штора на окне отодвигается и с подоконника со смехом спрыгивает Леля.

Леля: Ап!

Олег Львович от изумления садится на стул и пристально смотрит на Лелю. Та заливается смехом.

Олег Львович: Что это значит? Как и зачем вы здесь оказались?

Леля: Я думаю, что вы сейчас посмеетесь. Честное слово, я не нарочно. Это совершенно случайно.

Леля распахивает халатик. На ней трусики и бюстгальтер той же расцветки, что и платье на Елене. Олег Львович начинает оттаивать и смеется.

Леля: Неужели и сейчас вы меня не узнаете? Ну, кто я? Кто?

Олег Львович: Оля, я не понимаю, что это значит: «узнаете – не узнаете».

Леля: Олег... Ведь именно так ты мне тогда представился. Вот шрам от той встречи.

Олег Львович: Лелька!

Леля (подходит к нему и обнимает): Наконец-то.

Танец из пролога. Только с некоторой грустинкой. В это время в ординаторскую энергично заходит

Елена и сразу лезет в шкаф.

Елена: Как всегда, забыла зонтик.

Елена берет зонт, оборачивается и только тут видит, что творится в ординаторской. От неожиданности она раскрывает зонт и с трудом проталкивается в дверь, прикрываясь зонтом.

Олег Львович (в смущении): Это Елена Владимировна, старшая сестра.

Леля: А тебе не кажется, что мы уже знакомы... Почему ты не пришел ко мне тогда на следующий день?

Олег Львович: Лелька ты, Лелька. На следующий день мне пришлось лететь на вертолете. Срочный вызов. Потом два дня не-летней погоды. На третий день прибегаю в общежитие в 47-ю, где ты живешь, а мне говорят, что никакой Лели здесь нет. Это, наверное, та девушка, которая не прошла по конкурсу и вчера уехала. Я на вахту. Списков абитуриентов там нет. Да если бы и были! Кого я буду искать? Я даже не знаю твоего имени. Леля. Это что? Елена? Ольга? А может, вообще Леликанида?

Леля: Фу! Мерзость какая! Леликанида. Поди-ка сейчас придумал.

Олег Львович: Конечно. А ведь правда забавно?

Леля: Классно! Классно ты их тогда раскидал. Помнишь, когда тот здоровый на тебя с ножом полез?

Олег Львович: На меня он полез! А кому досталось-то?

Леля: Ну это же почти случайно.

Олег Львович: Ничего себе случайно. Кого они хотели увезти? Меня?

Леля: А сейчас ты по-прежнему занимаешься карате?

Олег Львович демонстрирует несколько эффектных приемов.

Олег Львович: Не-а. Зачем? Лечи их после этого.

Леля: Тех, наверное, пришлось.

Олег Львович: К счастью, не мне.

Леля: Конечно. Мы же с тобой убежали.

Смеются.

Леля: Ты мне так хорошо забинтовал ее тогда в подъезде. Почти не болела. А теперь вот. Память.

Олег Львович: Слушай, только что звонил какой-то молодой человек и справался о твоём здоровье.

Леля (удивленно): Кто это?

Олег Львович: Он не представился.

Леля: Странно... Из всех мужчин моим здоровьем можешь интересоваться только ты.

Олег Львович: Прямо уж.

Леля: Честно-честно. А тогда мне пришлось уехать, потому что меня не оказалось в списке зачисленных. Позже выяснилось, что в список вкралась опечатка. В списке я была. Но не Лапиной, а Папиной. Так что в сентябре я приехала на учебу.

Олег Львович: Наверное, я начал забывать тебя, Леля.

Леля: А я нет.

Олег Львович: Если и начал, то только-только. Самое страшное, что я забыл твоё лицо, твою фигуру. Я хожу по улице и боюсь, что я встречу тебя и не узнаю. Я даже сейчас не понимаю, изменилась ты или нет.

Леля: А я после этого часто приходила в кафе, садилась к окну, из которого виден перекресток, заказывала чашку кофе и ждала, ждала. Иногда и обедала, когда деньги были. Ты ни разу не появился.

Олег Львович: А я часто проходил мимо и смотрел на то окно.

Леля: Смотрел он. Снаружи-то ничего не видно, что там внутри. Я ведь тоже ничего не знала о тебе, кроме имени.

Олег Львович: Теперь знаешь все. Я здесь сразу же после института. Скоро юбилей. Пять лет. Говорят, что я стал хорошим хирургом.

Леля: Значит, мне повезло... Почему говорят? Сам-то ты чувствуешь, что ты есть ты?

Олег Львович: Ничего я не чувствую... Я очень ждал тебя, Леля. Мне кажется, что я уже засох во всем, кроме своих операций.

Леля: Вот сделаешь ещё одну и расцветешь (*плачет*). А на мне останутся страшные шрамы... Неужели я мечтала о такой встрече?

Олег Львович: Леля, успокойся. Может, тебя и не надо оперировать. Пока ещё не всё ясно.

Леля (в истерике): Надо! Надо! У меня всё болит. И я не хочу, чтобы ты видел меня искромсанной.

Олег Львович: Лелечка, я быстро заживлю твои шрамы. Принесу тебе мертвой и живой воды. Окроплю, и ты будешь у нас ещё краше.

Леля (успокаивается): Олег, если я всё время думала о встрече с тобой, то уж точно не такой.

Олег Львович: А я всё равно рад, что мы с тобой наконец-то встретились.

Пауза.

Олег Львович: Леля, если тебе будет необходима операция, то я попрошу Сергея Петровича.

Леля: А почему не сам?

Олег Львович: Потому что ты это ты и я не смогу к тебе прикоснуться.

Леля: А мертвая и живая вода?

Олег Львович: Если будет надо, найду на краю света.

Леля: И принесешь?

Олег Львович: И принесу... А сейчас тебе пора в палату.

Леля медленно подходит к двери. Олег Львович слегка обгоняет ее и выглядывает в коридор.

Олег Львович: Никого.

Леля выскальзывается из двери. Олег Львович остается в ординаторской.

2-я картина

В ординаторской Олег Львович, Лазарь Яковлевич и Сергей Петрович. Входит Елена.

Елена: Сергей Петрович, вас просят в четвертую палату.

Сергей Петрович: Очень нужно?

Елена: Возможно.

Сергей Петрович: Коллеги, если мне будут звонить, попросите позвонить попозже.

Уходят.

Олег Львович: Лазарь Яковлевич, я хочу попросить вас прооперировать одну мою больную.

Лазарь Яковлевич: Странно. Что это вдруг? Тем более что ваши больные не первый день в стационаре и вы их вроде бы успешно ведете. И кого же?

Олег Львович: Лапину.

Лазарь Яковлевич: Забавная девица... Что же так?

Олег Львович: Мне бы не хотелось подробно объяснять. Мы знакомы.

Лазарь Яковлевич: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А я с ней не знаком? Так, что ли?

Олег Львович: Не совсем в таком смысле.

Лазарь Яковлевич: А в каком же?

Олег Львович: Мы давно знакомы.

Лазарь Яковлевич: А ты прозрел только что?

Олег Львович: Да.

Пауза.

Лазарь Яковлевич: Олег, ты видишь, что я некоторое время совсем не оперирую.

Олег Львович: Ну и что. Имеете на это право. Как начальник.

Лазарь Яковлевич: Начальник...

Олег Львович: А вот сейчас... Я вас очень прошу.

Лазарь Яковлевич: Когда?

Олег Львович: Дней через десять.

Лазарь Яковлевич (*после небольшой паузы*): Мне бы тоже не хотелось тебе ничего объяснять... Но – нет.

Олег Львович: Почему же?

Лазарь Яковлевич: Олег, поверь, не могу. Закроем тему. Попроси Сергея Петровича. Я думаю, он откажет. (*Уходит.*)

Входит Сергей Петрович.

Сергей Петрович: Звонили?

Олег Львович: Нет. Что в четвертой?

Сергей Петрович: Достаточно обычные вопросы на следующий день после операции.

Олег Львович: А перспективы?

Пауза.

Сергей Петрович: Надеюсь, вы наш больничный фольклор знаете?

Олег Львович: Что вы имеете в виду?

Сергей Петрович: Один больной спрашивает другого: «Тебе сколько времени делали операцию?» – «Четыре часа». – «Значит, жить будешь. А Феде – всего полчаса. Разрезали, посмотрели и зашили...» К сожалению, в четвертой именно такой случай.

Нажимает кнопку звонка. Входит Варя.

Сергей Петрович: Варя, в четвертой Сизову обработать швы, пантопон дополнительно. И...

Варя вопросительно смотрит на Сергея Петровича.

Сергей Петрович: Просто поговори с ним.

Варя уходит.

Олег Львович: Сергей Петрович, я хочу попросить вас прооперировать одну больную, которую я начал вести. Лапину.

Сергей Петрович: Причины?

Олег Львович (после паузы): Мне не хочется вам ничего объяснять, но скажу одно, что мы давно знакомы.

Сергей Петрович: Думаю, что понял вас. Давайте ее бумаги. У меня к вам тоже просьба. На весь операционный день дайте мне вашу Елену. Я хотел именно об этом просить вас. Моей операционной сестры не будет пару дней.

Олег Львович: Я поговорю с Еленой Владимировной.

Сергей Петрович: Хорошо (уходит).

Олег Львович работает за своим столом. Появляется Елена. Примерно в это же время из палаты выходит Леля, подходит к ординаторской, заглядывает в нее и попадает на Елену.

Елена: Больным нельзя заходить в ординаторскую. Доктор все вам сказал на обходе.

Олег Львович (не видя, с кем разговаривает Елена): Что уж так-то?

Елена: Достали.

Леля показывает закрытой двери язык и уходит к себе в палату.

Олег Львович: Лена, у Сергея Петровича заболела операционная сестра. Замени ее, пожалуйста, завтра. Он очень просил.

Елена (сухо): Лапиной тоже завтра операция? Я не ошибаюсь?

Олег Львович: Не ошибаешься.

Елена: Олег, неужели ты ничего не видишь?

Олег Львович: Лена, не надо. Вижу. И тем не менее.

Елена (плача): Ну почему я такая несчастная? Влюбиться в такого сухаря. Ты не человек, а механический скальпель. Я живая! Живая! И что ты в ней нашел? Пожалей ты меня хоть раз в жизни. Неужели кроме меня некому ассистировать! Ведь не желаю я ей здоровья! Не желаю!

Олег Львович: Некому. А все завтрашние операции если не срочные, то такие, что через неделю могут стать срочными.

Елена: И у Лапиной?

Олег Львович: И у нее... Лена, поверь, ты очень дорогой для меня человек. Кроме как с тобой, я сейчас ни с кем, пожалуй, не смогу оперировать. К тебе сейчас самая главная просьба в жизни.

Елена: Оперировать он не может. Эх, ты!

Олег Львович (пытается обнять ее): Лена, Лена.

Елена (отстраняя его): Меня все хвалят. Называют лучшей медсестрой. Ты думаешь, меня это радует? Я хочу другой жиз-

ни. Ведь я живу как раба и только на работе. Никто и не догадывается, что я не работаю, а просто угождаю тебе. А ты!.. Ты даже не замечаешь, в чем я прихожу на работу.

Олег Львович: Лена, мне всегда нравится, как ты одеваешься. Я тобой просто люблюсь.

Елена: Любуется он. Ну, в чем я была одета в понедельник?

Олег Львович подробно описывает рисунок ткани наряда Елены и купальника Лели из 1 картины.

Елена (задумчиво): Замечаешь... Считаю, что уговорил... Ничего ты не понимаешь в жизни! Ничего! *(Уходит.)*

Через некоторое время в ординаторской появляется Лазарь Яковлевич и садится за свой стол.

Олег Львович: Я пришел к выводу, что ничего не понимаю в девушках. Как вы считаете, коллега, какой должна быть девушка?

Лазарь Яковлевич: Девушка? Красивой и глупой.

Олег Львович (после паузы): Хорошо... А женщина?

Лазарь Яковлевич: Женщина... Наверное, доброй. И обязательно неглупой. И еще. Девушку хочется хотеться.

Олег Львович: А женщину?

Лазарь Яковлевич: Как вам угодно.

Олег Львович: А вам не кажется, что сейчас все как-то смешалось? Девушки совсем не глупы и не добры, а просто меркантильны. Зрелые женщины в большинстве своем глупы как пробки, но зато научились ухаживать за собой.

Лазарь Яковлевич: По-моему, так просто они научились использовать косметику, верхнюю и нижнюю. Плюс услуги стоматолога.

Олег Львович: Это те, у кого есть деньги. Поговорка «здоро-

вье не купишь» безнадежно устарела.

Лазарь Яковлевич: Да, кусочек здоровья теперь можно купить. Конечно, если повезет.

Олег Львович: Лазарь Яковлевич, скажите мне вот что: что есть жена? Я, как вы знаете, не женат, и поэтому вопрос этот для меня несколько актуален.

Лазарь Яковлевич: Несколько. Так вы никогда не женитесь. Помните Чехова? В «Трех сестрах» он написал монолог Андрея о том, какой должна быть жена. На целую страницу.

Олег Львович: Нет, я это не знаю. А вы помните, что там написал Чехов? Хотя что-нибудь.

Лазарь Яковлевич: Я помню все.

Олег Львович: Всю страницу?

Лазарь Яковлевич: Чехов зачеркнул всю эту страницу и оставил только одну фразу.

Олег Львович: Да не тяните же вы!

Лазарь Яковлевич: Жена есть жена.

Олег Львович: И все-таки.

Лазарь Яковлевич: Жена должна создавать фон. Интерьер, гарнир, тихую музыку. Сплошной блюз. «Дым» Джерома Керна помните?

Олег Львович: Нет.

Лазарь Яковлевич: Жаль.

Олег Львович: Эх вы. Тихая мелодия. Да еще с гарниром. Интересно, но непонятно.

Лазарь Яковлевич: Чего же тут непонятного. Представьте, что она постоянно о чем-то щебечет или, если хотите, клеймит

вас как последнюю сволочь. Но в этом оре вы постоянно слышите: «Только не уходи, потерпи немножко. Сейчас у меня все пройдет, и мы снова возлюбим друг друга».

Олег Львович: Все равно не понял.

Лазарь Яковлевич: Поверьте, что я раньше не замечал за вами подобных непониманий. Поясняю. Если жена издает какие-то звуки, не важно какие, значит, все идет хорошо. Если никаких звуков нет, то, значит, очень и очень плохо. Под звуками я подразумеваю и некие телодвижения.

Олег Львович: Вы циник.

Лазарь Яковлевич: Ну вот. И вы туда же. Ладно, обыватели... Это не цинизм. Это, если хотите, запах нашей профессии. Я врач. И если бы я не был им, я никогда не написал бы такую книгу как «Эмансипе».

Олег Львович: Но там же нет ни капельки медицинского.

Лазарь Яковлевич: Кроме того, что автор медик, а не писатель. Медиком и умру.

Олег Львович: Будем надеяться, что без всякой там эвтаназии. А пишете вы хорошо. Легко.

Лазарь Яковлевич: Да ладно вам. Просто я элементарно владею русским языком в отличие от некоторых наших коллег. Вообще-то, каждый человек, имеющий высшее образование, должен уметь писать нечто сверх историй болезней и посмертных эпикризов.

Олег Львович: Много хотите.

Лазарь Яковлевич: Отнюдь. Это минимум для образованного человека. Если хотите, для интеллигентного. Не люблю я этого слова, хотя каждый медик, вплоть до последней нянечки, должен быть интеллигентом.

Олег Львович: И снова не понял.

Лазарь Яковлевич: Вы уже притворяетесь. Что такое интеллигентность, по-вашему? Начитанность? Очки и шляпа? Все это гроша ломаного не стоит. Без сопереживания. Без умения поставить себя на место больного.

Олег Львович: Ну, прямо система Станиславского.

Лазарь Яковлевич: Если хотите, да. Только там где-то можно и понарошку. Здесь же понарошку – нигде нельзя.

Олег Львович: И это говорите мне вы! Ставь не ставь, а если у больного нет денег... Я ведь знаю некоторые ваши отказы больным.

Лазарь Яковлевич: Во-первых, это только некоторым, которые еще могут и нас с вами пережить.

Олег Львович: Вряд ли.

Лазарь Яковлевич: Вы оптимист. К сожалению или, не знаю, к счастью, переживут. Правда, переживать нас с вами они будут без некоторого комфорта.

Олег Львович: Как говорят в народе: «Жить будет, а любить нет»?

Лазарь Яковлевич: Некоторые – да.

Олег Львович: А зачем такая жизнь?

Лазарь Яковлевич: Кто из нас циник? Ценна любая жизнь и в любой форме. А во-вторых, все мы делаем бесплатные срочные операции. И в-третьих, возвращаясь к интеллигентности. Мне не забыть покойную Марковну, нянечку, которую вы, кажется, не застали.

Олег Львович: Застал.

Лазарь Яковлевич: Значит, помните, как она выхаживала послеоперационных. Формально все вроде бы делали медсе-

стры. Основное. А выздоровевшие помнили исключительно Марковну. Она брала на себя их боль. А в школу Марковна ходила всего два года. Вот вам и интеллигентность.

Олег Львович: С интеллигентностью мне все ясно, но я даже не подозревал, что семейная жизнь у вас облечена в целую философскую систему.

Лазарь Яковлевич: Ай, бросьте. При чем здесь философия? Это практика, молодой человек. Я женат уже третий раз. И все три удачно.

В ординаторскую заглядывает Елена.

Елена: Лазарь Яковлевич, вас просят срочно зайти в палату.

Лазарь Яковлевич (уходя): И еще. О жене. По-моему, очень важно, чтобы вам о ней было приятно заботиться.

*Лазарь Яковлевич уходит. Олег Львович нажимает на кнопку.
Входит Варя.*

Олег Львович: Гранкину вторую капельницу поставили?

Варя: Поставила.

Варя мнется. Не уходит. Явно что-то хочет сказать.

Варя: Олег Львович, а он так никогда и не сможет?

Олег Львович: Что не сможет?

Варя: Ну... с женщинами.

Олег Львович: Полной гарантии дать не могу. При подобном развитии аденомы возможен и такой вариант. Даже в случае удачной операции, к чему мы его и готовим.

Варя: Олег Львович, я все сделаю! Все! Только скажите, что нужно.

Олег Львович: Пока капельницы и ничего лишнего. Делайте, что положено, и будем надеяться.

Варя: Я не могу так. Ему ведь и тридцати нет.

Олег Львович: (словно очнувшись, внимательно смотрит на Варю) Варя, а ты только к Гранкину так относишься или...

Варя: Или! Или! Но ведь ему всего двадцать семь. (Убегает.)

Олег Львович: Кажется, я начинаю ей завидовать. И почему я не женщина?

В это время из своей палаты выходит Леля и останавливается в коридоре у окна. Олег Львович выходит из ординаторской и подходит к Леле.

Олег Львович: Ты про меня все знаешь, а я про тебя ничего.

Леля: А что про меня. Я живу хорошо. Работаю по специальности. Снимаем крохотную квартиру.

Олег Львович: Снимаете?

Леля: Снимаем. Вместе с кошкой. Степанидой. Правда, родственники из районов достают. Кучей иногда приезжают. Вот на днях тоже явились. Я устроила их, села на крылечке с кошкой и спросила ее: «Ну и куда мы пойдём, Стеша?»

Олег Львович: Ну и куда пошли?

Леля: Степанида осталась дома, а я пошла гулять по набережной. А потом зашла к одному своему старому другу. (Пауза.) И у него переночевала... Нет, ты ничего не думай. Ничего такого у меня с ним нет. Если что-то когда-то и было. Да, скорее всего, и не было. Так. Поболтали. Посмеялись. Разбежались.

Олег Львович: Леля, оперировать тебя будет Сергей Петрович.

Леля: Олег, я настроилась, смирилась, успокоилась. Я спокойна. Я очень спокойна. Даже больше. Счастлива.

Олег Львович: Лелька ты, Лелька. Все у нас с тобой наладится, и я буду о тебе заботиться.

В коридоре появляются и останавливаются у окна Елена и Сергей Петрович.

Сергей Петрович: Лена, я очень рад тому, что ты мне будешь ассистировать. Я понимаю, ты говорила как-то, что с удовольствием перешла бы работать со мной постоянно. Я был бы счастлив.

Елена: Работать с вами? Это было как-то и сгоряча.

Сергей Петрович: И горячность эту, конечно же, зовут Олег Львович.

Елена: Сергей Петрович, не надо. Олег Львович просто хороший врач, с которым я сработалась. Не обижайтесь. Я к вам очень хорошо отношусь и всегда помогу, если надо... Но я не буду постоянно работать с вами.

Сергей Петрович: Но почему? Олег Львович действительно хороший врач, но ведь и я, честно говоря, не страдаю комплексом неполноценности и имею на это право. Мы с тобой прекрасно сработаемся. Ты идеальная операционная сестра.

Елена: И только?

Сергей Петрович: А что же еще?

Елена: Вот поэтому и не сработаемся. От меня вы получите только одноразовое питание.

Сергей Петрович: Я ничего не понимаю.

Елена: И не трудитесь понять... Не сердитесь на меня, пожалуйста. На операции я вас не подведу. *(Уходит.)*

Леля: Олег, я все-таки боюсь за Степаниду. Она вся такая пушистая, дымчатая, и хвост у нее чуть-чуть изогнут под углом.

Олег Львович: В дверях прижали? Чтобы быстрее поворачивалась? Так в Сибири, говорят, делают.

Леля: Да ты что! Авпрочем, не знаю. Я подобрала ее уже боль-

шим мокрым котенком, и такой хвост у нее уже был. Мы уже несколько лет вместе.

Олег Львович: Где мне ее искать?

Леля: Около моего дома. С ней я быстро поправлюсь.

Олег Львович: Мы обязательно встретимся. Я возьму ее к себе, она будет передавать тебе приветы, и все у нас будет хорошо.

Леля уходит к себе в палату, Олег Львович – в ординаторскую.

Перед этим в ординаторскую заходит Лазарь Яковлевич, снимает халат и пиджак, достает из стола иголку с ниткой, а из кармана пуговицу и начинает ее пришивать. За этим занятием его застаёт Олег Львович.

Олег Львович: Я вижу, вам не чужды и женские семейные обязанности.

Лазарь Яковлевич: Отнюдь не чужды.

Олег Львович: Ради бога извините меня за нескромность, Лазарь Яковлевич, но я заметил эту оторванную пуговицу у вас еще четыре дня назад и был уверен, что ее давно уже пришила ваша счастливая жена.

Лазарь Яковлевич *(раздраженно)*: Он заметил! А вот я не заметил! И супруга тоже! Тем более она в командировке!

Олег Львович: А я думал, что во время учебного года учителей не отправляют в командировки.

Лазарь Яковлевич *(окончательно раздражаясь)*: Отправляют! Да еще как! По обмену опытом.

Олег Львович: Странно. *(Пауза.)* По-моему, вы должны ненавидеть Министерство образования.

Лазарь Яковлевич: Себя я должен ненавидеть. Себя.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

1-я картина

Ординаторская. Олег Львович и Сергей Петрович.

Олег Львович: Как вы, коллега, оцениваете состояние Лапиной после операции?

Сергей Петрович: Нормально. Не вижу особых осложнений.

Олег Львович: Не видите... Почему же сегодня она снова потеряла сознание и ей дополнительно пришлось делать инъекции?

Сергей Петрович молчит.

Олег Львович: А вы говорите, что не видите никаких осложнений.

Сергей Петрович: И буду говорить. Вы прекрасно знаете, что период выздоровления после подобных операций «от и до». Так вот. У нее – «до».

Олег Львович: Почему?.. Елена Владимировна хорошо вам асистировала?

Сергей Петрович: Вне всякой критики... Разве что, как ни странно, во время операции она иногда действовала, как мне показалось, несколько замедленно.

Олег Львович: Будем считать, что показалось.

Сергей Петрович: Олег, ты прекрасно знаешь, что в нашей работе главное-не главное, а достаточно важное – любить того человека, которого оперируешь. Это скорее абстрактно, чем конкретно, хотя абстракция эта иногда перетекает в конкретику.

Олег Львович: Завернул! Еще один Лазарь Яковлевич. Правда, с демагогическим уклоном.

Сергей Петрович: Мне до него далеко.

Олег Львович: Это уж точно. И все-таки? В отношении Лапиной?

Сергей Петрович: Скорее всего, Елены. Мне кажется, что она тебя любит. Отсюда все остальное. А у твоей Лапиной все будет хорошо. Только своевременно. Или несколько позже. *(Уходит.)*

Входит Лазарь Яковлевич. На протяжении диалога он готовит какие-то бутерброды и ставит их в микроволновую печь.

Лазарь Яковлевич: Не помню, на чем мы остановились, но суть я, кажется, уловил правильно. Вы хотите или всеобщей и обязательной интеллигентности, или жениться.

Олег Львович: Скорее первого. Но это невозможно.

Лазарь Яковлевич: Тогда второго. Это так просто. Только свистните, и все медсестры будут ваши.

Олег Львович: Лазарь Яковлевич, мне страшно, и я прошу у вас совета.

Лазарь Яковлевич: Весьма польщен. Но за кого вы меня тут держите? С советом воздержусь.

Олег Львович: Почему?

Лазарь Яковлевич: Что я, дурак, что ли? Вы обидитесь на любой мой совет.

Олег Львович: Ну уж.

Лазарь Яковлевич: Да уж... Я ее знаю?

Олег Львович: Так же воздержусь с ответом.

Лазарь Яковлевич: Значит, знаю... Елена отпадает.

Олег Львович: Почему? Отличная боевая подруга.

Лазарь Яковлевич: Именно поэтому. Боевые подружки слыш-

ком верны нам по работе. «От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены». Потому боевые подруги не аппетитны.

Олег Львович: Я никак не могу привыкнуть к вашему цинизму.

Лазарь Яковлевич: Какой цинизм? Это Эдуард Багрицкий. Хороший поэт был когда-то.

Олег Львович: Пообедать здесь собираетесь?

Лазарь Яковлевич: Отнюдь. Прямо уж и не поговорить с вами на абстрактные темы. И чего вам взбрыкнулось под сорок-то лет? А кухня? Это не кухня, а так, закуска.

Олег Львович: Не под сорок, а за тридцать. Чего взбрыкнулось. Любовь зла.

Пауза.

Лазарь Яковлевич (*достает из кармана флажку с коньяком, наливает*): За козла! Шутка. Пур лямур.

Пьют.

Олег Львович: Что-то я не замечал за вами раньше тяги к алкоголю.

Лазарь Яковлевич: (*снова наливает*). В пьянстве не был замечен, но по утрам пил холодную воду. За здоровье всех окружающих... Пьет много, но с отвращением. Из служебной характеристики... А теперь, Олег Львович, я попрошу вас, посмотрите, пожалуйста, результаты анализов, рентген и тэ дэ одного больного. (*Достает из кармана историю болезни.*)

Олег Львович: Ну у вас и карманы! (*После знакомства с бумагами.*) Надо срочно ложиться к нам... А впрочем, лучше совсем не ложиться.

Лазарь Яковлевич: Это еще почему?

Олег Львович: Я бы не дал ему гарантии... Где он раньше был, ваш больной?

Лазарь Яковлевич: Где, где. Здесь и был. Не беспокоило его особенно ничего. Не беспокоило.

Олег Львович: По-моему, это амилоидоз, хотя я окончательно не уверен. Патология еще недостаточно изучена. Вот вам и тема для диссертации. Думаю, что достаточно легко защититься... А почему здесь нигде нет фамилии больного?

Лазарь Яковлевич: Да потому что этот больной я сам.

Олег Львович: ...Ну что же, вам не привыкать ночевать в стационаре. Надевайте пижаму и на койку.

Лазарь Яковлевич: Займемся танатологией, то бишь смертнологией.

Олег Львович: Не танатологией, а собственным здоровьем.

Лазарь Яковлевич: Олег. Не ханжи. А купи-ка ты мне самую толстую тетрадь, какие есть на свете... И постарайся, чтобы у меня не пропадало сознание... До последнего.

Олег Львович: Будем оптимистами!

Лазарь Яковлевич: Да пошел ты! Кто из нас циник? (*Собирается уходить. Останавливается у шкафа.*) Дорогой многоуважаемый шкаф, приветствую твое существование... И чего только у меня здесь нет... А вот пижамы отродясь не бывало. Вот и мне, вероятно, понадобится Марковна.

Олег Львович: Капельницы вам я попрошу делать Варю.

Лазарь Яковлевич: А мне нужна Марковна!

Олег Львович: А вы не помните отчество Вари?

Лазарь Яковлевич: Забыл. Начисто.

Олег Львович: Макаровна!

Лазарь Яковлевич: Макаровна! Полная реинкарнация. (*Уходит.*)

В коридоре появляется Стас с огромным букетом цветов. Заглядывает в ординаторскую. Олег Львович выходит в коридор.

Стас: Я бы хотел видеть Ольгу Лапину.

Олег Львович: Ей несколько дней назад сделали операцию.

Стас: Я знаю.

Олег Львович: К ней пока нельзя.

Стас: Прямо-таки и нельзя?

Олег Львович: Я вам сказал.

Стас: Тогда передайте ей это. (*Передает букет, потом достает ключ на цепочке.*) И вот это.

Олег Львович: Что это?

Стас: Ключ от моей квартиры (*зло*). И скажите ей, чтобы мобильник включила. Как выпишется, буду ждать. Скажите, Стас приходил. (*Уходит.*)

Из палаты медленно и осторожно выходит Леля. Ей трудно идти.

Леля: Олег.

Олег Львович подходит к Леле и передает ей букет.

Олег Львович: Тебе.

Леля: Спасибо. Какой красивый.

Олег Львович: Стас передал. И вот это. (*Передает ключ.*)

Леля: Помогите мне дойти до окна.

Подходит к окну. Леля размахивается и швыряет букет с ключом в окно.

Леля: Я хочу в палату.

Олег Львович помогает ей дойти. Только Леля скрывается, появляется счастливая Варя с этим же букетом.

Варя: Ой, Олег Львович, что было, что было! Стоим внизу с Гранкиным. Он мне начинает какие-то слова хорошие говорить, а потом и приставать начал.

Олег Львович: Прямо уж приставать. У него же еще швы не сняты.

Варя: Я ему это и говорю. Оттолкнула его и пошла, а он: «Варя, задержись, хоть на секунду» и букет подает. Просто чудо какое-то. Я ему: «Откуда?», а он мне «С неба», – говорит. Просто с неба. (*Зарывается лицом в букет.*) Как пахнет! (*Убегает.*)

Олег Львович: Гранкин явно идет на поправку.

2-я картина

В ординаторскую входит Варя в праздничном наряде.

Танец Вари.

Варя (*свешиваясь в окно*): Жди меня там же в парке. Я скоро приду. (*Убегает.*)

В ординаторскую входят Олег Львович и Елена.

Елена: Олег Львович, вы не знаете, чего тут Варвара болтается? У нее вроде бы выходной сегодня. Эта болтается, а Гранкин куда-то пропал. Надо выписку оформлять, а его нет как нет.

Олег Львович: Про Варю ничего не знаю, а Гранкина после обхода не видел.

Елена уходит. Олег Львович продолжает работать.

Через некоторое время появляется Варя и останавливается в дверях. Глаза ее светятся счастьем.

Олег Львович (слегка глянув на нее, не отрываясь от бумаг): Тут тобой Елена интересовалась. По-моему, она на тебя за что-то тянет.

Варя: С чего бы это?

Олег Львович: Не знаю, не знаю.

Пауза.

Варя: Олег Львович, он может! Может! (Уходит.)

Олег Львович: Так в ней зародился эмбрион интеллигентности. Варвара, стой! Где Гранкин? (Быстро выходит.)

*В ординаторскую заходит Лазарь Яковлевич
в пижаме и садится за свой стол.
Телефонный звонок.*

Лазарь Яковлевич (берет трубку): Здравствуйте, Здравствуйте, здравствуйте. Несомненно помню... Да бог с ними, с деньгами... Приезжайте... Нет, не я, а Олег Львович... Вполне. Можете ему довериться так же, как и мне... Со мной... Конечно. Все мы обязательно встретимся. (Кладет трубку.) Обязательно.

Входит Олег Львович.

Лазарь Яковлевич: Я пообещал, что ты его прооперируешь.

Пауза.

Лазарь Яковлевич: Блокнот купил?

Олег Львович: Купил.

Лазарь Яковлевич: Толстый?

Олег Львович: Толстый. (Достает из стола блокнот передает Лазарю Яковлевичу.)

Лазарь Яковлевич собирается уходить. Телефонный звонок.

Олег Львович берет трубку.

Олег Львович: Да, Леля. Потерпи чуть-чуть. Я сейчас приду к тебе в палату с приветом... Нет, она меня почти не оцарапала. Я ее уговорил. И она почти моя... Ну, как любая кошка... Ест? Все. Только что не из рук. Ты знаешь, Леля, мне кажется, что она меня любит... Я? Я вообще не представляю, как я мог жить без нашей Стефании.

Леля что-то говорит ему, а он слушает, слушает с любовью и восторгом. Потом вопросительно смотрит на застрявшего в дверях Лазаря Яковлевича.

Лазарь Яковлевич: Примите мои извинения, сэр, по поводу того, что один ваш знакомый еврей не сможет напиться на вашей свадьбе. (Уходя, Лазарь Яковлевич включает радио.)

Голос по радио: В заключение нашего концерта послушайте «Дым» Джерома Керна.

Звучит «Дым». Олег Львович продолжает слушать по телефону Лелин голос, а заодно и «Дым» с восторгом и упоением.

К о н е ц

2006 г.

ЖИТЬ ЛЮБОВЬЮ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Николас Эрфе – 25 лет

Алисон Келли – 22 года

Морис Кончис – 60 лет

г-жа де Сейтас – 50 лет

Жюли – 24 года

Джун – 24 года

Джо – 27 лет

Митфорд – 27 лет

Димитриадис – 27 лет

Дитрих Виммель – 45 лет

Д-р Фридрих Кречмер – 70 лет

Мария – 60 лет

Бен, частный детектив – 26 лет

Члены суда, окружение Кончиса, посетители кафе.

Экран прошлого.

Действие происходит в 1953-1954 гг. в Лондоне, на Греческом острове Фраксос и в окрестностях Афин.

293
Пьесы

ЖИТЬ ЛЮБОВЬЮ

*Сценическая фантазия Бориса Гуцина
по мотивам романа Джона Фаулза «Волхв»
в переводе Бориса Кузьминского*

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

1-я картина

Экран.

Без звука, параллельно действию на сцене.

Молодёжная вечеринка на частной квартире. Николас танцует с Мэгги. Танец прерывается. Мэгги идет открывать дверь. На пороге Алисон в дорожном костюме с чемоданом в руках. Поцелуи. Алисон включается в компанию. Николас и Алисон постоянно вместе. Какой-то молодой человек пытается выяснить с ними отношения. Алисон отшивает его. Николас и Алисон выходят на лестницу и поднимаются этажом выше в квартиру Николаса. Он оставляет Алисон в квартире одну. Она принимает ванну. Одевшись, она снова спускается на вечеринку. Потом вместе с Николасом возвращается в его квартиру. Поцелуи. Постель.

Сцена. *Спальня в квартире Николаса. На кровати Алисон. Николас, улыбаясь, входит с подносом: кофе, бутерброды, джем и т.д. Садится на край кровати. Алисон просыпается, зло смотрит на Николаса, натягивает себе на голову покрывало. После молчания голова снова появляется из-под покрывала.*

Алисон: Дай закурить... И рубашку какую не жалко.

Николаас: Пожалуйста. (*Молчание.*) Что с тобой? В чем-то провинился?

Алисон: Знаешь, сколько мужчин у меня было за эти два месяца?

Николаас: Пятьдесят?

Алисон (*серьёзно*): Если б пятьдесят, я бы не мучилась с выбором профессии в Лондоне.

Николаас: А ты, значит, мучишься?

Алисон: Да нет, пожалуй. Меня тут в одной конторе берут в стюардессы. Жаль только, что Мэгги меня выгонит. Мы с ней австралийки и снимаем квартиру прямо под твоей. Но Мэгги главная. А я вроде бы считаюсь невестой её брата Пита. Он лётчик. Мы вместе жили в Австралии. Вчера я оттуда прилетела.

Николаас: Вместе летать будете?

Алисон: Теперь вряд ли.

Николаас: А куда?

Алисон: Стамбул. Белград. Афины. В общем, туда.

Николаас: Здорово. А я с осени буду учителем английского на острове Фракос. Можем встречаться в Афинах.

Алисон (*после паузы*): Когда мы познакомились, я сразу поняла, что, если лягу с тобой, то я развратная.

Николаас: Искренне благодарен.

Алисон: У тебя такие подходцы.

Николаас: Какие?

Алисон: Как у маньяка-дефлоратора.

Николаас: Ну, детский сад. У меня с этим типом нет ничего общего.

Алисон: Извини. Ты очень клевый в постели.

Николаас: Спасибо.

Алисон: А дальше-то что?

Николаас: Меня как-то это не волнует.

Алисон: Зато меня волнует.

Николаас: Лишнее доказательство, что тебе не надо выходить замуж за того типа.

Алисон: Хочешь, скажу, чем Пит сейчас занимается? Он мне пишет: «Прошлую среду я взял отгул, и мы весь день фершипилились».

Николаас: Что это?

Алисон: Это значит: «Ты тоже спи с кем хочешь...» Нет, мужикам не понять, что это такое – проснуться рядом с типом, с которым вчера не была знакома. Что-то теряешь.

Николаас: Да уж.

Алисон: Совсем не то, что обычно теряют девушки. Плюс к тому.

Николаас: И приобретаешь.

Алисон: Господи. Да что тут приобретёшь?

Николаас: Опыт. Радость.

Алисон: Да пошёл ты. (*После паузы.*) Думаешь, что я шлюха?

Николаас: Ничего не думаю. Просто ты мне очень и очень нравишься.

Алисон (*плачет*): А если так, то залезай ко мне. Обними меня покрепче, но ничего не делай.

Только Николас улегся, звонок в дверь. Он открывает. В комнату влетают два чемодана Алисон.

Голос Мэгги: Можешь остаться здесь навсегда. Что мне писать Питу?

Алисон: Что я всю ночь фершипилилась.

Голос Мэгги: Что-что?

Алисон: Тебе перевести? Или продемонстрировать?

Голос Мэгги: Шлюха.

Хлопает дверь. Николас плюхается на кровать.

2-я картина

*Там же. Николас сидит у стола и что-то пишет. Входит Алисон.
По всем её повадкам видно, что она здесь живет.*

Алисон (*протягивает Николасу паркеровскую ручку с золотым пером*): Примите, мсье.

Николас: Ты что, с ума сошла? Это же очень дорого.

Алисон: Ну и что? Я её просто стырила.

Николас: Стырила?

Алисон: Ой, да я всё краду. А ты не знал?

Николас: Всё?

Алисон: Не в лавочках же. В супермаркетах. Не могу удержаться. Да не переживай ты так.

Николас: С ума сойти. Тебя же посадят. (*Пауза.*) У нас не осталось виски?

Алисон (*достаёт бутылку из своей сумочки*): Держи. Не посадят. (*Николас наполняет рюмки.*) Твоё здоровье. Ненавижу супермаркеты. Ненавижу буржуев. Ненавижу англичков. Ой, извини. Я опять начинаю пороть ерунду.

Николас: Да нет. Мне с тобой очень интересно и хорошо.

Алисон: Правда-правда? Ты совсем не такой, как Пит. Ты настоящий англичанин.

Николас (*Снова наливает*): А Пит нет?

Алисон: Он австралиец. А знаешь, какой он клёвый? Хоть и скотина. Я всегда его понимаю. А тебя нет. Ты радуешься, а я не понимаю чему. Обижаясь – не понимаю, на что. (*Садится на колени к Николасу.*) Я школу кончила, поступила в университет и с Питом познакомилась. Всё так усложнилось. Пришлось аборт делать.

Николас: А ты не хотела? Ребенка?

Алисон: Нет. (*Смягчившись.*) Хотела, конечно. Но он бы помешал.

Николас: А сейчас?

Алисон: Иногда. Дело в том, что ты не я. Ты не так всё воспринимаешь.

Николас: А как?

Алисон: Не так. Ты в любой момент можешь отключиться, и тебе будет казаться, что всё в порядке.

Николас: Я просто терплю. Всё.

Алисон: А я... Когда тебя нет, я всё время думаю, что ты умер. Когда мы вдвоём, мне всё пофигу. Представь, что у тебя куча денег, а магазины через час закрываются. Поневоле приходится всё хапать.

Николас: Представляю. Это тебе-то и за деньги.

Алисон: Я очень и очень серьёзно.

Николас: Я не знаю, Элли, но, хоть мы и с тобой, на меня накатывает холодное такое чувство, что я один. Нет. Это только когда мы врозь.

Алисон: Просто тебе нравится это чувство. Ты им упиваешься, и в глубине души считаешь себя лучше всех. (*Помолчав.*) Ты и правда лучше всех, таких людей не бывает.

Николас: Что не мешает мне оставаться одиноким.

Алисон (*пожимает плечами*): Женись. Хоть на мне.

Николас: И тем не менее ты выходишь за Пита.

Алисон: Конечно. Ты же не свяжешься со шлюхой, да ещё австралийской.

Николас: Уже связался. (*Пауза.*) Меня утвердили учителем на Фракосе. Я тут познакомился с моим предшественником в той школе, неким Митфордом. Он должен зайти.

Алисон: Я никого не хочу здесь видеть.

Николас: Хорошо. Если он появится, ты уйдёшь. (*Пауза.*) Ты выйдешь за меня, если я сделаю тебе предложение?

Алисон: Так об этом не спрашивают.

Николас: Да я хоть завтра на тебе бы женился, если б был уверен, что ты этого хочешь.

Алисон: На днях должен приехать Пит.

Николас: И что?

Алисон: Не бойся. Он знает.

Николас: Откуда?

Алисон: Я ему написала.

Николас: И?

Алисон: Без обид. (*Пауза.*) Скажи: «Выходи за меня замуж».

Николас: Выходи за меня замуж.

Алисон: Не выйду.

Николас: Элли! Ну зачем ты это делаешь?

Алисон: Так проще. Ты в Грецию. Я далее везде.

Алисон раздевается и приглашает сделать это Николаса.

Алисон: Я не хочу делать тебе больно, а чем больше я к тебе лезу, тем тебе больнее.

3-я картина

Та же комната. Часть вещей подготовлена к отъезду.

Николас пакует книги.

Входит Алисон. Раздевается. Начинает молча делать себе косметическую маску.

Николас: Так и будешь молчать? Где ты бываешь?

Алисон: Я с тобой не разговариваю.

Николас: Как хочешь. Я и так знаю, где ты болталась.

Алисон: Ну и где?

Николас: Ты была у Пита.

Алисон (*берет под козырёк*): Так точно, сэр. (*С беешенством.*) И что дальше?

Николас: Не могла потерпеть два дня?

Алисон: Зачем? (*Пауза.*) Я в кино была. Все новые фильмы просмотрела за эти дни.

Николас: А зачем соврала?

Алисон: Затем, что ты мне не доверяешь. Ты что, думаешь, что к нему теперь так вот, запросто, могу пойти? (*После паузы.*) Я хотела покончить с собой. Стояла на платформе... и струсила.

Николас (*наполняет бокалы*): Вернешься к Питу?

Алисон: А ты собираешься просить, чтобы не возвращалась?

Николас: Нет.

Пьют.

Алисон: Знаешь, о чём я думала на платформе?

Николас: Нет.

Алисон: А вот о чём. Если бы я покончила с собой, ты бы только радовался. Раззвонил бы, что я умерла от любви к тебе. Поэтому я

никогда с собой не покончу. Чтобы не удружить такому говну вроде тебя.

Николаас: И тебе не стыдно?

Алисон: Потом я решила, что нужно написать записку. Вот.

Николаас: Читай.

Алисон (*читает*): Не хочу больше жить. Давно. Мне хорошо только тут на курсах или в кино. Ещё в постели. Когда я забываю о себе. Ни одной счастливой минуты с тех пор, как сделала аборт. Я заставляла быть себя счастливой, глядя в зеркало. Посмотришь и счастлива.

Николаас: Ты всё выдумываешь.

Алисон: Конечно. Я написала всё это утром за кофе. Убила бы себя чем-нибудь, да нечем. Разве что чайником.

Николаас: Истеричка.

Алисон: А я и есть истеричка. (*Падает в объятия Николааса.*)

Звонок в дверь. Николаас открывает. Входит очень довольный Митфорд с бутылкой шампанского.

Митфорд: Надеюсь, что не помешал, Эрфе. Принимайте счастливого коллегу, избавившегося от этих недоумков.

Николаас: Что, очень страшные?

Митфорд: Да нет. Не страшнее английских. (*Алисон незаметно уходит.*) Карта есть? (*Николаас подаёт карту.*) Вот.

На экране виды греческого острова и бытовые сцены, схваченные оператором.

Николаас: Как школа?

Митфорд: Лучшая в стране. Без балды.

Николаас: Дисциплина?

Митфорд (*делает приём карате*): Так их всех.

Николаас: Работа?

Митфорд: Средней паршивости.

Николаас: А вечером?

Митфорд: Остров. Деревня. Пчёлки только. Так и жужжат. Ж-ж. Ж-ж. Давай бокалы. (*Открывает шампанское. Наливает.*) За нас!

Николаас: Общество?

Митфорд: Полный ноль. Учительские жёны. Пара чиновников да поп с попадьёй. Есть там, правда, один, да ты с ним вряд ли увидишься. Мы с ним здорово поцапались. Жуткий мерзавец. Сотрудничал с немцами. Так что у тебя остаётся только педсостав.

Николаас: Да, коллега. Умеешь ты утешить.

Митфорд: Да брось ты. Давай ещё сбегаю за шампанским.

Николаас: Нет, я не буду.

Митфорд: Тогда я, пожалуй, пойду. Нажрусь где-нибудь. (*Уже с порога с грустной ухмылкой.*) К афинским девушкам лучше не суйся. Сифак обеспечен. И никогда не ходи в зал ожидания.

Николаас: Куда-куда?

Митфорд (*из-за двери*): В зал ожидания. Запомни.

Через некоторое время входит Алисон и бросается на шею Николаасу.

Николаас: Элли, что ты?

Алисон: Я не могу, не могу. Я даже не выдержала наш любимый фильм «Набережная туманов». Я буду ждать тебя... Не веришь?.. Честное слово.

Николаас: Знаю.

Алисон: Ответь как следует.

Николаас: А что тебя не устраивает? Ведь мы не должны давать друг другу обязательств. Это всё равно, что обручиться, не зная, женишься ты или нет. (*Молчание.*)

Алисон: Я просто подумала, как вернуться сюда завтра вечером. Я знаю, что это такое, когда уезжают. Неделю умираешь, неделю просто больно, потом начинаешь забывать, а потом кажется, что и ничего и не было. Так уж устроена эта глупая жизнь.

Николаас: Я не забуду тебя.

Алисон: Забудешь... И я тебя тоже.

Николаас: Мы выдержим. Как бы печально это не обернулось.

Алисон: Да ты и знать не знаешь, что такое печаль.

4-я картина

Комната Николааса в школе на острове Фраксос. Николаас читает письмо Алисон. На экране Алисон в форме стюардессы.

Голос Алисон: Люблю тебя, хоть ты и не понимаешь, что это значит, ты никогда никого не любил. Я всю неделю пыталась до тебя достучаться. Бесполезно. Что ж, как полюбишь – вспомни, что было сегодня. Вспомни, как я поцеловала тебя и ушла. Как шла по улице и ни разу не оглянулась. Я знала, что ты смотришь в окно. Вспомни всё это, вспомни. Остальное можешь забыть, но это, будь добр, вспомни. Я шла по улице и не оглянулась, и я люблю тебя. Люблю так, что с сегодняшнего дня возненавидела.

Стук в дверь. Входит Димитриадис.

Димитриадис: Разрешите, коллега. (Николаас прячет письмо.) Вы ещё не скисли от нашего климата?

Николаас: Ещё месяц и скисну.

Димитриадис: Позвольте вам не позволить этого. Я невольно чувствую себя виноватым перед вашим предшественником Митфордом.

Николаас: А с ним-то что?

Димитриадис: Скис. Целый год никуда не выходил из деревни.

Николаас: А что вы можете мне предложить?

Димитриадис: Официально. Ключ от школьной библиотеки.

Николаас: А не...? Послушайте, Димитриадис, пока не забыл: с кем Митфорд тут поцапался? Коллаборационист какой-то вроде.

Димитриадис: Мне он ничего не говорил.

Николаас: Что такое «зал ожидания»?

Димитриадис: Это на вокзалах. Но у нас нет вокзала.

Николаас: Нет... Это что-то другое... А неофициально?

Димитриадис: Давно бы так. Мы с тобой на выходные едем в Афины. Пойдём туда, где самые красивые девушки Греции. Я тебя с такой нимфеткой познакомлю, что пальчики оближешь. Ну как?

Николаас: Значит, я не скисну?

Димитриадис: Скорее прокиснут все греческие вина.

5-я картина

Комната Николааса. Он лежит на тахте. Стук в дверь.

Николаас: Заходите.

Димитриадис: Салют. Как себя чувствуем?

Николаас: Был у доктора. Сдал анализы. Тот отправил в Афины. Говорит, что я не заразен, но с женщинами сейчас спать нельзя... Я так боюсь сифилиса.

Димитриадис: Да брось ты. Сейчас нельзя, потом можно.

Николаас: Исчезни. Мне тебя видеть-то тошно.

Димитриадис уходит. Николаас открывает письмо. На экране Алисон в форме стюардессы.

Голос Алисон: Дорогой Николаас. Не могу больше врать. Придется сделать тебе больно. Я была одна, мне было плохо. Я не писала тебе,

что мне плохо, просто не знала, как об этом написать. В первые дни на работе я и виду не подавала, но зато дома – в лёжку. Я снова сплю с Питом, когда он прилетает. Уж две недели. Поверь, что если бы я надеялась на ... У меня с ним не так, как раньше, и не так, как с тобой, ревновать нечего. Просто он такой понятный. Может быть, мы поженимся. Кошмар. Мне всё-таки хочется, чтобы мы писали друг другу письма. Я ничего не забыла. Пока. Алисон.

Николас некоторое время лежит ничком на тахте, потом встаёт, берёт со стены ружьё и выходит из комнаты.

Николас на пляже. Здесь старинная статуя Посейдона, развалины старинной часовни, канализационный люк на холмике, на столбике надпись: «Salle d Atente» (зал ожидания).

Николас держит ружьё. Приставляет ствол к глазу, потом ко рту. Старается поудобнее спустить курок. Мощный гудок парохода. Николас от неожиданности отбрасывает ружьё. Потом берет его снова. Долго разглядывает его. Наконец поднимает его к плечу и стреляет в небо. Падает навзничь и лежит некоторое время. Подходит Кончис в элегантном светлом костюме.

Кончис: Подстрелили кого-то?

Николас (поднимает голову): Нет. Промазал. Была всего одна попытка.

Яркий свет на табличку «Зал ожидания».

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

1-я картина

Веранда в доме Кончиса, расположенного на берегу моря. Мария сервирует стол для чая. В плетеных креслах Кончис и Николас. В интерьере работы старых и современных мастеров: Роден, Майоль, Шагал, Модильяни и т.д. На стене большой портрет Лилии по моде 1914 года. Николас встаёт и подходит к отдельным работам, разглядывая их.

Кончис: Это Роден. Заготовка. А это «Моя мать».

Николас: Ваша?

Кончис: Это его мать. Я имею в виду Модильяни.

Николас: Вы знали его?

Кончис: Моди? Встречались много раз. С его другом Морисом Жакобом мы были знакомы гораздо лучше. Жить Моди оставалось недолго. Он только-только выбрался из безвестности. А эту работу можно не представлять. Я бывал несколько раз в гостях у Марка Захаровича. (Пауза.) Хорошо я устроился?

Николас (сидится в кресло): Прекрасно. Я хочу спросить...

Кончис (не разрешая спросить, представляет Марию): Моя прислуга Мария. А Вы новый учитель Николас Эрфе. Вы со мной, кажется, хотели познакомиться? Вот и познакомились. Морис Кончис.

Николас: Вы один здесь живете?

Кончис (недобро, с высокомерием): Для кого и один.

Николас: А что это за табличка у ворот: «Зал ожидания»?

Кончис: Её повесили немецкие солдаты.

Николас: Но почему эту? Да ещё на французском языке?

Кончис: Кажется, их перевели сюда из Франции. Они здесь скучали. От немцев я не ожидал такого юмора.

Николас: Вы хорошо знаете Германию?

Кончис: Германию нельзя знать хорошо. Можно только мириться с её существованием.

Николас: И каким же ветром вас занесло сюда, господин Кончис?

Кончис: Не обидитесь, если я попрошу вас не задавать никаких вопросов?

Николас: Конечно, нет.

Молчание.

Кончис: Вы призваны?

Николас: Призван?

Кончис: Чувствуете ли вы, что избраны кем-то?

Николас: Избран?

Кончис: Некоторые считают, что избраны Богом.

Николас: Я не верю в Бога и ничего не чувствую.

Кончис: Вас ещё выберут.

Николас: Спасибо.

Кончис: Это не комплимент. Нас призывает случай. Мы не способны призвать самих себя к чему бы то ни было.

Николас: А кто избирает?

Кончис: Случай многолик. У меня к вам просьба. Никому в деревне не говорите, что познакомились со мной. Это связано с тем, что случилось во время войны.

Николас: Я слышал об этом краем уха.

Кончис: Что вы слышали? У этой истории два варианта... Оставим это. С деревенскими я не вижу.

Николас: Хорошо. *(Встаёт и подходит к одному из подиумов.)*

Кончис: Джакометти. Этакий сюр. А клавикорды XVIII века. Плейель.

Николас: Вы играете?

Кончис: Как вам сказать?

Николас *(перед фотографией Лилии):* А это кто?

Кончис: Она была моей невестой.

Николас: Почему вы не поженились?

Кончис: Она умерла.

Николас: Похожа на англичанку.

Кончис: Она и есть англичанка.

Николас: А вы какое имя носили в Англии, господин Кончис?

Кончис: Не помню.

Николас: Извините.

Кончис: А вы? У вас есть невеста? Конечно же, симпатичный молодой человек в расцвете сил...

Николас: Была... Можно я попрошу вас о том же. Не задавать мне вопросов. Во всяком случае на эту тему.

Кончис: Хорошо.

Раздаётся странный жутковатый крик. Николас вздрагивает.

Кончис: Не бойтесь. Это сплюшка. Моя подружка. Птичка такая маленькая. Сантиметров двадцать.

Николас: У вас много книг о птицах.

Кончис: Интересуюсь орнитологией.

Николас: А медициной?

Кончис: Изучал. И не только её... Я духовидец.

Николас: Спиритизм. Стол крутите?

Кончис: Инфантилизм.

Николас: С моей стороны?

Кончис: Естественно.

Николаc: Перевоплощение?

Кончис: Ерунда.

Николаc (*пожимает плечами*): В таком случае...

Кончис: Человеку не дано раздвинуть рамки собственной жизни. Так что остаётся единственный способ побывать в иных эрах.

За сценой раздаётся весёлый женский смех. Николаc вопроcительнo смотрит на Кончиса. Тот никак не реагирует на смех.

Николаc: На сумасшедшего вы не похожи. Вы... Вы летаете на другие планеты?

Кончис: Да.

Николаc: Физически?

Кончис: Я отвечу, если вы объясните мне, где кончается физическое и начинается духовное. Не всё можно объяснить словами.

Николаc: Извините, я никогда не общался с духами. Я вообще-то атеист.

Кончис: Разумный человек может быть атеистом и дрожать за собственную шкуру. Это необходимая черта развитого интеллекта. Но я говорю не о Боге, я говорю о науке. Хорошо. Лично вы духовидцем себя не считаете.

Николаc: Не считаю. А вам теперь ничего не остаётся, как рассказать о себе. Вы обещали.

Во время рассказа Кончиса на экране идут любые кинокадры хроники 1-й мировой войны.

Кончис: Мой отец был англичанин, а в матери достаточно большая доля греческой крови. Она очень хорошо пела, и в первый период моей жизни музыка была для меня главным. Я был вундеркиндом. У меня был прекрасный преподаватель, и у меня выработалась особая манера с форсированным темпом, с мастеровитым, экспрессивным рубато. В 15 лет учитель перегрузил меня, и у меня случился нервный срыв. Пришлось увлечься птичками. Я хотел стать гением,

но в 16 лет понял, что гением не стану. И тут я влюбился. В Лилию. Мы жили рядом. Собирались пожениться, но как-то всё это было по-детски. Телесное желание меня охватило потом. Днём и вечером Национальная галерея, Тауэр, Шаляпин в «Князе Игоре», а ночью она мысленно приходила ко мне в образе маленькой шляпки.

В этот момент в комнату закатывается огромный резиновый цветной пляжный мяч. Мария сразу же убирает его.

Николаc: А вы говорили, что живёте один.

Кончис: Я говорил, что хочу произвести такое впечатление в деревне... Война... Я считаю всё это массовым идиотизмом. Но мне показалось, что Лилия презирает меня за это. Я пошёл добровольцем. Уже назавтра я понял, что разобщает не война. Она, наоборот, как известно, сплачивает. На поле боя совсем иное дело. Каждый существует сам по себе. Появляется твой истинный враг – смерть. Кровь, зияющие раны, зловоние вывернутых кишок. Многих охватывает безумная жажда жизни. У меня случилось наоборот. Я безумно захотел выжить.

Кончис встаёт и достаёт из шкафа небольшую шкатулку. Открывает её.

Николаc: Что это за зубы?

Кончис: Их вставляли разведчикам, как нашим, так и немецким, на случай провала. (*Кладет зуб на блюдце и давит его.*) Чувствуете запах миндаля? Я предлагаю вам пережить войну за один миг.

Николаc: Русская рулетка?

Кончис: Даже легче. Эти зубки убивают за несколько секунд.

Николаc: Конечно, мой труп не доставит вам лишних хлопот.

Кончис: Абсолютно. Самоубийство. Вот кубик. Если выпадет «шестерка», то...

Николаc: Я не хочу.

Кончис: Значит, вы трус, мой дорогой.

Николаc: Уговорили.

Кончис: Я на «фу-фу» не играю. Поклонитесь, что, если выпадет «шестерка», разгрызете зуб.

Николаc: Клянусь.

Кончис протягивает стакан с кубком.

Николаc (*трясёт стакан*): Шестёрка.

Пауза.

Николаc (*улыбается и трясёт головой*): Нет.

Кончис (*берет стакан и встряхивает его*): Снова шестёрка. (*Берет зуб, кладет его в рот и давит на оболочку. Вылевывает.*) Поздравляю. Вы приняли точно такое же решение, что и я сорок лет назад. Так поступил бы всякий разумный человек. На сегодня хватит. Я предлагаю сегодня переночевать у меня, если вам не стыдно ночевать у предателя.

Николаc: Род человеческий вы не предали.

Кончис: Главное – не изменить самому себе.

Николаc: Гитлер себе тоже не изменял.

Кончис: Да. Но миллионы немцев изменили себе. Трагедия не в том, что одиночка стал проводником зла, а в том, что миллионы не осмелились принять сторону добра... Всё. Пойдемте. Я провожу вас в вашу комнату.

2-я картина

Комнатка в доме Кончиса, где ночует Николаc. Он ворочается на постели, не в силах заснуть. Откуда-то возникают звуки патефона («Домовой» или румба «Инес»).

Николаc: Жуткий запахина. Гниёт у него что-то где-то. Да ещё эта дурацкая музыка. Лучше бы сам хозяин что-нибудь сыграл. (*Встаёт, идёт к двери. Музыка замолкает. Снова ложится. Музыка вновь звучит*). Странно. (*Вновь идёт к двери. Музыка вновь замолкает.*

Ложится. Снова музыка.) Ну и бог с ней. Музыка как музыка. Хотя иголку не мешало бы сменить. (*Засыпает.*)

Оживает экран. На нём человек в чёрном, одетый по английской моде XVIII века. Рядом с ним девочка лет 14. Они стоят неподвижно. Потом, раздвинув экран, становятся перед ним.

Николаc: (*просыпается*) Добрый вечер. А что вы здесь делаете? (*Парочка уходит за экран*). Попал я, кажется.

На экране девушка с зонтиком, одетая по моде 1914 года.

3-я картина

Та же веранда. Кончис в своём кресле. Мария сервирует стол. Входит Николаc.

Кончис: Как спалось?

Николаc: Этот патефон...

Кончис: У меня нет патефона. А я прекрасно спал. Выпейте рюмочку бренди и расскажите о своей девушке.

Николаc: Не надо... Ничего особенного... Да и я не хочу.

Кончис: Что так?

Николаc: Кажется, я подхватил сифилис в Афинах.

Кончис: У врача были?

Николаc: Да.

Кончис: Расскажите о симптомах.

Николаc тихо рассказывает. Кончис внимательно слушает.

Кончис: Я вас успокою. Это не сифилис. Мягкий шанкр. Всё скоро пройдёт. А девушке напишите.

Николаc: Я писал. Не отвечает.

Кончис: Напишите снова. Вы всё бросили на волю случая... А я тогда в апреле 1915 года до Англии добирался без приключений. Врал напрапоую. Всем. Лилия уступила мне... И призналась, что хочет за меня выйти. Я просил её чуть-чуть подождать. Я ведь наплёл ей, что у меня побывка. Напялил снова форму и уехал скрываться. Долго не проскрывался. Я мучительно хотел её увидеть и снова приехал в Лондон. Мы с ней говорили на разных языках. Она уговаривала меня вернуться в полк. Я был на другом полюсе. У меня уже не было долга. Я был свободен и собирался уцелеть любой ценой. Остались сумерки. Наши и чужие бледные лица. Запах сирени. Дальше – бездонная тьма. Я уехал.

Николас: Вы с ней встретились потом?

Кончис: Она умерла. Заразилась в госпитале брюшным тифом. Я уехал, а она пошла служить в госпиталь... Этот запах сирени.

Николас: Поэтому вы не женаты?

Кончис: Мертвые живы.

Николас: Каким образом?

Кончис: Мёртвые живут любовью.

В дверях появляется девушка в костюме 1914 года с патефоном. Её видит только Николас. Девушка прикладывает палец к губам и исчезает.

Кончис: После войны я не смог жить в Лондоне и переехал в Париж. Я иногда играл на этих самых клавикордах. Хотя уже не так, как хотелось бы. И вот однажды заходит ко мне с улицы некий господин и начинает хвалить мою игру. Оказалось, что это граф Альфонс де Дюкан. Он пригласил меня в гости, сказав, что за мной приедут. Через несколько часов я оказался в замке Живре-ле-Дюк. Какой там был парк! Множество всяких выгородок: античный храм, ротонда, английский сад. А в замке: севрский фарфор, руанский фаянс. Арсенал старинного оружия, богатейшая библиотека. А в потайной галерее главным экспонатом была Мирабель, нагая женщина с кожей из крашеного шёлка. Когда её заводили, она валилась на кровать и поднимала ноги. Де Дюкан ценил её за устройство, которое предохра-

няло хозяина от рогов. Если не нажмешь рычажок на затылке дамы, то эта красавица вонзит тебе прямо в пах стилет... Де Дюкан был женоненавистником. Нет, он не был голубым. Просто ненавидел их.

Раздаётся звук некоего странного рожка.

Николас: Что это?

Кончис: Рог Аполлона. Мы же с вами в Древней Греции. А она жива вечно.

На экране обнажённая нимфа убегает от козлоногого сатира с огромным накладным фаллосом. Следующий кадр: богиня Диана из лука поражает сатира стрелой. После этого все трое, вскинув в приветствии ладонью назад руку, прощаются со зрителями.

Кончис (продолжает): Он был самый необычный человек, которого я знал. Совершенно лишённый чувства долга перед обществом. Я не мог его осуждать, хотя он и поставил под сомнение моё восприятие мира. Я сознавал издержки такого образа жизни, но не мог отказать ему в обаянии. Почему такое наслаждение жизнью можно воспринимать как зло? Потому что люди где-то голодают? Я начал сомневаться в его эгоизме. Его безразличие ко всему – поза, и поза эта – невинна. А может, он пришелец из более совершенного мира? Кажется, мы с вами не верим в богов. Но они наказали гордеца. В один прекрасный день замок вспыхнул как свечка. Де Дюкан приехал, посмотрел на пожарище и уехал в Париж, чтобы заснуть навсегда. Двадцать таблеток веронала. Я был тогда в Италии. Приезжаю в Париж и узнаю всё от его адвоката. Оказывается, де Дюкан оставил мне изрядное состояние. И всё потому, что я когда-то играл на клавикордах у раскрытого окна.

В дверях снова появляется девушка. На сей раз Кончис видит её, целует ей руку.

Кончис: Позволь представить тебе господина Николаса Эрфе. Мисс Монтгомери. Лилия, это молодой учитель, о котором я тебе говорил.

Лилия: Мы уже видели друг друга.

Кончис: Кажется, я утомил вас, но если вам интересно, что было дальше, заходите через неделю.

Николас: Если мисс Монтгомери не будет утомительно с нами...

Лилия: Нет. Я люблю слушать Мориса.

Кончис: Лилия всегда делает так, как удобно мне.

Николас: Вам везёт.

Кончис: Она не настоящая Лилия.

Николас: Ну да... естественно.

Кончис: Но и не играет роль Лилии.

Николас: Господин Кончис, я не понимаю ваших иносказаний.

Кончис: Не делайте поспешных выводов. И как договорились. До свидания.

Николас: До свидания.

Перед выходом молча появляются высокий чёрный господин в маске шакала и девушка-нимфа. Николас проходит мимо них.

4-я картина

Пляж. Лилия в новом старинном костюме по моде 1914 года. Появляется Николас. Откровенно любитесь Лилией.

Лилия: Вам что, Нептун язык откусил?

Николас: Вы сногшибательны. Как ренуаровская дама. В жизни не видел призрака симпатичнее. Вы давно здесь?

Лилия: Я нигде долго не задерживаюсь... По-моему, Морис просил вас не задавать никаких вопросов. Это относится и ко мне.

Николас: Да ладно вам. Сейчас-то его нет.

Лилия: И поэтому можно грубить?

Николас: Просто познакомиться поближе.

Лилия: Может, тут и не все так уж... жаждут познакомиться.

Николас: Будьте добры. Хотя бы скажите, где вы живете?

Лилия (*показывает зонтиком куда-то вверх*): Вон там.

Николас: Но там небо, море. На яхте?

Лилия: На берегу.

Николас: Ни разу не видел ваш дом.

Лилия: Я знаю, что вы не умеете видеть как следует.

Николас: И долго вы меня собираетесь мучить?

Лилия: Возможно, вы сами себя мучаете?

Николас: Ненавижу мучения.

Лилия: В таком разе я вас помучаю. Нравится вам Морис?

Николас: Я его всего-то три раза видел.

Лилия: А мы все его очень любим.

Николас: Кто это мы?

Лилия: Я и другие посетители.

Николас: Призраки?

Лилия: Морис не любит эти слова.

Николас: А слово «актер»?

Лилия: Все мы актеры. Вы не исключение.

Николас: Я хочу спросить, а остальные девушки, кто они такие?

Лилия: Остальных девушек нет.

Николас: Ладно вам. Я тоже люблю розыгрыши.

Лилия: Тогда не надо портить игру.

Николас: Я понял, что участвую в этом маскараде, чтобы ублажить старика. Если я должен вам помогать, растолкуйте, во имя чего.

Лилия: Давайте лучше я вам погадаю. (*Николас протягивает ладонь.*)

Вы проживёте долго, и у вас будет двое детей. В сорок лет едва не погибнете. Разум в вас пересиливает чувства и обманывает их. Ваша жизнь состоит... по-моему, из сплошных измен. То самому себе, то тем, кто вас любит. Остерегайтесь обильной выпивки, старушек и чёрных собак.

Николаас: Одну я уже видел. Хотя, кажется, это был шакал... Теперь моя очередь. Дайте вашу руку.

Лилия: Не дайте, а разрешите. (*Подает ладонь.*)

Николаас: Я вижу только одно.

Лилия: Что?

Николаас: Что вы гораздо умнее, чем хотите казаться.

Лилия: Когда я умру?

Николаас: Это не по роли. Ведь вы уже умерли.

Лилия: А вдруг у меня нет выбора? (*Пауза.*) Всё, что мы говорим, он слышит.

Николаас: Вы всё ему должны передавать?

Лилия: Да, очевидно телепатически и...

Николаас: И?

Лилия: Не могу сказать.

Николаас: Вы его любовница?

Лилия смотрит на него с презрением.

Николаас: Я просто хочу понять, что тут в действительности происходит.

Лилия: Зачем вам это понимать! Вы когда-нибудь слышали такое слово «воображение»... Я не любовница ему.

Николаас: И никому, надеюсь?

Лилия: Весьма наглое замечание. Извините, я уйду на минутку за шалью и вернусь. (*Уходит.*)

Появляется Кончис с мощным биноклем и кинокамерой.

Кончис: Как вам Лилия?

Николаас: Как вам будет угодно.

Кончис: Ну что уж так-то. Ведите себя с ней как с больной амнезией.

Николаас: К сожалению, я не общался с такими больными.

Кончис: Она живет сегодняшним днем и не помнит о прошлом. Его у неё нет. И, если вы будете расспрашивать её о прошлом, она только расстроится и не будет с вами встречаться... Вам принесли из деревни радиограмму. Вот она. Голос Алисон. Вернусь пятницу Афины. Останусь на три дня. Шесть вечера. Пожалуйста, встречай. Алисон.

На экране Алисон в форме стюардессы.

Кончис: Лилию следует развлекать. Ей это необходимо. Но не расстраивать.

Николаас: Надеюсь, этим и занимается её сестра.

Кончис: У Лилии нет сестры. У неё просто раздвоение личности. Мне казалось, что вы обо всём догадались. Ряд обстоятельств помимо почти что родительских чувств налагают на меня серьёзную ответственность за судьбу Лилии. Я думал, что вы всё поняли.

Николаас: Ещё как понял! Вы хотите сказать, что она сумасшедшая.

Кончис: Такого термина в медицине нет. Она страдает шизофренией.

Николаас: И воображает себя вашей невестой.

Кончис: Эту роль навязал ей я. Осторожно внушил. Вреда от этого никакого. А играет она с наслаждением. Другие личины Лилии не столь безобидны. Я это говорю с полным сознанием.

Николаас: И всё-таки... Нимфа – это сестра Лилии?

Кончис: Хорошо. Может, это пойдет на пользу всем. Никому не рассказывайте то, что сейчас узнаете. Настоящее имя Лилии – Жюли Холмс. Уникальность её болезни заключается в том, что у неё есть сестра-двойняшка. То есть идеальный контрольный аналог. Вечные

споры между психиатрами и невропатологами: вызывается ли шизофрения физическими и наследственными или духовными отклонениями. Существование Жюли и сестры явно подтверждает второе. Жюли как неординарной пациентке грозила участь циркового уroda ... Теперь вы знаете если не слишком, то всё равно достаточно много.

Николаc: А если она сбежит?

Кончис: Не сбежит. Санитар с неё не спускает глаз.

Николаc: Санитар?

Кончис: Да. Он очень скрытный. Но вы с ним познакомитесь обязательно.

Николаc: А почему вы их держите на яхте?

Кончис: На яхте?

Николаc: Я думал, что они живут на яхте.

Кончис: Нет.

Николаc: Она каждое лето сюда приезжает?

Кончис: Да. Она возвращается, и я вас покидаю.

Кончис уходит. Появляется Жюли.

Николаc: Я хочу предложить вам встретиться где-нибудь в ином месте. Нейтральном.

Жюли: В следующие выходные. Слабо?

Николаc: Идет.

Жюли: А я думала ...

Николаc: Что?

Жюли: Что вам надо в Афины.

Николаc (после некоторого молчания): Не поеду я. Между нами всё кончено.

Жюли: Вы ... жили друг с другом ... как муж с женой?

Николаc: Несколько недель. Да у неё кроме меня было мужчин десять. Не меньше.

Жюли: А может, единственное светлое пятно для неё – это вы?

Николаc: За нами наблюдают?

Жюли: Тут за всем наблюдают. Нужно забытьcя и не высовываться, пока тебя не нашли. Таковы правила.

Николаc: Вы не Лилия Монтгомери. Скорее вы её дочь. Да?

Жюли: Да.

Николаc: Как и ваша сестра?

Жюли: У меня нет сестры.

Николаc: Ну, хорошо. У Кончиса свой спектакль, но нам-то с вами зачем обманывать друг друга и кого-то изображать?

Жюли плачет. Николаc предлагает ей сигарету. Она закуривает.

Николаc: Я не еду завтра в Афины.

Голос Алисон: Пожалуйста ... Пожалуйста.

5-я картина

Крохотная комната в туристической хижине на Парнасе.

Входят Николаc и Алисон.

Алисон: Это только ты мог такое придумать. Загащить меня на Парнасе. Обидно, что все ноги в кровь стерла из-за этих кедров. Но всё равно. Это первый чистый момент за несколько месяцев. Этот день. И всё. И ты.

Николаc: Прямо-таки. Я-то как раз лишнее. Ложка дёгтя.

Алисон: Я не хотела бы, чтобы рядом был кто-то другой. А ты?

Николас: Не знаю, какая девица могла бы так высоко забраться. На Парнас.

Алисон: Умеешь ты уходить от ответа.

Николас: Я рад, что мы здесь. Ты молоток, Келли.

Алисон: А ты ублюдок, Эрфе.

Николас: Какой уж есть. Я за водой схожу, а ты полежи на тахте. Ногам легче будет.

Николас уходит. Алисон снимает кеды, ложится. Через несколько секунд встаёт и начинает наводить порядок: затапливает очаг, достаёт закуски, ищет посуду и т.д. Входит Николас с ведром.

Николас: Келли, тебе было сказано лежать.

Алисон: А я захотела проявить свою женскую сущность. (*Наливает воду в котелок, крошит туда шоколад и ставит на очаг.*) Потерпевшие кораблекрушение. Романтика! Кажется, это изумительное консьоме по-королевски поспело.

Алисон, чуть прихрамывая, но тем не менее походкой стюардессы и с улыбкой стюардессы наливает бокал и подносит его Николасу.

Алисон: Не выпьете ли для аппетита, сэръ?

Николас: Опять из супермаркета?

Алисон: Нет, каков подонок. (Пьют).

Алисон идет к тахте, раздевается, заворачивается в одеяло как в саронг и снова подсаживается к Николасу.

Николас: Элли, я тебе говорил, что тут у меня кое-что приключилось и я уже не тот.

Алисон: Да и я не та. С Питом я завязала. Николас, тебе уже можно. Можно.

Затемнение.

Утро. Николас и Алисон лежат на тахте.

Алисон: Остаться бы тут насовсем.

Николас: Мне надо вернуть машину.

Алисон: Скажи: «Мне этого хотелось».

Николас: Мне этого хотелось.

Алисон: Скажи: «Я люблю тебя ещё немножко».

Николас: Я люблю тебя ещё немножко.

Алисон (*щиплет его*): Нет, множко, множко! И теперь я буду вести себя хорошо и не пойду больше к этим мерзким тёткам.

Николас: Не пойду.

Алисон: Глупо за это платить, если всё это у тебя есть задаром. Плюс любовь.

Николас: Знаю. (*Отворачивается и вздыхает.*)

Алисон: Что-то не так?

Николас: Всё так. Теряюсь в догадках, что заставляет тебя, прелестное дитя, вздыхать по такому дерьму, как я.

Алисон: Ну и теряйся.

Николас: У тебя теперь такая интересная работа. Расскажи.

Алисон: Господи, что там интересного. Через пару рейсов всякий интерес пропадает. Мелькают новые места, люди. Новые подходы смазливых лётчиков. Большинство из них считают, что мы входим в набор пилотских привилегий. Только и ждём, когда они осчастливят нас своими ветеранскими дрынами. А самолёт... Жестянка фигова. Иногда хочется открыть аварийный люк – и... Прощай, мама. Это у нас называется «кризис обаяния».

*Николас встаёт и растапливает очаг.
Подходит к Алисон и целует ей пятки.*

Николас: Если целовать-целовать твои мозоли, то они скоро пройдут.

Алисон: Ты лучше дорасскажи всё про себя. Ну ладно, от мужика этого исходит сверхъестественная сила. А девушка?

Николаас: Не бери в кудри. Она просто часть всего этого.

Алисон: Она красивая?

Николаас: Да. Она не похожа на тебя. Она вообще не похожа на современную девушку.

Алисон молча начинает одеваться.

Николаас: Послушай, я впервые за всю свою гнусную жизнь пытаюсь быть честным. (*Молчание.*) Познакомься я с ней завтра, я бы сказал ей: «Иди гуляй, я люблю Алисон, и Алисон любит меня», но я встретил её две недели назад и увижу завтра. Когда я ехал сюда, то чувствовал, что не надо мне это делать и нежных чувств к тебе я не испытываю... Рассказал всё, а мог бы не рассказывать, а продолжал бы водить тебя за нос.

Алисон: Нежные чувства! Господи, ты не только любить боишься.

Николаас: Я не знаю, что обозначает слово «любовь».

Алисон: Так я тебе объясню. Любовь – это когда делаешь вид, что отправляешься на службу, а сама несешься на вокзал. Поцеловать... Да всё что угодно – напоследок. Меня бы в то утро ничто не смогло бы рассмешить. А ты покупал журналы в дорогу – и смеялся. Тогда я поняла, что значит любить: видеть, как тот, без кого ты жить не можешь, с прибаутками от тебя сваливает.

Николаас: Прости, что не угодил.

Алисон: Теперь он обиделся, кретин. Я же имею в виду, что любила тебя за то, что ты это ты, а не за размеры твоего члена.

Пауза.

Алисон: Похоже, ты настолько туп, что даже не понимаешь, что совсем не любишь меня. Ты так устроился, что тебе всё нипочём. Познакомился на острове с девицей и хочешь её трахнуть. Вот и всё.

Николаас: Элли, эта история – всё равно что книга, которую дочитал до середины. Не выбрасывать же её в урну.

Алисон: Лучше меня выбросить.

Николаас (*подходит к ней и пытается обнять*): Элли.

Алисон: Пошёл ты на... (*Молчание.*) Ты всё время о той с острова. Вот что я тебе скажу. Возможно на прощанье. У меня кое-что отложено. Да и ты не нищий. Скажи мне слово, и я брошу всё и куплю домик на Фракосе. Ты это выдержишь, подонок? Выдержишь эту тяжёлую ношу – жить с той, которая тебя любит?

Николаас: Или?

Алисон: Или откажешься?

Николаас: Это что? Ультиматум?

Алисон: Да или нет? (*Молчание.*) Да или нет?

Николаас: Нет.

Алисон пытается выбежать из хижины.

Николаас её удерживает.

Алисон: Пусти.

Николаас: Ради Бога...

Алисон: Ты в него не веришь... Ненавижу! (*Пытается вырваться.*)

Николаас: Едем. Я довезу тебя до отеля.

Алисон: Ненавижу! Дерьмо! Больше мы с тобой никогда в жизни не увидимся! Никогда! Ненавижу!

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ

1-я картина

Тот же пляж. Навстречу друг другу идут Николас и Кончис.

Кончис: Как отдохнули?

Николас: Так себе.

Кончис: В Афины ездили?

Николас (*после небольшой паузы*): Моя подруга не смогла прилететь. Её перевели на другой рейс.

Кончис (*несколько иронично*): О, простите. Я и не знал. Честно говоря, я надеялся вас перехватить. Кое-кто ждёт вас на чай.

Николас: И как прикажете мне себя вести?

Кончис: Больная злится, что я узнал вашу с ней маленькую тайну.

Николас: Какую ещё тайну?

Кончис: Гипнотерапия входит в курс её лечения, Николас.

Николас: С её согласия?

Кончис: С согласия её родителей.

Николас: Вот как.

Кончис: Я знаю, что в настоящий момент она выдаёт себя за актрису. Думаете почему? Чтобы угодить вам. Вы обвинили её в лицедействе, и она с готовностью подтверждает ваше обвинение.

Николас: Теперь она не поверит ни одному моему слову.

Кончис: Она и не верила. Вы же согласились помочь мне. А следовательно, должны соглашаться с любым её наветом в мой адрес. Разблачайте меня как обманщика. Но будьте настороже. Она может заманить вас в ловушку. Не забывайте, что личность её расщеплена. Она попытается переманить вас на свою сторону и сделать союзником против меня.

Николас: Но если она никакая не Лилия...

Кончис: Это пройденный этап. Теперь я миллионер-сумасброд, а

они с сестрой начинающие актрисы, которых я заполучил с целями, далёкими от благих. Скажем, для плотских утех. Придумает что-нибудь... Только не надо её спасать, вызволять и т.д. В тот миг, когда она замрёт и скажет: «Это не реальность. Тут всё перевернуто с ног на голову», – это и будет первым шагом к её выздоровлению.

Николас: Велики ли шансы на это?

Кончис: Нет. Но не равны нулю. Многое зависит от вас. Она вам не доверяет, но вы ей симпатичны.

Николас: Буду стараться.

Кончис: Я очень на вас надеюсь. (*Уходит.*)

Николас некоторое время остаётся один. Потом появляется Жюли. Она в блузке с короткими рукавами, мини-юбке, с распущенными волосами. Николас её не видит. Жюли останавливается и не произносит ни слова. Николас оборачивается.

Николас: Она вам к лицу. Современная одежда. (*Молчание.*) Жюли, может, вы объясните, в чём дело?

Жюли: Ни в чём.

Николас: Я вас не выдавал. Пусть он болтает, что хочет. Что подельвали?

Жюли: Ходили на яхте. Развеемся.

Николас: Я очень тосковал.

Жюли: Лилия, очевидно, померла... Что-то вы не слишком удивляетесь.

Николас: А меня здесь уже ничего не удивляет. И как называется ваша новая роль?

Молчание.

Жюли: Хорошо вам было в Афинах?

Николас: Нет. И подружки моей я не встретил.

Жюли: А Морис сказал, что вы встретились.

Николаас: Он ничего об этом не знал ещё пять минут назад. Сам у меня спрашивал.

Жюли: А почему не встретились?

Николаас: Я уже говорил, что между нами всё кончено, и впереди у меня была встреча с вами. Почему мы разговариваем как чужие?

Жюли: Мы и есть чужие.

Николаас: Почему вы не ответили мне, как называется ваша новая роль?

Жюли: Потому что ответ вам известен.

Николаас: Я не верю, что у вас хрестоматийный случай шизофрении.

Жюли: Я вас ни в чём не виню... Если он мне лгал о вас столько... То обо мне-то... я представляю... По-моему, вам хочется меня поцеловать.

Николаас: А что в этом плохого?

Жюли: И лечь со мной в постель.

Николаас: Если получу ваше согласие.

Жюли: А если не получите?

Николаас: Неуместный вопрос.

Жюли: Так, может, и попробовать не стоит?

Николаас: Так что же он наговорил?

Жюли: Не пойму, чему верить, а чему нет.

Николаас: Верить собственному сердцу.

Жюли: Как красиво. Он сказал, что вы шлялись по девкам, подцепили заразу и целоваться с вами не стоит.

Николаас: Значит, вы ему поверили?

Жюли: Я не сказала этого.

Николаас: А ведете себя так, как будто поверили.

Жюли: Как мне себя вести, если я не понимаю, во имя чего он кормит и кормит меня своими небылицами.

Николаас: И мы по-прежнему считаем его добрым человеком?

Жюли: Да. Несмотря ни на что.

Николаас: А мой дух благодаря ему сподобился звёздного перелёта.

Жюли: Да. Он рассказывал.

Николаас: Жюли, Холмс – это очередная роль?

Жюли: Показать паспорт? Извините, сейчас нет с собой. В следующий раз.

Николаас: Но, по крайней мере, психиатр он всё-таки или нет?

Жюли: Недавно выяснилось, что да. Он то и дело говорит о моделируемых ситуациях. О формах поведения людей, которые сталкиваются с непостижимым. Он говорит, что неведомое есть важнейший побудительный мотив духовного развития. Мы не знаем, для чего родились... Я ведь с перепугу вызубрила все подробности своей болезни... Зачем? Он говорит, что если он сообщит нам конечную цель, мы будем вести себя иначе.

Николаас: Ясно только одно, что вы такая же шизофреничка, как я сифилитик... Я чуть не спятил без вас.

Жюли: А я... Вот сейчас вы не пришли бы – я умерла.

Николаас: Давай встретимся вечером здесь у статуи.

Жюли: Здесь больше чужих глаз, чем вы думаете.

Николаас: И пусть. В полночь. У статуи.

Жюли: Попробуем.

Николаас: Жюли, вы упоминали, что учились в Кембридже. Как это вы там не ухитрились выскочить замуж?

Жюли: Чуть не выскочила.

Николаас: Я почти не знаю ничего о вашей настоящей жизни.

Жюли: Ничего интересного. Мама живет в Дорсете, а отец умер. Он был...

*В этот момент за спиной Николаса появляется Кончис с топором.
Примеривает его по руке.*

Жюли: Морис! В этом нет ничего остроумного. Ты напугал меня. У тебя совсем нет совести.

Кончис: Марии нечем топить плиту, а я увидел здесь сухую сосну.

Жюли (*кричит*): Ненавижу! Ненавижу!

Кончис: Ты возбуждена. Пойди к себе. Остынь.

Жюли (*кричит*): Нет. Ты же знаешь, что я не могу сейчас туда пойти... Ненавижу!

2-я картина

Там же. Полночь. Девушка с распущенными волосами в блузке, мини-юбке. Появляется Николас. Девушка заключает его в свои объятия. Длительные поцелуи. Наконец Николас высвобождается из объятий и зажигает спичку.

Николас: Чёрт побери!

Джун: Николас...

Николас: Тут верно ошибка. Николас – это мой брат-близнец.

Джун: Я еле дождалась до полуночи.

Николас: Где она?

Джун: Кто она?

Николас: Вы забыли прихватить свой шрам на запястье.

Джун: Значит, вы уже догадались, что он накладной.

Николас: И свой голос.

Джун: Сырость виновата. (*Откашливается.*)

Николас: А может, хватит? Где она?

Джун: Не смогла прийти.

Николас: Вы неудачно пошутили.

Джун: А по-моему, так удачно. Аж голова закружилась. Да ведь и у вас тоже.

Николас: Господи, я ведь думал, что... Вас зовут Джун?

Джун: Да. Если вас Николас.

Николас: Почему она не смогла прийти?

Джун: А Морис вам не объяснил?

Николас молчит, обдумывая своё положение.

Джун: Мы вас не виним. Жюли и не таких профессионалов обводила вокруг пальца.

Николас: С чего вы взяли, что она обвела меня вокруг пальца?

Джун: Не будете же вы так страстно целоваться с душевнобольной. Я-то знаю, как мастерски она умеет создавать впечатление, что все кругом психи, кроме неё самой. Этакая оскорбленная невинность.

Николас: Лучше изображать невинность, чем порочность, как это делаете вы.

Пауза.

Джун: Вы мне не верите?.. У нас не получалось выбраться отсюда вдвоём. И потом, я хотела убедиться...

Николас: В чём?

Джун: Что вы тот, за кого себя выдаёте. Учитель из деревни.

Николас: Я не вру.

Джун: Я начинаю понимать её... (*Сухо.*) После непосредственного контакта с вами. Можете поклясться, что вы не его помощник?

Николас: Помощник. Но только в том случае, если Жюли проходит курс лечения.

Джун: Можете поклясться, что до этого вы не были знакомы с Морисом и не заключали с ним никаких контрактов?

Николас: А вы, значит, заключали?

Джун: Да. Но там ничего такого не предусматривалось... На острове есть полицейские?

Николас: Сержант и двое рядовых. Зачем вам?

Джун: Так. Мы здесь как в тюрьме. Правда, тюрьма уютненькая.

Николас: Сообщить в полицию ничего не стоит. Было бы желание... Вы как думаете, что здесь происходит на самом деле?

Джун: Я у вас о том же хотела спросить. Он часами расспрашивает Жюли после ваших встреч. Его так и подмывает влезть в чужую школу. Выпытывает всё.

Николас: Он её гипнотизирует?

Джун: Он нас как-то вместе гипнотизировал. Но меня всего один раз. А её часто. Жюли не рассказывала вам про «Сердца трёх»?

Николас: Вроде нет.

Джун: Пусть расскажет.

Николас: Мы с вами...

Джун: Он уже от этого отказался. И поэтому мне непонятно, почему я здесь болтаюсь. Вы меня всерьез не принимайте.

Николас: Я это уже понял.

Джун (после паузы): У неё был тяжёлый роман. Недавно он кончился разрывом. Поэтому она уехала из Англии. У неё просто талант – цеплять не тех мужиков. Вас я не имею в виду, так как почти не знаю. Но её последнее достижение оптимизма не вселяет. Я хочу во что бы то ни стало её уберечь. Это её беда – всю жизнь искать поэзии, страсти, отзывчивости. (С горечью.) Мой рацион грубее. Я не жду, что у красивого мужчины и душа будет красивой.

Неожиданно появляется чёрный Джо в белом костюме.

Николас: Кто это?

Джун: Наш обожаемый надзиратель. Я пойду одна. Вы пока оставайтесь здесь, а потом пойдёте к себе.

Николас: А в шакалей маске ты гораздо красивее.

Джун: Он глухонемой и не может вам ответить.

Николас: А я думал, что чёрные евнухи умерли вместе с Оттоманской империей.

Джо молча стоит, скрестив руки на груди.

Николас (к Джун): Вам ничего не угрожает?

Джун: Нет, Я ухожу, а вы после меня. (Уходит.)

Джо подходит к Николасу и ударяет его в лицо. Николас падает.

Джо: Это тебе за евнуха. (Несколько раз пинает его.) А это за чёрного!

3-я картина

Пляж. Жюли и Джун в простеньких платьицах с короткими рукавами и глубокими вырезами на груди, в гольфах и туфлях на низком каблуке. У ног девушек плетеные корзинки. Пляж студенток Кембриджа. На протяжении всей сцены Джун искренна, проста, непосредственна и кокетлива. Жюли, наоборот, странно напряжена. Джун бежит навстречу Николасу.

Джун: Я ей сказала, что вам совершенно всё равно с кем сегодня гулять: с ней или со мной.

Николас: Очень мило с вашей стороны.

Джун: Вот он, рыцарь наш в лучистых латах.

Жюли (холодно): Привет.

Джун: Она всё знает.

Жюли: И знаю, кто во всём виноват.

Николаас: Что это за гнусный чёрный?

Джун: Морис называет его своим слугой. Его обязанность опекать нас, пока мы в укрытии. Нас от него уже воротит.

Николаас: Он правда немой?

Джун: Чёрт его знает. Мы считаем, что нет. Всё время сидит и пляшет.

Жюли: Он вряд ли соображает, какого мы пола.

Джун морщится и строит физиономию Жюли.

Николаас: Ну, тогда он ещё и слепой вдобавок ... Джун, а ведь скорее всего по плану нам с вами не полагалось знакомиться. А?

Джун: Планы нарушены, и мне полагается вкручивать вам мозги.

Жюли: После очередного моего заскока. Шиза убогая.

Джун: Мы запутались и решили стать самими собой. Посмотрим, что из этого выйдет.

Николаас: И никаких тайн?

Жюли (*холодно смотрит на Джун*): Джун.

Джун: Значит, я вам тут ни к чему.

Жюли: Но мы потеряем твоё общество. За обедом.

Джун уходит.

Жюли: Сладко было с ней целоваться?

Николаас: Я же думал, что это вы.

Жюли: Долго?

Николаас: Секунд десять.

Жюли: Врун ... Ладно. Спрашивайте что хотите (*Показывает на корзинку*.) Вот взяла кое-что из документов. Жутко тряслась, что заметят.

Николаас: Что вы изучали в Кембридже?

Жюли: Классическую филологию.

Николаас: А Джун?

Жюли: Иностранные языки. Мы в прошлом году кончили. Я даже год успела в школе поработать. Вот.

Показывает фотографию.

Николаас (*читает надпись*): «Любимой учительнице мисс Джулии Холмс от её «балбесок».

Жюли: А вот моя школа. А вот мой паспорт.

Николаас (*смотрит паспорт*): А почему нет прошлогодней визы в Грецию?

Жюли: Потому что я не была в прошлом году в Греции.

Николаас: Да?

Жюли: Да. Мы с Джун работали недолго в Лондонской любительской труппе «Трависток». Режиссер дал мне и Джун роль Лисистраты. Тут мы и начали получать букеты неизвестно от кого. Конечно же, это оказался Морис. Он нас очаровал. Наобещал. И предложил сниматься в кино. Пожалуйста. Из «Ирвинг стандарт».

Николаас (*читает*): «Везучие близняшки Джун и Жюли Холмс заняты в главных ролях в фильме студии «Полим». Окончили Кембридж. Болтают на 8 языках. К огорчению холостяков: замуж не собираются».

Жюли: Он показывал экспонаты декораций, познакомил с членами съёмочной группы, с актёром-греком, который будет играть поэта. Было чудное путешествие на яхте. Незабываемые вечера. А здесь мы вдруг превратились в его собственность. Никаких юпитеров, никакой подсветки. Одна кинокамера, да и та любительская. А как Джун надумала сходить в деревню, дорогу ей заступил этот чёрный.

Николаас: А сценарий вы читали?

Жюли: Какое там. Вскоре Морис раскололся. Умолял выслушать. Сознался, что с кино он нас надул, но он увлекается театром, психиатрией. Он пытается связать науку с театром и благодаря нам, актёрам, проникает в некое поле, где искусство неотделимо от науки. Единственная его страсть – открывать новое.

Николас: Мне почему-то вспоминается Станиславский.

Жюли: Да. Это парадоксальное развитие его идей. Вызываешь к жизни миры более реальные, чем мир существующий... В общем, мы поддались на эту удочку. Сценария нет. Он командует, когда нам входить и выходить. Он воспринимает нас троих как математическую формулу «икс»... Но я никак не могу примириться с Морисовой страстью подглядывать. У него мощная насадка на камере. Якобы снимать птиц.

Николас: По-моему, всё то же самое уже случилось на острове.

Жюли (*встрепенувшись*): Откуда вы можете знать? Значит, вы тут... не впервые.

Николас: Не я. Другие преподаватели английского.

Жюли (*с робкой улыбкой*): Интересно, у него неисчерпаемые записи двойняшек? (*Пауза.*) Николас, о чём ты думаешь?

Николас: О том, что ты прекрасна.

Жюли: Ты правда не встретился со своей подружкой?

Николас: А если бы встретился, ты бы ревновала?

Жюли: Да.

Николас: Значит, не встретился.

Жюли: Встретился ведь.

Николас: Честно. Она не смогла выбраться.

Раздаётся звон колокольчика.

Жюли: Это Джун. Обедать зовет. Большинство мужчин считают, что она привлекательнее меня.

Николас: Они просто остолопы.

Жюли: Просто то, чего они добиваются, от неё легче получить, чем от меня.

*В глубине сцены появляется Джо.
Останавливается, скрестив руки на груди.*

Николас: Опять этот хмырь.

Жюли: Ничего не поделаешь. Не обращай на него внимание. У нас обед.

Николас: Интересно, он один у Кончиса или нет?

Жюли: Хватает их. Пошли.

4-я картина

Тот же пляж. Николас в ожидании. Появляется Жюли.

Николас: Сбежала?

Жюли: Всё в порядке. Морис знает, где я. И не шпионит никто. Мы ему всё выложили. Да. Пока не забыла. Морис приглашает тебя. Говорит, что всё дорасскажет.

Николас: Хорошо. (*Закрывает её в объятия.*) Жюли!

Жюли: (*Отстраняет его от себя.*) Не сердись. Чёртовы сроки. В воскресенье побоялась тебе сказать. Он всё знает про нас с тобой. Я сказала ему, что в сценарии я, может быть, и не в своём уме, а в жизни здорова. Если бы ты видел его ухмылочку. Словно мы ему зачет сдали.

Николас: Какой зачет?

Жюли: Он объяснит. Мы должны следовать его указаниям. Скоро прибудет, как он говорит, «народ». Играть роли простаков.

Николас: Тебе снова придётся кого-то обольщать?

Жюли: Это первое, о чём я спросила. Не хочу. Особенно теперь.

Николаc: А про нас ты всё рассказала?

Жюли: Да.

Николаc: И он не станет...

Жюли: Побожился, что нет... *(Трется щекой о щеку Николаса.)*
Старик хочет, чтобы мы втроём жили в его деревенском доме. Как будто мы с ним не знакомы. Он желает, чтобы перед новенькими мы притворились мужем и женой.

Николаc: Я с этим не справлюсь. У меня нет такого таланта, как у тебя.

Жюли: Не остри. Он сказал, что мы можем рассматривать это как психотерапию. И добавил, что здесь присутствует новая научная дисциплина, которую нам предстоит только нащупать и назвать. Всё допытывался, почему я тебе не поверила.

Николаc: Ну и почему?

Жюли: Да потому, что некоторые чувства не подделаешь.

Николаc: Иди ко мне.

*Николаc заходит в развалины часовни. Даёт волю своим чувствам.
Объятия становятся всё откровеннее.*

Жюли: Нет. Не надо.

Николаc: Жюли.

Жюли: Пожалуйста. Не сейчас.

Николаc: Я так хочу тебя.

Жюли: Знаю.

Николаc: Ты так прекрасна.

Жюли: Здесь нельзя.

Николаc: А не здесь?

Жюли: Конечно, можно. Но не теперь. *(Вырывается и убегает.)*

Николаc какое-то время находится в развалинах часовни один. Появляется Виммель в форме немецкого полковника СС с двумя солдатами.

Николаc: А вот и народ. *(Пытается выйти из часовни.)*

Виммель: Хальт!

Солдаты направляют автоматы на Николаса.

Николаc: Когда вам надоест выламываться, будьте добры, сообщите мне, чего это мы все здесь забыли?

Виммель: Швиг!

Николаc: А режиссер где? Вы идеально подходите на эту роль.

Виммель: Гут.

Николаc: Шпрехен зи инглиш?

Виммель: Ихъ шпрехе дойч. *(Свистит.)*

Появляются ещё два солдата, волокущие израненного в кровь молодого человека со связанными руками. Поравнявшись с часовней, раненый бросает Николасу: «Предатель». Внимание всех обращено на Николаса. В этот момент молодой человек убегает. Солдаты бегут за ним.

Виммель: Нихт шиссен.

Слышны крики избиваемого партизана.

Виммель: Это... ещё... не конец.

Николаc: Чему конец? И что дальше?

Виммель свистит. Прибегают солдаты, выволакивают Николаса из часовни, связывают его и разбегаются. Николаc пытается высвободиться от пут, и это ему довольно-таки легко удаётся.

Николаc: Кажется, кто-то опять нарушил сценарий.

5-я картина

*Веранда в доме Кончиса. Мария сервирует стол.
Входит Николас.*

Николас: Здравствуйте, Мария.

Мария: Добрый день, господин Эрфе, вас просят подождать несколько минут.

Уходит и через несколько мгновений возвращается с пакетом.

Мария: Почтальон говорит, что чуть ли не бежал за вами до самого нашего дома. Вам.

Отдаёт пакет и уходит. Загорается экран. На нём коллаж из газетных вырезок: «Самоубийство стюардессы», «Несчастливая любовь», «Гибель стюардессы», «Покончила с собой» и т.д.

Голос Энн: «Самоубийство стюардессы». Стюардесса Алисон Келли была найдена мертвой в своей квартире, которую снимала вместе с подругой. Труп обнаружила подруга Энн Тейлор. Врачи констатировали смерть. «Дорогой Николас Эрфе, прилагаемые вырезки объяснят, почему я решила вам написать. Мне тяжело сообщить вам эту новость. Из Афин она вернулась совершенно подавленная, но не сказала ни слова. Так что мне неизвестно, кто из вас кого бросил. Одно время она поговаривала о самоубийстве, но нам казалось, что она шутит. Она была редкостным человеком. Неужели мог найтись мужчина, который не почувствовал её настоящую душу? Видимо, я ничего не понимаю в мужской психологии. С глубоким прискорбием Энн Тейлор».

Николас плачет.

Кончис: У вас какая-то неприятность?

Николас: Умерла Алисон, моя приятельница.

Кончис (наполняет бокал): Сочувствую вашему горю, если вы его испытываете.

Николас: Я хотел бы увидеть Жюли.

Кончис: Она вам, похоже, пообещала.

Николас: Причём её обещания убедительней ваших.

Кончис: Её обещания для вас – пустой звук.

Николас: Скажите ещё, что её зовут не Жюли Холмс.

Кончис: Её настоящее имя Лилия, и больше вы ни с ней, ни с Розой не увидите. Они уже в Афинах. А мы, все остальные, уезжаем завтра.

Николас: Я так понимаю, что Роза – это Джун.

Кончис: Давайте приступим. Сегодняшняя история потребует картинок.

Николас: А разве вчера вы мне их не показали? Эффект был ого-го.

Зажигается экран, на котором во время рассказа Кончиса идёт любая кинохроника Второй мировой войны, снятая немецкими кинооператорами.

Кончис: Во время войны я оказался здесь. Никто не думал, что придут немцы. Но они пришли. Меня пригласил к себе на беседу лейтенант Клубер, оказавшийся очаровательным молодым человеком. У него был красивый тенор, и он, подобно многим дилетантам, пел Шуберта гораздо лучше профессионалов. Наша взаимная симпатия крепла, и я осознал, что лучше меня старосты в деревне не будет. Короче говоря, я согласился. Швейцарец Антон подчёркивал, что он окончил Сорбонну по специальности «Архитектура». Он прекрасно знал культуру Франции, и я всегда удивлялся, почему его из Франции перевели сюда. При немцах было терпимо целый год. «За укрепление морального духа» в нашем регионе отвечал полковник Дитрих Виммель.

Николас: Это он на экране?

Кончис: Да.

Николас: Знаю я этого фрица.

Кончис: Вы можете знать только актёра, похожего на полковника.

Настоящий Виммель убит в 1944 году. Какие ублюдки были у него в подчинении! Ему под стать. Надо же так случиться. Именно в момент его приезда партизаны у часовни убили трёх немцев и скрылись где-то в деревне. Виммель вызвал карателей, собрал народ и объявил условие: он берет в заложники 80 человек, а все остальные жители в течение суток ловят партизан и выдают их немцам. Если нет, то заложники будут расстреляны. Греки целый день бегали по острову с косами и серпами: якобы ловили партизан. А поймали их сами немцы. В доме у двух девушек, их родственниц. Эти девушки с выпущенными кишками неделю потом висели на виселице. А меня и моего помощника Виммель повёл на экскурсию. Только врач удержался бы от обморока. Брат этих девушек лежал на столе и был сплошной кровавой раной. Ему оторвали пенис и мошонку слесарными кусачками. Они пытались заставить меня уговорить юношу и двух других партизан выдать сообщников и их базы. Я врач... Как пахла сирень. Убийственный запах... Я не смог уговорить. И меня сделали восемьдесят первым. И когда нас построили, мне объявили, что всем заложникам будет сохранена жизнь, если я возьму автомат и убью «бандитов». В руках у меня оказался «шмайссер». Я навёл ствол. Нажал курок. Щелчок. Не стреляет. Снова. И снова щелчок. И тут-то я понял, что мне предложили добить их прикладом. Я отказался. Нас всех расстреляли. Вечером меня вытащил из общей кучи доктор и выходил.

Николаас: А что с Антоном?

Кончис: Застрелился на следующий день. То есть история, которую я вам рассказал, символизирует метание Европы. Вот что такое Европа. Полковники Виммели. Безымянные мятежники. И Антоны, что разрываются между теми и другими, а затем, проиграв, кончают с собой. Будто дети.

Николаас: По-вашему, я второй Антон? Вы это хотели мне внушить?

Кончис: Вы человек, который не осознаёт, что такое свобода. Хуже того. Чем больше вы её осознаёте, тем меньше ею обладаете.

Николаас: Господин Кончис, мне кажется, что нельзя так обходиться с людьми только для того, чтобы вы основали на этом своё учение о свободе воли... Скажите честно, вы... считаете себя Богом?

Кончис (после молчания): На утро намечен большой обряд прощания. Хотя можно и без него. До завтра.

6-я картина

Пляж. Навстречу Николасу идут Кончис, Мария и Джо.

Кончис: Доброе утро. Нам пора отправляться. На прощание хочу представить своих помощников: Катрин Адриканис, актриса Национального театра... Джо Гаррисон, психолог из университета Айдахо.

Джо (Николасу): Не сердись, старичок.

Николаас: Хорош психолог. Да ладно, чего там.

Кончис (своим): Я вас догоню.

Мария и Джо уходят.

Николаас: Торопитесь опустить занавес?

Кончис: В настоящем спектакле занавеса не бывает. Как только его доиграют, он принимается играть сам себя.

Николаас: А девушки?

Кончис: Я возьму их с собой в Париж. Куклы богатым не надоедают.

Николаас: Жюли и Джун не Мирабель. Больше вы меня не облапошите.

Кончис: Ну ладно, ладно... Хотите знать, почему мы с вами не виделись неделю назад? Лилии нужно было время, чтобы обдумать: стать ли ей женой нищего и бездомного учителяшки или остаться там, где денег больше и жизнь веселее. Она колебалась. Это должно льстить вашему самолюбию. Но у неё хватило ума понять, что всё дальнейшее слишком дорогая плата за утоление мимолетной телесной страсти.

Николаас: А вам не кажется, что финской полиции здесь будет чем поживиться?

Кончис: Я расскажу об этом девушкам. Вот смеху-то будет. Про-

щайте. *(Уходит.)*

Некоторое время Николас сидит на песке, опустив голову на колени. Вдруг сзади него открывается канализационный люк и оттуда наполовину появляется Жюли.

Жюли: Привет.

Николас: Глазам не верю. Только что он мне сообщил, что ты его любовница и мы больше не увидимся.

Жюли: И ты ему поверил?

Николас: А Джун где?

Жюли: Угадай.

Николас: У меня угадайка сломалась.

Жюли: Морис сдал нам дом до конца лета.

Николас: А его эксперименты?

Жюли: Отложены... А тебе хорошо было в постели с твоей австралийской подружкой?

Николас: Про неё в другой раз.

Жюли: У меня вряд ли выйдет так. Я ещё ни с кем не спала по любви.

Николас: Это не порок.

Жюли: Незнакомая теория.

Николас: Ты покажешь, где вы прятались?

Жюли: Иди сюда. Это ещё от немцев осталось.

Николас и Жюли скрываются в люке. Зажигается экран. Уютное подземное гнездышко девушек. Николас хочет открыть одну из дверей в подземелье. Дверь не поддаётся. Николас машет рукой. Улыбка Жюли. Экран гаснет. Николас вылезает из люка. Жюли снова высовывается наполовину.

Жюли: Ну вот. Посмотрели и будет... Николас! Николас!

Жюли проваливается в люк. Такое ощущение, что её туда затащили силой. Николас безуспешно пытается открыть крышку. Внезапно появляются Кончис, Джо, Виммель, двое солдат. Все в чёрных брюках и черных водолазках. Они скручивают отбивающегося Николаса. Виммель достаёт шприц и наполняет его.

Виммель: Молодой человек, будьте готовы к суду.

Николас: К какому суду? За что?

Виммель: Узнаете в своё время. И не мы вам, а вы нам вынесете приговор. *(Делает укол Николасу.)* Не дергайтесь. Мы это делаем не для себя, а для вас.

Николас: Кто это мы?

Виммель: Потерпите. Скоро узнаете.

Николас засыпает.

ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ

1-я картина

На сцене длинный стол, за которым сидят 9 судей (они же подсудимые) в чёрной одежде и балахонах с капюшонами. Николас с кляпом во рту сидит прикованный к креслу, напоминающему трон. По бокам трона стоят в такой же одежде двое помощников судей.

Кречмер: Позвольте представить всех нас. Я, доктор Кречмер, когда-то работал в Штуттгарде. Возглавляю институт экспериментальной психологии в штате Айдахо. Справа от меня доктор Морис Кончис из Сорбонны. Правее доктор Мэри Маркус *(это загримированная госпожа де Сейтас)*, преподаватель Эдинбургского университета. Рядом с ней наш талантливый художник Маргарет Максвелл *(Джун)*, дальше наш продюсер Янис Коттопулос. А это вас приветствует сценарист и режиссер Арне Халберстедт *(Виммель)*. Им мы обязаны достоинствами и успешным завершением нашей постановки. *(Аплодисменты.)* Мадам Кончис *(Мария)* – специалист по

душевному травмам. Джозеф Гаррисон (Джо), мой ассистент, автор монографии «Души чёрных, души белых». Подчеркиваю: «души, а не души». И очаровательная доктор Ванесса Максвелл (Жюли), без которой бы эксперимент не состоялся. Недалеко то время, когда величайшие психиатры-практики будут принадлежать к прекрасной половине человечества (*Аплодисменты.*) Все остальные: студенты, аспиранты, коллеги, актеры – наши добровольные помощники.

Господин Эрфе, мы сознаём, что вы питаете к нам глубокое чувство ненависти. Мы хотим, чтобы вы сами рассудили нас по совести. А кляп во рту у вас только потому, что правосудию не пристало болтать до приговора. Ознакомьтесь с характеристикой своей личности. Прошу вас, доктор Маркус.

Г-жа де Сейтас: Объект относится к категории интровертов – недоинтеллектуалов. Истоки установки лежат в Эдиповом комплексе. Девушки не раз становились жертвами эмоциональной и сексуальной агрессивности объекта. Его метод обольщения основан на вязчивой гипертрофии собственного одиночества и неvezучести. Объект апеллирует к подавленным материнским инстинктам своих жертв, на каковых и начинает паразитировать. Объект идентифицирует Бога с фигурой отца, яростно отрицая самоё веру в Бога. Ситуация одиночества инспирируется в карьеристских целях. Ни в рамках семьи, ни в рамках нации объект не сумел справиться со своими проблемами. Итог: в поведенческом плане объект – жертва неверно осмысленного рефлекса непреодолимых препятствий. В любой обстановке он выделяет исключительно фактор своего одиночества, позволяющий оправдать свою неприязнь к социальным связям и обязанностям. Как справедливо отметил в своей монографии доктор Кончис: «Бунтарю, который не обладает даром бунтаря, от природы уготована судьба трутня». У меня всё.

Кречмер: Я попрошу доктора Максвелл повторить то, что она сказала мне по поводу объекта вчера.

Жюли: Я считаю, что, если вынести за скобки сексуальный потенциал, объект не способен к семейной жизни.

Кречмер: Поддаётся ли объект психотерапии?

Жюли: На мой взгляд, нет.

Кречмер: А вы как думаете, Морис?

Кончис: Для решения первоначальной задачи он подходил идеально, однако мазохическая часть его натуры извлекает удовольствие, на мой взгляд, даже из обсуждения его психических уродств. Дальнейшее внимание к объекту бесполезно, а для него ещё и пагубно.

Кречмер: Всем спасибо. Мы подошли к финалу эксперимента. Мы не утаили мнения о нашем суде. Ведь мы находимся в суде, и судьба над нами – это вы. Освободите судьбу.

Помощники освобождают Николаса.

Кречмер: Настал срок вынесения приговора. Мы озаботились поисками фармакоса – козы отпущенья.

Жюли встаёт и подходит к стойке напротив Николаса.

Кречмер: Она в вашей власти. Вы можете делать с ней всё что захотите.

Помощники оголяют спину Жюли и ставят её в станок.

Кречмер: Вот коза отпущенья, а вот бич. (*Подаете Николасу кнут*). Доктор Максвелл наиболее олицетворяет тот урон, который мы вам нанесли.

Николаc взмахивает кнутом и резко ударяет им по столу. Жюли вздрагивает. Николаc подходит к ней, замахивается, потом бросает кнут и снова садится в своё кресло.

Кречмер: Оковы для судьбы!

Помощники снова приковывают Николаса к креслу.

Кречмер: Заключительная дезинтоксикация. Я с удовольствием представляю вам фильм студии «Полим» «Горькая правда».

Зажигается экран. Идёт фильм. Титры:

ГОРЬКАЯ ПРАВДА

С участием легендарной шлюхи Ио, снимавшейся в ролях

Изиды

Астарты

Неотразимой Лилии Монтгомери

Бесконечно желанной Жюли Холмс

И отважного учёного Ванессы Максвелл

А ныне занятой в роли самой себя.

А также с участием Грозы Миссисипи

Джо Гаррисона

В роли самого себя.

Развратная барынька леди Джейн в гостиничном номере.

Жюли в пеньюаре с распущенными волосами, опираясь на спинку стула, поправляет чулок. Оборачиваясь к двери, что-то кричит. Появляется посыльный с подносом. Жюли берет с подноса письмо и читает:

... теперь, когда я узнал всю правду о твоих развратных наклонностях, между нами всё кончено.

Твой пока ещё супруг лорд де Вир.

Жюли в постели в чёрных ажурных чулках. Появляется Джо. Раздевается. Падает на Жюли.

Черномазый жеребец и белая женщина. Слов не надо.

На экране крутое порно.

А пока развёртывается бесовская вакханалия, за стеной идёт обычная жизнь.

На экране Николас и хромающая Алисон, спускающиеся с Парнаса.

Запретные ласки.

Крутое порно.

Соитие.

Экран-занавес раздвигается. Абсолютно голая Жюли лежит на кушетке, повторяя позу гойевской «Махи обнажённой». Над ней Джо. Они начинают обычный интимный плотский ритуал. Экран-занавес закрывается. Николас теряет сознание. Помощники освобождают его от оков. Николас падает.

Кончис (подходя к Николасу): Учитесь улыбаться, Николас. Учитесь улыбаться. Инъекцию для господина Эрфе.

2-я картина

Комната Николаса в Лондоне. Николас за столом роется в своих бумагах. Входит Митфорд.

Митфорда: Как я понял, коллега, вы меня не послушались и были не только в «зале ожидания», но и у афинских девушек.

Николас: Кончай. Мы с тобой тогда так быстро распрощались, что я забыл спросить...

Митфорда: Давай.

Николас: Ты рассказывал, что поцапался с коллаборационистом, а я так понял, что он герой Сопротивления.

Митфорда: Герой с дырой. Немцам прислуживал. Лично руководил расстрелом 80 крестьян. А потом фрицев подговорил, чтобы и его в список внесли. Ферштее? Получился и герой, и храбрец.

Николас: Но он же был смертельно ранен.

Митфорда: Это же каратели. Не так уж и смертельно. Сам себе потом состряпал фальшивый отчёт об этой истории.

Николас: А ты-то что с ним не поделил?

Митфорда: Да так. Чушь собачья.

Николас: Не жмись. Раскалывайся.

Митфорда: Ладно. Школа меня достала. Пошёл на пляж как-то. Смотрю, две голые бабы без ничего. Подваливаю. Шури-мурли, лопс-дропс. Две симпатичные двойняшки. Оказывается, крестницы

старого хрыча. Я веду войну сразу на два фронта, а хрыч приглашает меня на чай. Почему бы и нет? Одна из девиц не в моём вкусе, а вторая, Джун, – то, что надо. На всё готова. Но другая на меня взъелась. Я её сразу раскусил. Шибко умная. Начала издеваться надо мной, передразнивать. А потом вообще фашистом назвала.

Николас: С чего?

Митфорд (*приосанившись*): Я считал и считаю, что наш Мосли часто говорит по делу. Без балды. Страна здорово распустилась. Порядка нам не хватает. Национальный характер... Вот Франко в Испании...

Николас: А ты был в Испании?

Митфорд: Нет.

Николас: Съезди, а потом говори. Мне эти фашисты вот где!

Митфорд: Хорошо. Ближе к телу. Пошли мы с ней купаться. Она говорит: «Я без купальника. Идите первым». Я и пошёл. Тоже в чём мать родила. Оборачиваюсь: ни одежды, ни Джун. Как последний кретин иду к их дому. Крестницы тоже мне! Никакие они не крестницы, а первоклассные шлюхи. Ну, я им всем отомстил как надо. Написал куда следует, что он коммунист. Ты же знаешь, как в Греции к коммунистам относятся.

Николас: Что-то я не заметил, что он от этого пострадал.

Митфорд: Пострадает ещё. Каков! Сам не фурычит и другим не даёт. Слушай, пойдём в кабак, у меня деньги есть.

Николас: Не могу. Ко мне должен зайти друг.

Митфорд: Как хочешь. Я к тебе ещё забегу, если не возражаешь.

Николас: Даже наоборот.

Митфорд: Тогда пока. (*Уходит.*)

*Некоторое время Николас сидит один, перебирая бумаги. Звонок.
Входит Бен.*

Николас: Наконец-то! Хотя что-нибудь узнал?

Бен: Долгие и пустые хлопоты. Если бы я делал это не для тебя бесплатно, а для кого-то за деньги, то этот кто-то меня давно бы кончил.

Николас: Хотя что-нибудь.

Бен: Пожалуйста. Фото могилы Мориса Кончиса. Похоронен в Афинах. 1896–1949 гг. Нет давно твоего Кончиса.

Николас: Ничего себе нет.

Бен: В Кембридже в эти годы двойняшки Холмс, Монтгомери, Максвелл не учились. В театре «Трависток» никаких близняшек отродясь не бывало. Был я и у «балбесок». Себя они узнали, любимую училку – нет.

Николас: Откуда же взялись эти близняшки?

Бен: А может, ты их придумал?.. Насчет киностудии «Полим». Такой нет ни в Англии, ни в Греции, ни в Голливуде. Насчёт картин. Шагал висит в музее Гутенхейма. Значит, у твоего дружка копия. А мамы у Модильяни нет и не было.

Николас: И как это он родился?

Бен: Такого портрета вообще нет. Так что будем считать, что сам он его нарисовал.

Николас: Хотя бы какие-то намёки.

Бен: И не только намёки. Пожалуйста. Твой фриц Игнаций Прушинский, актёр, участник Сопротивления. Сейчас лучший исполнитель всяких фашистов. В «Форуме» идет фильм с его участием. Хочешь, сходим.

Николас: Спасибо, нет. Насмотрелся. А сам-то он где?

Бен: Взял творческий отпуск на два года.

Николас: Монографии Кончиса, Гаррисона, Максвелл, Кречмера?

Бен: Нет таких монографий.

Николас: Значит, полный вакуум?

Бен: Пожалуй, да. Хотя крохотные сомнения у меня возникли по по-

воду Алисон Келли. Газетчики набросились на неё после заметки в «Холборн газетт».

Николас: Ну и что?

Бен: Да ничего. Кроме того, что в газете сильные погрешности набора.

Николас: Не понимаю.

Бен: Тут и понимать нечего. Газета набиралась иначе.

Николас: Набиралась?

Бен: Да. Набиралась. Её уже несколько месяцев не существует.

Николас: Тупик?

Бен: Для меня да. А ты, если хочешь, можешь ещё подёргаться. Адресок подкину. Лилия де Сейтас, в девичестве Монтгомери. Устраивает?

Николас: Ты знаешь, сколько этих Монтгомери?

Бен: Ты совсем разленился, смотри. Лилия! Да ещё Монтгомери.

Николас: Сколько ей лет?

Бен: Пятьдесят.

Николас: Ни с чем не совпадает. Ладно. Отмечусь. Всё равно больше идти некуда. За мной виски. А пока я хочу посидеть и всё это обмыслить.

Бен: Про виски запомнил. Пока. (*Уходит.*)

Телефонный звонок. Николас берет трубку.

Голос в трубке: Господин Эрфе? Подойдите, пожалуйста, к окну и обратите внимание на машину под ним. Не бойтесь. Ничего плохого с Вами не случится. Возможно, даже наоборот. (*Гудки в трубке*). Николас подходит к окну.

Николас: Алисон! Алисон! Куда же ты?

Шум отъезжающего автомобиля.

3-я картина

Квартира госпожи де Сейтас. Хозяйка, стройная женщина в брюках, красном платке и красной клетчатой рубашке, собирается уходить из дома. Звонок. Она открывает. На пороге Николас.

Николас: Я к госпоже де Сейтас.

Г-жа де Сейтас: Это я.

Николас: Ваш адрес мне дала миссис Саймон. Вы можете мне помочь. Ведь ваша девичья фамилия Монтгомери. Я пишу книгу. Ваш отец...

Г-жа де Сейтас: Но он давно умер.

Николас: Книга не о нём. Я работаю над биографией Мориса Кончиса.

Г-жа де Сейтас: Право, мне очень жаль. Но тут какая-то ошибка. Мориса ... как его.

Николас: Вы могли знать его как Чарльзворта ... или Хэмптона. Во время Первой мировой он жил рядом с вами.

Г-жа де Сейтас: Как вас зовут?

Николас: Извините. Николас Эрфе.

Г-жа де Сейтас: Но, мистер Эрфе, знаете, сколько мне тогда было лет?

Николас: Судя по вашему виду, очень немного. А все эти имена ... вам знакомы.

Г-жа де Сейтас: Боже мой, конечно же. А что, этот Морис у них бывал?

Николас: Возможно, он был сыном кого-то из них.

Г-жа де Сейтас: Боюсь, что вы ошибаетесь. У Чарльзвортов детей не было, а сын Хэмптона погиб ещё до войны.

Николас: Кончис был очень музыкальным.

Г-жа де Сейтас (*улыбается*): У нас с сестрой Розой был чудный преподаватель музыки. Мы его очень любили. Он был итальянец.

Николас: А где сейчас Роза?

Г-жа де Сейтас: Она умерла в 1916 году от тифа.

Николаас: Потрясающе. Всё сходится. У него есть цикл стихотворений, посвященных Лилии и Розе. Она была старше вас?

Г-жа де Сейтас: Мы погодки. Она была на год старше.

Николаас (*достаёт блокнот*): Разрешите задать вам несколько вопросов.

Г-жа де Сейтас: Я чувствую, что вы меня собираетесь обессмертить. Пожалуйста.

Николаас: Учитель музыки. Вы не помните, как его звали?

Г-жа де Сейтас: Нет. Кажется... Гибеллино. У него были такие внимательные карие глаза. Нам казалось, что он был влюблен в нашу старшую сестру Мэй. Она сейчас в Чили. А какова судьба вашего героя?

Николаас: Он умер. Кстати, он был то ли полугрек, по ли полуитальянец. У него была трудная безответная любовь прямо именно где-то здесь. А к вам итальянец высказывал особое расположение?

Г-жа де Сейтас: Он что, извращенец?

Николаас: Вряд ли. А тот музыкант? Куда он делся во время войны?

Г-жа де Сейтас: Наверное, его интернировали. Мы его, во всяком случае, больше никогда не видели.

Николаас: Спасибо за информацию. До свидания.

Г-жа де Сейтас: Если что, звоните.

Николаас уходит. Г-жа де Сейтас некоторое время одна. Звонок в дверь. На пороге возбужденный Николаас.

Николаас: Госпожа де Сейтас, я просто вынужден вернуться. Когда я уходил, консьержка спросила меня, дома ли та дама, у которой очаровательные двойняшки. Так что простите, если отрываю вас от дел.

Г-жа де Сейтас: Я жду уже не первую неделю, что именно вы от чего-нибудь меня оторвёте.

Николаас: У вас шибко деловые дочки. Я хочу послушать, что вы сейчас про них придумаете.

Г-жа де Сейтас (*с улыбкой*): Придумывать мне нечего. Морис – крёстный отец двойняшек. Мой муж, он погиб в 1943 году, был первым учителем в школе имени Байрона. Его фамилия Хьюз. Де Сейтас – мой второй муж. Лилия и Роза были зачаты на Фракосе. Там мы и познакомились с Морисом. Можно называть вас Николаасом? Я ведь о вас так много слышала.

Николаас: Нельзя.

Г-жа де Сейтас: Вы не первый, кто выливает на меня свою злобу на Мориса...

Николаас: Ваши дочери здесь?

Г-жа де Сейтас: Нет.

Николаас: А Алисон?

Г-жа де Сейтас: С Алисон мы все очень подружились.

Николаас: Интересно, что скажет на это полиция?

Г-жа де Сейтас: Она скажет, что у вас не все дома... А с книгой у вас получилось убедительно.

Николаас: Хотя я и глуповат?

Г-жа де Сейтас: Ум и глупость друг друга не исключают, особенно у мужчин вашего возраста. Послушайте-ка меня, мой бедный сердитый юноша. Любовь – это просто способность любить, а не заслуга того, кого любишь. И у Алисон есть эта редкая способность к верности и преданности. Мне такое и не снилось. Алисон щедро одарена тем единственным качеством женщины, без которого бы мир перевернулся. А вы упустили её.

Николаас: С помощью ваших дочурок.

Г-жа де Сейтас: Они для вас – олицетворение вашего собственного эгоизма.

Николаас: В одну из них я, между прочим, влюбился. Не обольщай-

тесь. Сдуру. Ваша подгулявшая дочка...

Г-жа де Сейтас: Зачем вы так? Мне известны мотивы, которыми она руководствовалась. Но рассказать вам о них – значит рассказать всё.

Николаас: Неделю со мной, неделю с негром.

Г-жа де Сейтас: Будь он белым, вам было бы легче?

Николаас: Возмущался бы так же.

Г-жа де Сейтас: Они довольно-таки давно спят вместе.

Николаас: И вы это одобряете?

Г-жа де Сейтас: Лилия взрослый человек. Я хочу вам сказать, что секс не главная часть тех человеческих отношений, что зовутся любовью.

Николаас: А что же главное?

Г-жа де Сейтас: Искренность, выстраданное доверие сердца к сердцу. Физическая измена – следствие измены духовной. Люди, которые подарили друг другу любовь, не имеют права гадать. У меня был муж, которого я любила, но я с его согласия отдавалась Морису... Вы уверены, что мы не причинили вам ничего, кроме зла?.. Мне так хочется помочь вам.

Николаас: Мне нужна не помощь, а Алисон, иначе я иду в полицию.

Г-жа де Сейтас: Не пойдёте.

Николаас: Почему?

Г-жа де Сейтас: Вы же не ударили Лилию.

Николаас (*внимательно вглядывается*): Это вы? Доктор Маркус?

Г-жа де Сейтас: Да, это я. И, кажется, «Игра в Бога» окончена. Во всяком случае для вас.

Николаас: Хотя я и не верю в Бога, но то, что делаете вы, это чудовищно.

Г-жа де Сейтас: Почему же? Если хочешь сколько-нибудь точно смоделировать таинственные закономерности мироздания, при-

дётся пренебречь некоторыми условностями. В обычной жизни ими пренебрегать не стоит. Но «Игра в Бога» предполагает, что всё вокруг иллюзия, а любая иллюзия приносит лишь вред. Кроме всего прочего, мы очень богатые люди, а богатые играют не только в теннис. Кажется, я копнула глубже, чем собиралась. Вот что, Николаас, приходите через неделю в кафе напротив нашего дома в это же время, и я, очевидно, всё дорасскажу. Не ради вас, а...

Николаас: Я увижу Алисон?

Г-жа де Сейтас: Это теперь зависит только от неё.

4-я картина

Кафе. Посетители приходят и уходят. Это все участники спектакля в совершенно иных костюмах, где оставлена какая-то деталь персонажа. За одним из столиков г-жа де Сейтас и Николаас.

Николаас: Но почему вы избрали меня?

Г-жа де Сейтас: Никто вас не избирал. Основной принцип бытия – случай. На атомарном уровне миром правит чистая случайность.

Николаас: К будущему легу вы тоже готовитесь?

Г-жа де Сейтас: Не знаю. Реакция Мориса непредсказуема.

Николаас: А если бы Алисон поехала на остров вместе со мной? Такая вероятность была.

Г-жа де Сейтас: Скажу только одно. Морис сразу бы видел, что подвергать каким-то испытаниям её искренность излишне.

Николаас: Она знает о...

Г-жа де Сейтас: Она согласилась инсценировать самоубийство не сразу, и при условии, что обманывать вас мы будем недолго.

Николаас: Вы сказали ей, что я хочу с ней встретиться?

Г-жа де Сейтас: Моё мнение на этот счёт она знает.

Николаас: При встречах с вашей дочерью у меня всё время крутилась

в голове одна байка, но к вам она больше подходит. Во время Французской революции в первых рядах черни к Версальскому дворцу подошёл мясник, размахивая ножом и вопя, что он перережет горло Марии-Антуанетте. Мясник вбежал в королевские покои. Мясник с ножом и королева.

Г-жа де Сейтас: И что дальше?

Николаc: Он упал на колени и разрыдался.

Г-жа де Сейтас: Бедный мясник.

Николаc: Кажется, то же сказала и королева.

Г-жа де Сейтас: Главный вопрос: кого оплакивал мясник?

Николаc: А по-моему, не главный.

За одним из столиков появляется Алисон. Она в изящном твидовом костюме с орнаментом: осенние листья и снег. Она садится за столик с безучастным видом, сложив руки на коленях.

Николаc: Извините меня. *(Пересаживается за столик Алисон.)*

Алисон *(безучастно)*: Я не хотела приходить.

Николаc: Зачем же пришла? Заставили?

Алисон абсолютно замкнута.

Николаc: Куда ты поехала из Афин? Домой?

Алисон: Возможно.

Николаc: Ты вспоминала обо мне?

Алисон: Иногда.

Николаc: У тебя кто-нибудь есть?

Алисон: Нет.

Николаc: Не слышу уверенности.

Алисон: Всегда кто-нибудь найдется... Если поискать.

Николаc: Ты искала?

Алисон: У меня никого нет.

Николаc: «Никого» – значит, и меня тоже.

Алисон: И тебя тоже, с того самого... дня.

Николаc: Что я должен делать? Заключить тебя в объятия? Пасть на колени? Чего им надо?

Алисон: Не понимаю, о чём ты?

Николаc: Нет, понимаешь.

Алисон: В тот день я тебя раскусила. И конец. Такое не забывается.

Николаc: В тот день, там, в горах, я в какой-то момент любил по-настоящему. Ты это поняла. Тут и гадать нечего. Я слишком хорошо тебя знаю и поэтому уверен, что ты поняла это. Я не секс имею в виду. *(Опускается на колени перед Алисон.)* Я чувствовал ещё с первого дня: мы одно тело, одна душа. Если ты исчезнешь снова и навсегда, от меня останется половина. Если бы я не был столь рассудочен и самодоволен, до меня давно бы дошло, что этот мой обморочный ужас перед тобой – любовь.

Алисон: Ненавижу тебя. Ненавижу.

Николаc: Почему же ты не отпускаешь меня?

Алисон: Не знаю. *(Закрывает лицо ладонями.)*

Николаc: А я понял это только сейчас. Нельзя ненавидеть того, кто стоит на коленях. Того, кто без тебя не человек.

Алисон по-прежнему не открывает лица.

К О Н Е Ц

2001 г.

ИЗ ЛИЧНЫХ
ВОСПОМИ-
НАНИЙ



Легенда О МЫСЛЯЩЕМ ИНАКО

*К 80-летию писателя
Дмитрия Балашова*

...**Л**ето для Мурманской области было чрезвычайно жарким. Горели леса. Нас, молодых рабочих мастерских капитального ремонта Умбского лесспромхоза, отправили на их тушение, благо ехать далеко было совсем не надо. Мы переправлялись на катерах на другой берег Малой Пирьгубы, где огонь все ближе и ближе подбирался к полям и строениям лесспромхозовского подсобного хозяйства. Копали траншеи, пускали встречный огонь и, встав цепью, изо всех сил колотили ветками по земле, стараясь не допустить пламя до своих ног. После своей пожарной смены снова возвращались в поселок и, отмывшись, с устатку, купив бутылочку, а то и не одну, собирались у кого-нибудь из нашей компании.

На сей раз мы пришли к Юрке Сергееву, мама которого, Нина Емельяновна, преподавала русский язык и литературу. Кроме того, Нина Емельяновна делала фольклорные записи. И если в Умбе появлялись фольклористы, они обязательно отмечались в доме Сергеевых.

Значит, сидим, пьем. И вдруг к нам заходит этакий Садко – богатый гость. Стройный, идеально сложенный мужичок невысокого росточка, кудрявый, с красивой черной бородкой. Сапожки у него начищены, косовороточка красная, тканым поясом с кистями подпоясана. Штаны полосатые. А глаза серые, чистые-чистые такие. Но вот добрые они или недобрые – не понять. Садко пере-

бросился парой слов с Юркой, потом представился нам:

– Митя.

Таких Садко мы в жизни не видели, только в кино, и поэтому дружно заорали:

– Давай, Митя, двигай с нами водку пить!

На что Митя очень настоятельно и резонно, хотя с улыбочкой, произнес нечто вроде того, что он, мол, ученый и здесь в экспедиции и ему нельзя пить с нами водку. На что Славка сказал:

– А нам можно? Будь ты проще, Митя. Все мы здесь ученые.

Нам, рабочим парням, внешний вид ученых представлялся несколько иным... Митя вырвался от нас с большим трудом, не пригубив и капли «зелена вина». Так я впервые увидел выдающегося русского исторического писателя и ученого Дмитрия Михайловича Балашова. Кстати, при дальнейшем знакомстве с ним, которого в тот момент я даже и не предполагал, никогда в жизни не называл его Митей. Мне почему-то захотелось назвать его по отчеству даже в тот первый момент знакомства.

Подобный случай у меня был еще только раз в жизни. Когда в Москве в гостях у искусствоведа и реставратора Саввы Ямщикова, уже хорошо поддав, я познакомился с очень уважаемой и симпатичной мне женщиной, которая сказала:

– Боря, называй меня Бэлой.

На что я ответил:

– А можно я все-таки буду называть вас Бэла Ахатовна.

Так же и с Балашовым. Только Дмитрий Михайлович.

В то же лето я надумал поступать в вуз и совершенно неожиданно для себя поступил в Петрозаводский университет на истфак. И снова на «Рулевом», идущем из Умбы в Кандалакшу, я увидел Митю. Он ехал из экспедиции со студенткой-филологом Петрозаводского университета Светланой Саломатиной, с которой я тут же познакомился, надеясь узнать о студенческой жизни Петрозаводска. Об этом узнал мало, зато много о том, насколько интересен, талантлив и самобытен Д.М. Балашов как ученый-фольклорист. Причем я почувствовал, что Света прямо влюблена в своего шефа.

В первые же дни учебы мне дали подписать обращение в защиту кондопожской Успенской церкви. Я перво-наперво возмутил-

ся. Почему это я, вроде бы неверующий молодой человек (хотя, с другой стороны, я всегда ощущал себя православным), должен подписывать бумагу в защиту какой-то церкви.

– Дайте хоть фотографию посмотреть.

Дали.

– И какому дураку такая красота помешала! Подписываю.

Через много лет я узнал, что обращение написали куратор нашей группы историк Татьяна Владимировна Старостина и Дмитрий Михайлович Балашов. Через те же много лет узнал, что тогда же в Кижы пришла бумага, неизвестно кем подписанная, где приказывалось разобрать все часовни Кижского ожерелья. Кижские реставраторы отказались, а Балашов послал письмо в ЦК КПСС, где якобы были такие слова: «Часовню в Подъельниках оценили по стоимости дров. Во сколько вы оцените всю Россию?» Кижское ожерелье живо до сих пор.

Во время учебы в университете я вспомнил Балашова только однажды, зато с огромным удивлением. В нашу студенческую компанию иногда входила вечная студентка Женя, поучившаяся уже на нескольких факультетах. Не красавица, но достаточно интересная в застольном общении. И вот после летних каникул я узнаю, что Женя вышла замуж за Балашова после их совместной экспедиции. Мне это показалось странным, потому что все женщины, красавицы из красавиц, общавшиеся с ним, влюблялись в него бесповоротно. А он почему-то выбрал Женю.

Еще не окончив университет, весной 1967 года я поступил на работу в музей «Кижы» и начал готовить экскурсию. Читал огромное количество книг, главной из которых был путеводитель «Кижы – остров сокровищ», одним из авторов которого был Дмитрий Балашов. Уже вышло академическое издание сказок моего родного Терского берега, которое подготовил ученый.

В музее «Кижы» я познакомился с Зиной Венедиктовой, которая работала тогда у нас заведующей отделом древнерусской живописи. Это был человек на своем месте. И вдруг – как удар среди ясного неба. Приказ свыше – уволить З. Венедиктову в течение рабочего дня. Без всяких объяснений.

Через пару дней выяснилось, что она жила без прописки. Ну и что? Другие-то тоже живут! Еще через несколько дней узнали, что Зина была уволена только по одной причине: с мужем Германом она жила у «ярого антисоветчика» Балашова, за квартирой которого кагэбэшники ведут постоянное наблюдение. С работы его из филиала Академии наук выгнали, а Герман собрался поступать в аспирантуру филфака ПГУ. При конкурсе два человека на место аспирантом стал не он, а «румяный комсомольский вождь» университета. Зина с Германом уехали в Ленинград.

А летом 1967 года в журнале «Молодая гвардия» была напечатана повесть Д. Балашова «Господин Великий Новгород». Все читатели поняли, что появился большой русский писатель. Я читал повесть с восхищением, то и дело узнавая наши умбские песни и отдельные бытовые предметы. К тому же это была очень хорошая литература, исторически вполне достоверная.

В конце 1967 года у нас в музее возникла мысль об организации на будущий год курсов экскурсоводов. Договариваться с лекторами поручили мне. По моему мнению, занятия по русскому фольклору мог провести только один человек – Д. М. Балашов. Я отправился к нему. Жил он тогда в двухэтажном деревянном доме на улице Герцена за Домом культуры Онежского тракторного завода.

В квартире прежде всего поразило огромное количество древесных капов, необработанных и черново обработанных на токарном станке. Уже готовые ковши-скобкاري поражали своей идеальной формой, близкой к старинным эталонам из таблиц графа Бобринского. На стене висел резной шкафчик в древнерусском стиле. (Через много лет я буду безуспешно искать этот шкафчик, чтобы приобрести его в музей.) Чувствовался тонкий художественный вкус мастера и его верность старинным русским традициям. Мне всегда казалось, что старинную русскую культуру Балашов впитал в себя генетически. И его приверженность архаичному костюму была вполне искренней, хотя сморщился он на фоне современного города несколько эпатажно.

Древнерусский облик квартиры дополнял и вид через дверь в соседнюю комнату, где мама Дмитрия Михайловича, Анна Нико-

лаевна Гипси, реставрировала какую-то икону. Анна Николаевна стала работать художником-реставратором в достаточно зрелом возрасте и была аттестована в мастерской Грабаря.

– Это теперь основной мой заработок, – сказал Дмитрий Михайлович, кивнув в сторону скобкарей. Я объяснил ему цель моего визита. Он поинтересовался временем, отведенным на лекцию, и начал говорить, о чем ему хотелось бы сказать на этой лекции. Постепенно разговор перешел на современную литературу и искусство. К моему глубочайшему несчастью, я ни слова сейчас не помню из того, что говорил тогда Балашов. Помню только мой восторг и восхищение длительным монологом писателя. И помню, что с тех пор я почти разлюбил любимого тогда Андрея Вознесенского. И совсем разлюбил и личность, и деятельность Петра I, воспетого Пушкиным, а особенно Алексеем Толстым.

Я упомянул, что вскоре еду по районам фиксировать техническое состояние некоторых памятников культуры. Дмитрий Михайлович сразу же предложил мне написать совместную статью для журнала «История СССР», хотя скорее всего он хотел дополнить свою, уже, наверное, готовую статью данными о состоянии памятников. Я из-за своей глупости и стеснения отказался.

В тот момент, да и сейчас тоже, писательский талант Дмитрия Балашова я мог сопоставить разве что со Львом Толстым. А быть соавтором Л. Толстого! Прочитав в четвертом номере журнала «История СССР» за 1968 год статью Дмитрия Михайловича, понял, что был не прав. Конечно же, данные о состоянии памятников только дополнили бы статью. Так я не стал соавтором самого Балашова, о чем теперь приходится только сожалеть.

А в конце нашего разговора Дмитрий Михайлович сказал:

– Я очень сожалею, что вынужден отказаться от выступления на ваших курсах. Мне запрещены всякие публичные выступления.

Через год повторилось то же самое. Я пришел к Дмитрию Михайловичу воспитываться и подпитываться. Мы проговорили целый день. Я снова предложил ему выступить у нас с лекцией о русском фольклоре. И вновь:

– Мне ведь запрещены публичные выступления.

Кстати, ничего антисоветского в словах Балашова тогдашних лет, на мой взгляд, не было. То была его патриотическая позиция как русского, так и советского человека. Человека, начисто лишённого чувства подхалимства и лизоблюдства, что в нашей стране на протяжении всей истории осуждалось и наказывалось.

Я набрался наглости и спросил Дмитрия Михайловича, чем же он так провинился перед КГБ. И вот какую версию он выдал. В студенческие годы в Ленинграде он учился вместе с китайцами. И как-то нечаянно встретился в Ленинграде со своими бывшими соучениками. «А с Китаем сами знаете какие у нас отношения». После этого и началось.

Тогда я поверил в это. Сейчас не очень. Думаю, все дело в завистливых и бездарных коллегах. Из своего жизненного опыта знаю, что когда нужно было кого-то задавить, то очень часто ссылались на козни КГБ, которых иногда и не было. Как объяснить тогда, что Балашова не издавали и травили в Карелии, а в это же время в Москве были изданы и «Господин Великий Новгород», и «Марфа-посадница»? Невозможно представить, что тогда в Москве издали бы антисоветчиков и антикоммунистов Солженицына, Войновича, Владимира Максимова и т.д.

Дмитрий Балашов был свободомыслящим патриотом той страны, в которой жил, называлась она или СССР, или Россия, и иные мысли его, во всяком случае в беседах со мной, ничуть не припахивали антикоммунизмом, антисоветчиной и диссидентством. Я знал некоторых диссидентов и не был от них в восторге.

После нашей второй встречи я ушел с чувством гордости, что знаком с самым умным и интересным человеком в Карелии, а может, и во всем Союзе.

Я стал иногда звонить Дмитрию Михайловичу с просьбами проконсультировать меня по некоторым вопросам.

– Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Борис Гуцин.

– Здравствуйте. Слушаю.

– Дмитрий Михайлович, меня очень интересует происхождение в северных русских песнях – «виноградья красно-зеленого».

И тут же я получал исчерпывающий ответ о библейском винограде, символизирующем Иерусалим, о попадании его в северный фольклор и об отражении всего этого во «флемской» резьбе русских иконостасов. Причем почти всегда говорилось, где об этом можно прочесть. А по поводу закладных церковных камней у моей жены, старшего научного сотрудника музея «Кижы» Виолы Гуциной, началась целая переписка. Дмитрий Михайлович максимально ответил на интересующие нас вопросы.

Через несколько лет после московских изданий наконец Балашова напечатали и в Петрозаводске. Дирекция музея «Кижы» размещалась тогда в одном здании с издательством «Карелия». Придя с обеда, я увидел большую очередь в одну из редакций.

– За чем стоим?

– Балашов автографы раздает. Мы издали его «Марфу-посадницу».

Я купил книгу и встал в очередь.

В начале 1970-х годов вся трехкомнатная коммунальная квартира стала нашей: соседка с двумя детьми получила новую квартиру. Скажу, что я прописался в эту квартиру одиннадцатым. Радость после выезда соседки была безмерной. Я узнал, что в это же время Дмитрий Михайлович получил четырехкомнатную квартиру. Встречаю его на улице. Мне в этот момент он почему-то напомнил лермонтовского гордого и независимого купца Калашникова. И, радостный, – к нему.

– Дмитрий Михайлович, поздравляю от всей души.

Встречаю колючий недобрый взгляд.

– С чем это вы меня поздравляете?

– Как с чем? С получением квартиры.

– Да? А вы знаете, сколько у меня детей?

– Нет. Не догадываюсь.

– Так вот мне нужно две таких квартиры. А вы меня поздравляете...

И, обиженный моим поздравлением, Балашов гордо пошел дальше.

После этого мы не встречались с Дмитрием Михайловичем много лет, хотя он не раз консультировал меня по телефону по самым разным темам.

Выходили его книги из цикла «Государи московские»: «Младший сын», «Великий стол», «Бремя власти», «Ветер времени». Я ставил их гораздо выше остальных исторических романов.

В 1979 году прошли слухи о том, что Балашов переезжает в Новгород. В то время я добровольно-принудительно ходил в университет марксизма-ленинизма при Доме политпроса на факультет научного (смех!) атеизма. После того как от этого посещения мне было уже не отвертеться, факультет я выбрал сам. Хотелось больше узнать об основах христианства. Тем более что воинствующие безбожники 1930-х годов уже перемерли и новые атеисты стали чуть ли не верующими и деликатно называли себя религиоведами.

В начале 1980 года в Доме политпроса была какая-то атеистическая конференция, и после ее окончания мы с нашим преподавателем Виктором Семеновкером и ленинградцем, специалистом по церковной музыке Львом Романовым, закупив все необходимое, отправились ко мне домой. За коньяком разгорелась «научная дискуссия». О том, что было бы, если бы Россию объединила не Москва, а Тверь. Я сгоряча сказал, что знаком с Дмитрием Михайловичем Балашовым, а он-то лучше знает, что было бы. Лев Николаевич вспомнил, что он должен передать ему привет от академика Панченко... И тут я набрался наглости и позвонил Дмитрию Михайловичу, пригласив его в гости, предварительно сказав, что у меня сидят два участника атеистической конференции.

Дмитрий Михайлович, как мне показалось, особой радости не изъясил, но смягчился, услышав про Панченко, и пообещал прийти. Один из гостей тотчас побежал за дополнительным коньяком.

Дмитрий Михайлович пришел довольно быстро. Когда он сел за стол, расстегнув ворот рубашки, мы увидели крест на его груди. Вот так нам, религиоведам! Выпив штрафную, Дмитрий Михайлович включился в наш разговор. Я принес «Марфу-посадницу», открыл последнюю страницу и сказал:

– Слушайте.

Балашов широко улыбнулся.

– Семга непременно должна идти. Уловишь ее в етую погоду. Ну, шорош тамо, а тут шуга, шапуга, сало, нилас-то всякой, темной и светлой, сырой, сухой, нечемерж, молодик, резун, а тамо припай, заберег, каледуха, битняк, тертюха, калтак.

И так на целых полстраницы.

– Дмитрий Михайлович, это вы так похулиганили?

– А что, нельзя? – спросил Балашов и весело засмеялся.

– Так ведь я все ваши термины проверил по словарям.

– Ну и как?

– Все точно.

Во время сидения за столом Дмитрий Михайлович несколько раз выходил к телефону, попросив разрешения сделать несколько междугородных звонков. Он подтвердил, что действительно уезжает в Новгород навсегда. Больше никогда в жизни я его не видел.

Великий русский писатель Дмитрий Балашов был убит в Новгороде в собственном доме 17 июля 2000 года.

И никогда уже это не повторится...

– Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Борис Гуцин.

–Здравствуйте. Слушаю...

Яркость таланта стеснительного человека

Памяти писателя Василия Фирсова

Есть таланты, которые сразу замечашь. Встретив на улице, скажем, писателя Дмитрия Балашова, люди сразу обращали на него внимание. Древнерусский красавец, подпоясанный поверх рубашки тканым поясом с кистями, обутый в красивые сапожки, гордо шел, возвышаясь над толпой, причем, как ни странно, будучи весьма невысокого роста. На писателя Василия Фирсова в толпе вряд ли кто обращал когда-нибудь свое внимание.

Одет был неизменно более чем скромно (он всегда нуждался в деньгах), лицо озабоченное, слегка помятое (иногда с похмелья), вроде бы не особо выразительное. Фирсов не привлекал к себе внимания. Но если человек хоть на чуточку останавливал свой взгляд на его лице, он ощущал в казалось бы безучастном взгляде тепло доброты к окружающему миру. В России всегда были люди, наделенные вселенской добротой, причем мучительно стесняющиеся именно этой доброты. Застенчивость, незлобивость — главные черты характера подобных людей — очень часто мало помогали им в общении с жестким обществом. А если к тому же человек был талантлив! Я знал и любил нескольких человек такого типа, к которому принадлежал Василий Фирсов. Мучительная стеснительность таланта подобных людей ино-

гда толкают их к полному пренебрежению тем, что мы называем «обустроенный быт». Отсюда тяга к алкоголю, который якобы может облегчать безбытовую жизнь, делать их смелее, раскованнее. Может, это и получалось у Есенина с Рубцовым... Хотя вряд ли доставляло радость окружающим.

Фирсов всегда старался угостить друзей на последние копейки, да и друзья в отношении алкоголя не обижали Василия. К сожалению, выпив, он становился достаточно зануден. Не помню сейчас, когда познакомился с ним, но помню где. Это было за бутылкой водки в мастерской скульптора, писателя, искусствоведа Григория Салтупа. К счастью, мне сразу же попали несколько сказок нового знакомого. Я был в восторге. Чудесные, литературные, придуманные сказки. Читая их, нельзя было не восхититься гармоничным соединением двух культур: русской высокой культуры и сказочной глубинной народности. Оказалось, у Фирсова есть уже и небольшой сборник прозы «Поздравленья», и повесть «Суточки» в коллективном сборнике. Повесть, разумеется, о тех, кто был посажен на пятнадцать суток. Конечно, все эти сюжеты были из жизни автора. Рассказы и повести в сборнике все были на производственные темы. Этакая производственная «бытовуха» в стиле 1950-х годов до появления В. Белова, В. Шукшина, В. Распутина. Честно говоря, я не осилил ни одного из этих Васиных опусов. Как мне сейчас хочется ошибиться и услышать в свой адрес плохие слова по этому поводу. Что я, мол, недооценил другую сторону творчества Василия Фирсова. Но как мне кажется, автор больше никогда и не претендовал на соцреализм.

За сказки Василия хвалили все. Моя жена, прочитав их, сказала: «Это гений». Сам же «гений» смущенно говорил про себя: «Да у меня ведь ничего нет в сказках. Только подлежащее и сказуемое». А вот поди ж ты! Ни у одного из писателей, кроме Василия Фирсова, сочетание подлежащего и сказуемого не вызывало, да и не вызовет, такой восхищенной читательской реакции. Не случайно В. Фирсова иногда ставят в один ряд с Б. Шергиным и С. Писаховым. Конечно же, они разные. Но ряд един. Человеческие

черты характера Василия Фирсова – доброта, мучительная стеснительность, бессереничество. И чистая душевная наивность. Как-то Вася поехал в Вытегру на научную конференцию, посвященную его любимому Николаю Клюеву, и в пути впервые услышал от коллеги о некой нетрадиционности наследника древних традиций. Василий начал драку. На конференцию не поехал и вернулся в Петрозаводск с фингалом под глазом. Григорий Салтуп сказал по этому поводу: «Каков оппонент, таков и аргумент».

Скромность и стеснительность Василия не имели пределов. Как-то я пригласил его на свой день рождения в ресторан. Он почему-то не пришел, хотя все мы ждали его, собралась компания людей, любящих сказочника. Позже он преподнес мне подарок, извинился и сказал, что ему просто нечего было надеть. А его почти бескорыстная помощь писателям и художникам какой-то своей физической работой... Всегда за очень небольшую плату. Непарадный внешне, мучительно стеснительный, незаметный своей скромностью, часто под хмельком, он и при жизни был уникальным писателем. После смерти творчество Василия Фирсова заняло свое достойное место в истории русской литературы.

Я из театра Юрия Сунгурова

*Это трубят не тревогу,
Это разлуку трубят.
Дай мне такую дорогу,
Чтобы вернуться назад.*

Е. Синецын

Большее всего в жизни мне повезло на хороших людей. За время учебы в Петрозаводском университете с 1961 по 1967 год такими людьми, оказавшими на меня огромное влияние, стали кандидат исторических наук Константин Иосифович Медевец и заслуженный артист России и Карелии Юрий Александрович Сунгуров, руководитель нашего студенческого театра.

Я пришел на его репетиции арбузовской «Дальней дороги» с подмосковных леспромхозовской самодеятельной сцены с определенным послужным списком и поэтому не читал басен и не пел песен мэтру. Юрий Александрович попросил меня посмотреть прогон и высказать свое мнение. Я был в полном восторге. Нам, «леспромхозовским звездам», такая игра не снилась. Тамара Авксентьева, Люда Василькова, Женя Добровольский, Юра Рогожин, Лева Кяйбияйнен показали мне гораздо выше всяких профессиональных актеров. Я и сказал это Юрию Александровичу. В ответ он как-то неопределенно хмыкнул... и что тут началось! Юрий Александрович теперь останавливал репетицию чуть ли не после каждой реплики и

заставлял повторять все сначала. Шла отработка мельчайших штрихов характера героев. И, на мой взгляд, Сунгуров был всегда прав.

Позже, репетируя, он иногда останавливал меня словами:

– Боря, стой! Забалтываешь! Не забалтывайте текст. Главное в театре – это рождение мысли, и я хочу это видеть у вас.

Именно этим рождением мысли, облеченной в легкую сценическую форму, всегда отличался студенческий театр Юрия Сунгурова.

А в «Дальней дороге» нашлась работа и всем нам, новичкам. Мы изображали веселый карнавал в клубе Метростроя.

В водевиле Вл. Дыховичного «Свадебное путешествие» я получил роль профессора Синельникова. Водевиль не из лучших. Но Юрий Александрович вытаскивал из пьесы все возможное. Он делал наших героев живыми людьми, характерными, наделенными чувством юмора. Персонажи попадали в нелепые ситуации, и мы старались делать это серьезно и легко. Со мной Юрий Александрович возился больше всех. Только его терпение и режиссерско-педагогический талант помогли мне сделать профессора достойным всего нашего актерского ансамбля.

Именно ансамблевыми и отличались все сунгуровские студенческие спектакли, несмотря на качественно неодинаковые способности исполнителей.

В «Аргонатах» Юлиу Эдлеса, где все герои, кроме моего жутковатого Гражданина в темно-синем плаще, были обаятельно-романтичными, Юрий Александрович постоянно напоминал мне, этакому «осколку культа»:

– Они для тебя не аргонаты. Они подонки. Настоящий герой ты. Герой Советского Союза!

В итоге мой «деятель» получился и зловещим, и смешным одновременно.

В спектаклях Юрия Александровича мы никого и ничего не играли. Мы просто жили жизнью своих героев. Как уж это получалось у Юрия Александровича... Ведь он ничего не показывал, в отличие от многих режиссеров. Он убеждал. Часто довольно-таки долго и настойчиво. Главным для нас на репетициях было общение с добрым, умным педагогом, искренне любящим всех нас. И мы отвечали ему взаимностью. Мы были влюблены друг в друга и в Юрия Александровича.

В нем чувствовались некий аристократизм и высокий интеллект. И неудивительно: его отец был вице-губернатором Казани, а актерскому делу он учился у выдающегося режиссера-педагога Леонида Сергеевича Вивьена.

Мне запомнился случай, когда Юрий Александрович однажды блестяще пересказал один из рассказов Дж. Конрада. Мы слушали раскрыв рты. Я попытался позже найти этот рассказ, но так и не нашел. Красивый бархатный голос Ю.А. Сунгурова в 1950–1960-х годах часто звучал по Карельскому радио.

Вскоре в университете был организован факультет общественных профессий, а преподаватели факультетов были обязаны иметь высшее образование. Ю.А. Сунгурова не утвердили преподавателем на том основании, что он якобы не имеет высшего образования. Куда только мы ни ходили, пытаюсь доказать, что Ленинградский театральный техникум Л.С. Вивьена стал театральным институтом и что образование в нем приравнивается к высшему. Бесполезно.

Студенческим театром стала руководить Светлана Генкина. Мы все как один ушли. Ровно через год почти всех нас Светлана Семеновна соблазнила постановкой пьесы Б. Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Спектакль получился достаточно интересным, и мы пригласили на премьеру Сунгурова. После спектакля мы сразу побежали к нему в зал.

– Гигантское полотно вы нам продемонстрировали... А тебя из-за топанья фашистов часто вообще не было слышно, – это мне. И даль-

ше пошел тщательный разбор спектакля. Без всякой ревности.

Через год Юрий Александрович вернулся. Следующие спектакли были уже без меня, хотя я и ходил еще на репетиции «Ночной повести». И если бы не работа на острове Кижы, я еще не раз сыграл бы в его постановках.

Уморительно смешную комедию «Двери хлопают» после смерти Ю.А. Сунгурова додельвали Лев Колесников и Валерий Ананьин.

А мне всегда не хватает дорогого Юрия Александровича.

Вот он идет неспешной вальяжной походкой в клетчатом пиджаке, поверх которого элегантно накинут светлый плащ нараспашку. На голове темный берет. И весь он заметный, яркий, высокий, стройный, красивый, интеллигентный, почти всегда несколько мрачноватый; в чертах его чувствуется и аристократизм, и одновременно некая странная грубоватость. Наверное, поэтому в театре ему часто доставались отрицательные роли.

Я был знаком с Ю.А. Сунгуровым последние десять лет его жизни и не видел его лучших работ. Но его Дампфер в «Коллегах» В. Аксенова и Яков Коломийцев в «Последних» М. Горького вспоминаются.

Иногда у него были и неудачные работы. Легкоранимый Юрий Александрович это чувствовал и переживал. Как-то на следующий день после одного из таких спектаклей мы с женой идем по проспекту Ленина, а навстречу нам – он. Еще издали раздается голос:

– Боря. Виола. Пойдите.

Стоим и трепещем. Подходит. Начинается светский разговор:

– В театре вчера были?

– Были.

– Ну как?

Говорим о спектакле. И вот он, долгожданный вопрос, после которого мы чувствуем себя как рыба на сковородке:

– А как я?

Могу сказать, что мы выкручивались как могли, но, по-моему, ни разу не обидели. Мы его любили и любим.

Вроде бы внешне Сунгуров ничему нас не учил. Он просто репетировал. Но теперь, по прошествии многих лет, все его «актеры» с гордостью называют себя сунгуровцами. В каждом из нас осталась частичка любимого Юрия Александровича.

Я родился 24 мая 1941 года в любимом мной рабочем посёлке Умба Мурманской области на берегу Белого моря. В детстве мне очень хотелось стать полярным исследователем. Поэтому, ещё учась в десятом классе, я стал работать наблюдателем на гидрометеослужбе «Умба». К несчастью, в августе 1958-го меня сократили, и я устроился электриком в мастерские капитального ремонта Умбского леспромхоза. Работал с удовольствием и никогда не забуду «ту заводскую проходную, что в люди вывела меня». Через три года работы я понял, что это всё-таки не моё, и решил стать историком. С детства мечтал и об этом. Лишь по недоразумению я не поступил в Московский историко-архивный институт, зато поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Петрозаводского университета, который окончил в 1967 году. Ещё учась на пятом курсе, стал работать в Государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике «Кижы» старшим научным сотрудником, где и работаю до сих пор.

Опубликовал ряд статей, альбомов, каталогов (некоторые в соавторстве с женой Виолой Гущиной). Статьи достаточно разнообразные по тематике: проблемы датировки памятников, история крестьянской общины в Заонежье, крестьянство и земство, этнография и народное искусство, Великая Отечественная война и 1937 год.

Участвовал примерно в пятидесяти музейных экспедициях. За годы работы в музее проведено несметное количество

экскурсий. Самое большое счастье для меня в Кижях – это встречи с интересными и симпатичными людьми.

Пишу о театре и для театра. Пьесу «Жить любовью» по Дж.Фаулзу написал по просьбе одного московского главного режиссера. Он положил ее в портфель своего театра.

А ведь я даже не подозревал в себе писателя. Читал, правда, очень много. Но в пятьдесят два года окончив научную статью о заонежских ярмарках, увидел во сне свою первую повесть «Отзвуки старых ярмарок». Сел за стол и записал. Работа была только по уточнению некоторых деталей и терминов. Дальше – проще. Всё, что написано, возникало без особых творческих мук. Может быть, потому, что все мои герои, и мужчины, и женщины, – это я сам. Пожалуй, кроме Мориса Кончиса в «Жить любовью» по Дж. Фаулзу.

И всё-таки... Я, наверное, не писатель. Потому что писатель – это когда «ни дня без строчки». А я себя прекрасно чувствовал и чувствую без единой строчки месяцами. Хотя, если честно, то когда пишется, как-то спокойнее.

В 2004 году при поддержке музея «Кижы» издал в Петрозаводске (издательство «Периодика») книгу «Не только о Кижях»» (*Повести, рассказы, пьесы, воспоминания*).

Участвовал в нескольких литературных конкурсах и вышел в финалы следующих:

2001 г. Конкурс журнала «Новый мир», посвящённый 75-летию Юрия Казакова. Рассказ «А моя Марфута упала с парашюта».

2003. Конкурс «Мой Петербург» – русская редакция журнала «Elle». Рассказ «Подъезд с камином».

2003. Конкурс «Русский Декамерон» – русское отделение Пен-клуба. Пьеса «Жить любовью».

Борис Гуцин

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

- Отзвуки старых ярмарок
9
Чародейка
59
Совместный номер
106
Баннй разъезд
137
Малая кровь
150
Регистрация Бобика
169
Печаль долгожданных встреч
183
Подъезд с камином
197
Канун тысяча второй ночи
210
А моя Марфута упала с парашюта
222
Живое
233

ПЬЕСЫ

- Мы обязательно встретимся
263
Жить любовью
293

ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

- Легенда о мыслящем инако
361
Яркость таланта стеснительного человека
371
Я из театра Юрия Сунгурова
374
Послесловие
379

Борис Гуцин

Борис Гуцин

БОРИС ГУЩИН
ТЫСЯЧА ВТОРАЯ НОЧЬ

Повести и рассказы

Дизайн и верстка
Виталий Наконечный

Корректор
Людмила Шананина

ISBN 978-5-904478-13-1



Подписано в печать 16. 08. 2011
Формат 84X108 ¹/₃₂ Печать офсетная.
Печ. л. 14. Тираж 500 экз.
Заказ №

Издательство Союза молодых писателей
«Северное сияние»

Отпечатано в типографии